БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИКИ

Михаил Садовяну

РАССКАЗЫ • МИТРЯ КОКОР



МИХАИЛ САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ
●
МИТРЯ КОКОР

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1982

84. 4 Р
С 14

Перевод с румынского

Вступительная статья Ю. Кожевникова

Иллюстрации художника О. Гроссе

С 14 **Садовяну Михаил**
Рассказы. Митря Кокор: Пер. с рум. /Вступ. ст. Ю. Кожевникова; Ил. О. Гроссе.— М.: Правда, 1982.—288 с., ил.

В сборник современного румынского классика Михаила Садовяну (1880—1961) вошли рассказы 20—30-х годов и роман «Митря Кокор», в которых писатель отразил судьбы крестьян и горожан дореволюционной Румынии.

84. 4 Р
И (Рум)

С $\frac{4703000000—436}{081(02)\text{-}82}$ 436—82

МИХАИЛ САДОВЯНУ

Творчество Михаила Садовяну уже давно стало достоянием мировой культуры. Его лучшие произведения, которые переведены на десятки языков, известны на всем земном шаре. Его неутомимая деятельность борца за мир была отмечена международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

С полным правом можно сказать, что в румынской литературе Михаил Садовяну фигура исключительная. Как писатель, он воплотил в себе целую эпоху: истоки его творчества находятся в XIX веке, вершины же своей он достигает в период бурного строительства социализма в новой Румынии.

Жизнь Михаила Садовяну (1880—1961)— человека и художника — это сложный путь восхождения к идеалу социальной справедливости, путь, который проделал румынский народ, преодолевая все испытания и исторические потрясения. Об антитурецкой войне 1877—1878 годов, принесшей Румынии независимость, Садовяну знал по живым рассказам очевидцев, крестьянское восстание 1907 года видел своими глазами и вместе с народом пережил эту кровавую трагедию. Был он участником Балканской войны 1913 года, а потом и первой мировой войны. Писатель вдохнул глоток свежего, бодрящего воздуха из революционной России. Он скорбно размышлял о судьбах человечества, когда румынский фашизм в зеленых рубашках стремился убить всякую надежду на лучшее будущее. Садовяну пережил трагедию второй мировой войны и радостно встретил освобождение родины и новую жизнь. Исторические даты и вехи, события и потрясения чутко улавливались художником и находили отражение в его творчестве. Художник не всегда четко видел сущность происходящих событий: ее подчас заслонял для него дым пожаров, кровавый туман над полями сражений, однако для писателя даже в моменты непроглядной мглы всегда светил неизменный маяк — вера в народ.

Родился Садовяну в городке Пашкань. Отец его был провинциальный адвокат, мать — крестьянка. Два мира: городской, наднациональный, с его книгами, культурно-философскими проблемами, и деревенский, национальный, мир сказок, песен, танцев, расшитых нарядов, радующих глаз, органично слились для подростка в этом провинциальном захолустье. Еще в гимназии Садовяну начал писать. Не поступив в Бухарестский университет, на чем настаивал его отец, юноша возлагает все свои надежды на упорный труд и талант и действительно добивается успеха. Уже в 1904 году его имя становится широко известным. В этот год выходят три сборника его рассказов и историческая повесть «Соколы». Три из этих четырех книг были отмечены премиями. Среди ранних рассказов Садовяну много романтических, вернее, фольклорно-романтических: молодой писатель как бы пересказывает на свой лад народные и в первую очередь гайдуцкие сказки и баллады. Благородный разбойник — гайдук в его рассказах, впрочем, как и в фольклоре, предстает как символ вольной жизни, неуемной силы и страсти, справедливости и бесстрашия. Гайдук как определенный человеческий идеал, созданный народным воображением, становится излюбленным героем писателя. Иванчиу Леу и Козма Рэкоаре, герои ранних рассказов Садовяну, открывают целую галерею образов, в которых всячески варьируется образ гайдука. Романтически приподнятый образ народного мстителя, «рыцаря без страха и упрека», проходит через все его творчество. Он присутствует и в повести «Племя Шоймару» (1912) и в сюите новелл «На постоялом дворе Анкуцы» (1928). Он проглядывает в образах главных героев его исторической трилогии «Братья Ждер» (1935—1942). Его нетрудно угадать в рассказе «Вэлинашев омут» и в романе «Никоарэ Подкова» (1952). И даже образ Митри Кокора, крестьянина, утверждавшего социальную справедливость и народную власть в Румынии, связан тайными нитями с любимой автором фигурой гайдука. А романтическая окраска, которая, словно яркая радуга, расцвечивает ранние произведения Садовяну, присутствует во всем его творчестве, то вспыхивая, то затухая, то сияя вновь. Особый привкус романтики, воспринятый Садовяну из народных песен и баллад, из исторических хроник, ощущается в его языке, манере повествования, в лепке образов. Эта романтика придает его произведениям особую интимность, доверительность; его образам — теплоту и человечность.

Крестьянин, его жизнь, его невзгоды и чаяния, его облик и внутренний мир — основная тема творчества Садовяну. Румынскому крестьянину, забитому и обездоленному, посвящены многочисленные рассказы, написанные им до первой мировой войны. В самых ранних рассказах и повестях Садовяну еще склонен относить все неустройство мира за счет «боярского греха», за счет того, что власть имущие забыли о том, что все люди братья. Но события 1907 года в достаточной степени рассеяли эти иллюзии писателя. Расстрел одиннадцати тысяч безоружных крестьян, осмелившихся потребовать земли для того, чтобы их дети не умирали с голоду, заставил писателя глубже

посмотреть на социальную основу общества. После войны и революционного переворота в России социальный горизонт Садовяну расширяется, он как бы с новой идейной вершины озирает жизнь Румынии.

В повести «Улица Лэпушняну», имеющей подзаголовок «Хроника 1917 года», Садовяну клеймит «отравленный Вавилон» высшего общества, которое ввергло народ в войну и превратило ее в средство для наживы, в предлог обогащения за государственный счет, а на самом деле за народный счет. Вынося суровый приговор правящим классам, писатель резко ставит вопрос о положении трудящихся масс. Война принесла народу неизмеримые страдания, потребовав от него бесчисленных и бессмысленных жертв. Солдаты жаждут мира, но чувствуют, что мир не принесет им желанного благополучия. Поставив этот вопрос, Садовяну дает на него и ответ. Писатель приветствует Февральскую революцию в России и свержение царизма, который он сравнивает с чугунной крышкой, давившей душу народа.

«Отравленному Вавилону» Садовяну противопоставляет трудовой народ. «"Песня труда" — это не грустная песня... Труд не всегда бывает веселым, но, несмотря на все свои печальные стороны, ему не суждено приносить страдания. Труд — это пульс жизни человечества, это победа будущих веков»,— писал Садовяну.

Освобождаясь от иллюзий, Садовяну развивает тему «боярского греха». Если в его ранней повести под таким названием этот грех изображался как аморальный, антигуманный поступок одного человека, попирающего достоинство другого, то в романе «По Серету мельница плыла» (1925) уже само существование боярства, помещичьего класса, владеющего землей, предстает как «грех» общественный, в силу которого утверждается социальная несправедливость. Создав образ Филоти, «настоящего барина», эксплуататора, прожигателя жизни и сибарита, писатель одновременно показал и неизбежный процесс замены одних угнетателей другими. Разорившийся Филоти продает поместье разбогатевшему кулаку Чорней. «Вода и бояре катятся вниз»,— лаконично и безжалостно подводит итог Чорней.

Противопоставляя боярству и другим мироедам народ, «боярскому греху» идею мести, Садовяну создает сюиту новелл «На постоялом дворе Анкуцы». Сюита состоит из поэтичных рассказов о разных случаях из народной жизни, которые вспоминают перед собравшимися рэзеш Ионицэ, монах Герман, коробейник Леонте, пастух Моцок и другие. Рассказы сливаются в единую поэму о народе, каждый рассказ как бы высвечивает одну из черт народного характера (жажда справедливости, оптимизм — «Господарева кобыла», отчаянная отвага — «Хараламбие», вера в чудеса и земную любовь — «Змий», «Колодец под тополями»), сложность и вместе с тем цельность его. Центральным в этой сюите, так же как главной из черт народного характера, представляется жажда справедливости и возмездия, выраженная в рассказе «Суд обездоленных». Вновь обращаясь к временам гайдуков, мстителей за народные слезы и угнетение, Садовяну создает картину народного суда.

Эта же тема отмщения звучит и в повести Садовяну «Секира» (1930). Несмотря на то, что время действия этой повести относится к началу века, сам мотив неизбежности расплаты за злодеяния был воспринят фашиствующими молодчиками как прямой выпад писателя-демократа против них, недаром румынские легионеры прислали автору разрубленный топором экземпляр этой книги с угрозой расправиться с ним самим так же, как с его сочинением.

После освобождения страны от фашизма 23 августа 1944 года писатель становится поборником коренной социальной ломки в стране, утверждения социалистических норм общежития. Знакомство с Советским Союзом, с жизненными принципами страны социализма вдохновляет его, дает ему новую точку опоры как писателю. Садовяну первый в румынской литературе создает роман о сельскохозяйственном коллективе — «Малая Пэуна» (1948). В этом романе много утопичного и наивного, это и понятно, ведь ни одного коллективного хозяйства в Румынии тогда еще не было. Но писатель заглядывает вперед, торопит события. «Я считал, что интересно написать повесть о группе людей, тяжело пострадавших во время войны и решивших создать образцовую сельскохозяйственную ферму на пустующих землях на берегу Дуная. Я думаю, что такая повесть была бы сегодня характерна для нашей страны»,— так ставил он перед собой задачу, общественную и художественную.

Через год, в 1949 году, выходит в свет «Митря Кокор», повесть, обошедшая буквально весь мир и принесшая автору высокую награду — «Золотую медаль мира». В образе главного героя Митри Кокора писатель раскрывает последовательное превращение стихийного протеста трудовых крестьянских масс против эксплуатации и социальной несправедливости в протест сознательный. Писатель рисует характер, которому в иные времена, в иных условиях суждено было бы стать гайдуком, народным мстителем, борцом-одиночкой. Но в середине XX века ему уготована другая дорога: знакомство с коммунистами, война, ненавистная трудовому люду, плен в Советском Союзе приводят его в ряды великого фронта борцов за социализм. Эта книга — плод долгих размышлений писателя над судьбой румынского крестьянства, и в то же время она плод победы всего румынского народа в борьбе за новую жизнь.

В 1961 году смерть оборвала жизнь писателя, полную самоотверженного труда и борьбы во имя счастья людей. Как завещание он оставил более ста своих книг, зовущих к счастью и радости, осуждающих низость и зло,— свой бессмертный вклад в духовную жизнь человечества.

Ю. Кожевников

РАССКАЗЫ

ЛЕС

Много старых историй слышал я от дедушки Маноле. Время от времени у него воскресали воспоминания о молодости, навсегда уснувшей, и всякий раз, когда он рассказывал свои истории, в печке, как сейчас помню, пылал огонь и осенний ветер, вздыхая, бился в окна. Его речей я точно передать не могу, теперь я их больше не слышу, ибо дед мой давно отправился в царство теней. Но все же кое-что сохранилось в душе и памяти моей, и подчас, когда я остаюсь один, мне чудится его тихий голос — передо мною встают видения прошлого.

— В былые времена,— так, помнится, сказывал дедушка Маноле,— знавал я там, за горами, одного лесника по имени Войня...

На пятнадцать тысяч фэлчь тянулись леса Антилешти — дремучая, непроходимая чаща. На опушке, у Ионовой пасеки, стоял домик лесника Войни, а в ложбинке под яблонями было у него с десяток ульев. Среди яблонь и ульев пробивался в траве Олений ручей. Поодаль торчал журавль старого колодца.

— Знаешь,— говорил Войня,— избушку отстроил я себе заново. Тут от старых стен только гнилые бревна оставались. А вот колодец какой есть, такой и был, вода в нем чистая, как слеза. Люди называют его Ионов колодец. А рядом Ионова пасека. Вот здесь, у ручья, пчелиные колоды стояли. Жил тут раньше какой-то Ион. Да никто уж о нем и не помнит, и никто теперь не знает, что это за человек был. Жил он здесь, пока не помер.

И Войня, приземистый человек с черными усами, оглядывался вокруг, а потом задумчиво устремлял свои маленькие глазки на темный бор, словно размышлял об иной жизни, которая некогда текла здесь, словно думал об Ионе... Кто



знает, что это была за горемычная христианская душа! Потом Войня вдруг оборачивался и пристально смотрел на свою жену Мэриуку. Высокая и стройная, в домотканой юбке, туго стянутой под грудью узеньким цветным пояском, в белоснежной рубашке, она выскальзывала из двери и бесшумно бежала по травке к колодцу. Туго заплетенные косы короной лежали вокруг ее головы. Бледная, с грустными глазами, Мэриука казалась больной.

Однажды я спросил лесника:

— Что с твоей женой, Войня?

— Что с ней может быть? Да ровно ничего! Что ты, не знаешь этих баб? — И он посмотрел ей вслед своими маленькими глазками, похожими на две капельки дегтя. Затем попытался отвлечь мое внимание от жены:— Посмотри-ка на эти ульи... Настоящие крепости пчелиные. Как-то поймал я в дупле дерева один рой, а теперь, видишь, какой пчельник развел! Что ж! Надо же человеку хоть когда-нибудь потешить себе душу каплей меду... Каждый делает что может...

С деревянной бадейкой в руках Мэриука подошла по траве к дому и скрылась в черном проеме дверей. Покой царил на этой лесной опушке, безмятежный покой,— ни один лист не шелохнется, только солнечные блики трепещут и играют, а в непроглядной гуще листвы — ни звука. Не билось больше сердце леса, угомонились и ветры... Бежал ручей, дробя свет в воде и легко качая цветы и травы; пчелы в солнечных лучах казались золотыми искрами. В этом уголке большого мира покой вливался мне в душу.

Я довольно часто ходил в те места по разным своим делам: то за дровами, то за сыром на сыроварню, стоявшую на большой поляне у Соломонешти. Иногда забредал я в глубь леса и там подстерегал косуль. И почти всегда выходило как-то, что по дороге встречался с Войней, а на обратном пути ненадолго останавливался на пасеке, чтобы отдохнуть на завалинке у дома и освежить горло прозрачной водой из Ионова колодца.

Особенно полюбилась мне самая сердцевина этого леса, густая чаща среди скал. Там, в глуши, под сводами вековых деревьев, лежали сумеречные тени, и редко-редко яркие солнечные пятна оживляли мягкий ковер блекло-желтой травы. Птицы сюда не залетали: их отпугивало это уединенное место. Олений ручей с неумолчным мягким журчанием бежал по серым уступам скал, осыпая брильянтовыми брызгами густой темно-зеленый мох на берегу. И под его лепет, в тиши, у

подвижного зеркала волн, иногда, вынырнув внезапно из кустарника, как из темной пещеры, появлялась серая косуля и замирала в грациозной позе, словно высеченная из камня. Но большей частью здесь царило такое всеобъемлющее безмолвие, что я слышал биение своего сердца; изредка вдали трубил рог, и звук его доносился до меня приглушенно и печально, словно исходил из недр земли.

Я бродил под огромными буками, обсыпанными желудями. Иногда меня сопровождал Войня. Молчал я, молчал и он, пробираясь среди кустарников по сырой тропке, утопающей в густой зелени. Ближе к опушке становилось светлее, и с выгона доносилось позвякивание колокольчиков барских коров. Колокольчики звенели тихо, на разные голоса, одни глухо, другие звонко — целая гамма мягких звуков переливалась, словно далекая песня, безмятежно легкая мелодия невидимых колоколов.

В последнее время у лесника, ходившего со мною, взгляд сделался каким-то отсутствующим, а лицо хмурилось, словно на душе у него было большое горе. Что-то его мучило, и хотя он ничего не говорил, но я это чувствовал. Случалось, что он покидал меня на выгоне или в лесу и возвращался к себе в избушку.

— Я на минутку забегу домой... Забыл наказать жене... что передать барину, если он заедет.

Лесник уходил. Я наблюдал за ним и видел, как, приближаясь к опушке, он ускорял шаги. Спустя некоторое время он возвращался ко мне,— обычно я уже сидел в засаде с ружьем наготове; он пристраивался рядом со мной и тогда, отдышавшись и успокоившись, сидел так тихо и молчаливо, что я часто забывал о его присутствии.

Жена его Мэриука по-прежнему была все такой же худенькой и печальной, а несколько раз я заставал ее с заплаканными глазами.

Однажды я столкнулся с барином — как раз в тот момент, когда он уезжал с Ионовой пасеки верхом на вороном коне. Он встретил меня улыбкой, осветившей его приветливое мужественное лицо, и спросил:

— Не видел ли ты Войню? Я искал его и на сыроварне, да не нашел...

Я тоже Войню не видал и теперь уж не помню, что ответил барину. Однако мне показалось, что барин даже не вслушался в мои слова. Он пришпорил коня и поскакал, вскинув ружье за плечи, а лучи августовского солнца освещали его, пока он

не затерялся в чаще леса. Его большая рыжая собака с длинной шерстью, всюду сопровождавшая своего хозяина, бежала то справа, то слева от лошади, рыща по лесным зарослям. Вскоре после того, как лошадь и всадник скрылись из виду, я услышал несколько выстрелов, гулко раскатившихся от поляны к поляне; я понял, что барин бьет по рябчикам, на которых в это время года он особенно любил охотиться.

Тут я вспомнил заплаканную жену лесника, и мне внезапно пришла в голову догадка. Чего ищет здесь барин? Почему Войня так часто спешит домой? Тут, наверное, что-то есть.

В сумерках, когда смолк отдаленный звон колокольчиков на поляне, я и Войня с ружьями за плечами возвращались домой, понапрасну просидев на Воровской тропке в ожидании тетерок. Утренняя встреча весь день занимала мои мысли, и я спросил лесника:

— Ты сегодня был на сыроварне, Войня?

— Нет, а что?

— Тебя искал барин.

— Который? Молодой? Господин Енакаке?

— Да. Он сказал, что не нашел тебя.

— Ну да, ведь я ходил не туда, а к Фундени...

Он помолчал. Темнело, из леса потянуло прохладой, мы уже подходили к ручью, как вдруг Войня повернулся ко мне.

— Так это был господин Енакаке? Да кому ж еще и быть? Ведь старый барин больше не выходит из дому... А ты его на пасеке встретил?

— Да, на пасеке...

Он как бы призадумался, потом промолвил тихо:

— Хм! Кто его знает, что он хотел мне сказать.

Я искоса посмотрел на Войню. Немного раскачиваясь на ходу, он шагал, как всегда, неторопливо; его обветренное лицо с черными, как смоль, усами выражало обычное добродушие и печальное спокойствие. «Нет,— подумал я,— ничего тут нет. Да и что может быть? Войня такой же, как всегда».

Так вот, я частенько захаживал на Ионову пасеку. Что-то скрытое в глубине моей души влекло меня к Мэриуке, ибо я был тогда в расцвете молодости, а кроме того, меня волновало и ее горе, которого я не понимал. Но больше всего манил меня старый лес; к нему я питал почти болезненную любовь. На опушке темной чащи Мэриука казалась еще тоньше, еще стройнее и бледнее; и когда она, задумавшись, неподвижно

сидела в сгустившейся вечерней мгле, то представлялась мне каким-то существом из иного мира, сотканным из таинственного одиночества и лесной дымки. В шепоте листвы словно ощущался трепет живого сердца. Он нарастал, передаваясь от дерева к дереву, от ветки к ветке, потом слабел, угасал, и чудился в нем невнятный рассказ о чем-то очень древнем и очень печальном. И когда бескрайние зеленые своды умолкали, то и мое дыхание как бы замирало, затихало в ожидании. Я не испытывал ни радости, ни печали, а словно растворялся в бесконечной природе, в океане земного богатства. И когда снова налетали порывы ветра, а лес шелестел и вздыхал, глубокая дрожь потрясала все мое существо, и в душе моей рождалась страстная песнь — предвестие и зов молодой любви.

Однажды на поляне, возле избушки лесника, меня застала буря. Войни не было дома.

Седые тополя на краю поляны так неистово сотрясались, словно хотели с корнями вырваться из земли; бешено содрогались старые буки, то сгибаясь, то снова распрямляясь под яростными порывами ветра, который налетал из самой глубины леса, вихрем подымая сорванную листву и валежник. Среди темных туч над поляной, трепещущей перед бурей, нарастал зловещий гул,— словно протяжный звук бучумов призывал грозу с сумрачного горизонта, подернутого взметенной пылью. Загрохотал, загудел лес, и на поляну обрушилась плотная завеса воды; капли глухо забарабанили в маленькие окна, и внезапно, словно утолив ярость, буря утихла со вздохом облегчения, и ослепительное солнце вновь засияло над поляной.

Я вышел и сел на завалинку рядом с женой лесника. Все вокруг улыбалось в солнечном свете; пролетела пчела, сверкнув золотой нитью; блеснула голубым оперением сойка, дрозд запел было звонкую песенку и вдруг, оборвав ее, замолчал; тишина, словно прозрачная вода, нахлынула на опушку.

Как всегда, Мэриука была печальна, и мне захотелось проверить свои догадки.

— Леле Мэриука, скажи мне, что с тобой? Отчего ты такая грустная? У тебя, видно, есть что-то на сердце?

— Со мной? Ничего. С чего ты взял? Такая уж я есть, такой меня мать на свет родила — невеселой...

Она говорила медленно, и по голосу чувствовалось, что ответ ее был только отговоркой.

Я спросил снова:

— Может, Войня плохо обходится с тобой?

— Войня? А как может Войня со мной обходиться? Как муж с женой...

И она задумалась.

Оба мы замолчали. Потом женщина посмотрела на меня своими большими прекрасными глазами и со вздохом выпрямила тонкий стан, туго перетянутый узким поясом.

— Эх, да что ты знаешь! Ты еще горя не видал. Ты как этот дрозд, который запел да смолк.

Легкая улыбка молнией осветила ее лицо и глаза и проникла мне в сердце.

— Ты не слыхал, что вытерпела Иляна, жена Иона Маковея,— немного помолчав, медленно продолжала она.— Вот послушай, что ей пришлось испытать, бедняжке... И так и запомни — коли бы знала ее мать, так лучше б дала своей несчастной дочери умереть в люльке... Выдали Иляну за немилого еще совсем молоденькой... А ей хотелось порадоваться жизни... ведь молодая она, и сердце у нее горячее... Да вот муж-то был ей противен... Есть там в деревне, в Соломонешти, одна баба, Гахицей зовут; она жила рядом с Иляной, через забор... Стоило Иляне выйти — то ли к соседке, то ли в корчму, баба вечером все доносила ее мужу... Так она и жила... И вот случилось, что полюбился Иляне один паренек, да только Иляна никому о том не сказала, не знал и сам парень. Грешить она не грешила, просто было ей любо на волю вырваться, солнышку порадоваться: уж очень душно ей было в доме постылого мужа. И вот ее, бедняжку, муж бить начал... Сегодня бьет, завтра бьет, а никто и не знает... Однажды он запер ее в погреб да и избил жестоко... Убежала Иляна к отцу с матерью, только старики не захотели ее принять. У тебя, мол, свой дом есть, муж. Иди к мужу в дом, к детям. И ушла Иляна обратно и долго болела. А как поправилась, муж опять заприметил, что она ходила по деревне, втолкнул в хату, запер дверь на засов да опять давай ее бить. И голосила же она, сказывают, бедняжка, словно ее резали. Выскочили соседи на улицу, стучали в стены, кричали. Вот как жила Иляна со своим мужем. И однажды слегла она в постель — и все ох! да ох! Сегодня ей плохо, завтра еще хуже, и раз как-то утром говорит она: «Позовите моих батюшку с матушкой, смерть моя приходит...» Пришли старики. И пока муж ее был в доме, она не вымолвила ни словечка, лежала лицом к стене. А как он вышел, она повернулась и говорит старикам: «Вот, батюшка,

вот, матушка, отнял человек этот у меня жизнь, а как же я ее любила». Тут собрались соседи, явилась Гахица. Она хотела дать Иляне воды из пригоршни, чтобы умирающая испила в знак прощения. Стала Гахица у постели, уговаривали Иляну и соседи, вошел и Ион, да Иляна лишь рукой махала, чтобы ее оставили в покое. «Нет,— шепчет,— пусть дадут мне помереть спокойно!..» И не захотела испить воды из пригоршней — ни Гахице не простила, ни мужу своему. Так и умерла. Когда обмывали ее, так увидели, до чего же она худа была, кожа да кости. И все тело в синяках, почернело от побоев.

Мэриука замолчала и уставилась глазами куда-то в конец Ионовой пасеки.

— Вот как бывает. А тебе откуда знать, сколько может вытерпеть женщина на этом свете?

Я удивленно спросил ее:

— Войня бьет тебя? Мне он не кажется злым.

— Нет, зачем ему бить меня? Я ведь говорю о других, не о себе.

— Ну а с тобой-то что? Я вижу, что ты горюешь, сохнешь.

Женщина заколебалась, видимо, хотела что-то сказать и опустила глаза. Потом внезапно встрепенулась, прислушалась, вскочила с места, выпрямилась во весь рост и вошла в дом.

Издали, должно быть, от сыроварни послышался рог Войни. Сначала он звучал протяжно, потом издал несколько отрывистых звуков, перешедших в легкие, трепетные отголоски, и, наконец, замер. В тишине раздался отдаленный крик; голос был еле слышен и казался шорохом густого леса: «Эй, Орофей, эй!..» Потом смолк и голос. И через несколько минут топор застучал где-то в лесной глуши, особенно гулкой после дождя.

Мэриука вышла из дома и с ведром направилась к колодцу. Со скрипом опустился и выпрямился журавль. Быстро идя к дому с ведром в правой руке, слегка перегнувшись, Мэриука бросила на меня грустный взгляд. Я встал, взял ружье и пошел мимо ульев, вдоль ручья, через опушку леса на выгон.

Мне было жаль жену Войни, которую явно что-то мучило! С удивлением я вспомнил ее отрывочные слова, ее рассказ об Иляне, жене Иона Маковея, и неясные чувства, смешанные с прежними подозрениями, тревожили мне сердце.

Войня шел мне навстречу по тропинке. Вид у него был хмурый. И только я завидел его, как на поляне зазвенели колокольчики барских коров, и следом за мною на дороге, по

которой я пришел, показался барин Енакаке на своем быстром коне, в сопровождении рыжего пса. Пес рыскал направо и налево, обнюхивая кусты.

Барин остановился, лесник тоже.

— Ну, что там на сыроварне, Война?

— Все хорошо, господин Енакаке.

Барин улыбнулся, потом, повернувшись ко мне и приветливо поздоровавшись, проехал вперед и спешился. Собака сделала стойку и замерла, подняв хвост и вытянув морду по направлению к небольшому кусту. Я пошел вместе с Войней обратно. Когда мы завернули за группу деревьев, послышался знакомый возглас: «Сюда, Гектор!» — и раскат выстрелов разбудил лесную тишь. Затем снова воцарилось безмолвие. Утих и стук топора в чаще.

— Должно быть, он меня и дома искал,— внезапно сказал Войня, шагая рядом со мной.

— Кто? Барин?

— Да. А нашел меня — и ничего не сказал.

Я промолчал. Войня задумался, я тоже. Так мы продолжали путь, не говоря ни слова; прошли по поляне мимо ульев, перескочили через ручей. Мэриука стояла на пороге и смотрела на нас; лицо ее в тени дверей казалось очень бледным. Собака лесника выбежала нам навстречу, прыгая от радости.

— Посмотри-ка на этого пса,— сказал Войня,— если кто обидит его, он набросится и укусит. У него больше прав, чем у нас с тобой. Человек терпит и молчит. Это я, к примеру...— добавил он, усмехаясь и пристально глядя на жену.

Но я хотел говорить не о встречах с лесником и его женой и не о той любви, которая зародилась в моем сердце. Я рассказываю о лесе Антилешть, который был мне так дорог, и о моей юности. Все это прошло: и леса уж не те, и дни юности пролетели.

Бодрящий лесной воздух живил и укреплял меня, легкий свист ветра в листве ласкал мой слух; а как пышно и ярко цвели цветы на поляне у опушки, какой был у них тонкий, опьяняющий аромат!.. После двухмесячной отлучки, охваченный горячим нетерпением, возвращался я, точно к возлюбленной, в леса Антилешти. Перед наступлением зимы я хотел еще раз повидать чащи в уборе поредевшей темной листвы. Быть может, и другие чувства влекли меня на Ионову пасеку... да, может, и так, но с тех пор прошло много зим, и весны юности ушли вместе с солнцем, которое освещало их тогда.

Мэриука хлопотала по хозяйству в своем домике и была молчалива, как и прежде. В полумраке хижины я не мог рассмотреть ее лицо, только глаза ее светились, когда она поворачивалась к окну. Войня спокойно выслушал мою просьбу, вытащил из темного угла ружье, и мы отправились.

Один за другим, медленно кружась в воздухе, слетали на землю последние листья с огромных буков. Мы шагали по желтым, шуршащим грудам опавшей листвы и протаптывали в ней тропинки. От холодного дыхания ветра колыхались ветки деревьев, и чем глубже проникали мы в чащу леса, тем печальнее и пустыннее казался он. Душа моя словно была окутана мглой.

Через некоторое время я остановился и спросил:

— А что поделывает барин Енакаке, Войня?

Войня удивленно посмотрел на меня в упор.

— Как? Ты не знаешь? Погиб Енакаке! Работники сыроварни нашли его под обрывом у Фундени... Он, видимо, проходил там, а берег как раз и обвалился... Нашли его под обрывом рядом с собакой... помнишь, той, рыжей...

— Как? Барин погиб? А я ничего не слышал...

— Да, погиб...

Лесник отвечал спокойно, но мне показалось, что глаза его слишком пристально смотрели на меня. Не знаю, не могу сказать, отчего, но дрожь пламенным током пробежала у меня по спине... И в этот миг у меня мелькнула догадка, что лесник Войня убил своего хозяина.

Безотчетно я спросил:

— И что же? Не нашли, кто убил его?

— А чего же искать? — ответил Войня. — Ведь сам погиб, лютой смертью...

Я замолчал. Неприютным и пустынным был лес в своей осенней печали. И может быть, поэтому я ощутил на сердце большую тяжесть, какую-то неясную горечь, словно перед смертью. Мы вышли на опушку, туман рассеялся. Огромный лес остался позади нас со своими зарослями и со своей тайной, словно живое существо со своими горестями, гневом и жалобами. Осень витала над ним, как смертный сон. Мэриука на мгновение возникла перед моими глазами и растаяла, словно дымка, мысль о гибели барина льдиною легла мне на сердце.

Да, малыш, сильно любил я лес в дни моей юности.

Так рассказывал мне дедушка, сидя у большой старинной печки. Рассказал и умолк. А снаружи вздыхал и жаловался осенний ветер.

ВЭЛИНАШЕВ ОМУТ

I

Фамилии и прозвища у них были самые удивительные. Отца Костаке, у которого борода мочалкой, прозвали «Земля-горит», потому что его тощая, высокая, сутуловатая фигура с утра до вечера носилась по улочкам и закоулкам села. Писарю от родителей досталась фамилия Лепешка, но в народе его называли еще «Вертишейкой», потому что он напоминал ту птицу, что весной чирикает на верхушках деревьев, а головка ее беспрестанно вертится, как на шурупе. Примаря Дэскэлеску, щуплого человечка с маленькими черными глазками, прозвали «Сусликом». Что же касается «Тальянца», господина инженера Джованни Шагамоци, то у жителей долины Бистрицы он значился просто-напросто «господином Шагомо́вцы». Он был бородат, коренаст, с брюшком, а в левом углу рта у него неизменно торчала короткая трубка.

В то лето господин Жувани, поп Земля-горит, Вертиголовка и Суслик были неразлучными друзьями и каждый день в послеобеденные часы сходились в трактирчике на горе Кот потолковать о том о сем. Там, между вековыми елями, имелось уединенное местечко, откуда можно было видеть, как внизу, в долине, прозрачное небо отражается в водах Бистрицы. Когда солнце погружалось в туманы горы Чахлэу, господин инженер со стаканом в руке выходил из-под елей и восторженными криками приветствовал гору, будто сказочного царя-великана, в мантии из пурпура и золота, с бородой и кудрями из тумана. Левой рукой он театральным жестом поднимал стакан, а правой срывал с головы широкополую шляпу и хриплым баритоном так чудно бормотал что-то на своем языке, что трое остальных покатывались со смеху.

Успокоившись и высморкавшись в красный платок, поп восклицал:

— Ну и комик этот «Тальянец»!

Дэскэлеску и Лепешка чокались с инженером и, придав себе торжественный вид, молча потягивали вино.

Равнодушным к горам, к шумным восклицаниям, к смеху оставался лишь хозяин кабачка — господин Лейбука Лейзер. Он был «дрептар», то есть полноправный гражданин, так как в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году перешел Дунай солдатом. Ему тоже дали прозвище — «Слезинка», потому что, когда он стоял в часы одиночества за стойкой, весь утонув в черной бороде, погруженный в мысли и планы о судьбе своих шестерых детей, на кончике его острого носа часто повисала блестящая капля.

Лейбука Лейзер был серьезным человеком и потому не тратил времени, подобно Шагомовцы, на созерцание Чахлэу и Бистрицы, а тем более на патетические речи. По части же учености, особенно когда дело касалось его книг, в которых буквы походили на пауков, сам господин инженер не мог с ним справиться. Иногда они наперебой принимались толковать библейские изречения, жестикулируя на все лады и растопыривая пальцы, увязая в доказательствах, как в болоте, пока не поднимался батюшка Земля-горит и, простирая руки, будто собирался проклясть их, как антихристов, говорил:

— Да оставь ты этого язычника, господин Жувани, а то вино станет теплым.

Итальянец, питавший к вину большую слабость, смеясь, возвращался к приятелям, брался за стакан и вынимал трубку изо рта, а ученый спор так и оставался неразрешенным. Еврей молча стоял, опершись о дверной косяк бревенчатого дома, и в зрачках его спокойных, задумчивых глаз виднелось отражение четырех приятелей, которые угощали друг друга, чокались и опрокидывали стаканчики.

Господин Лейбука относился с некоторым презрением к этому уголку мира, куда он попал, чтобы заработать кусок хлеба для себя и своих детей. Рабочие с лесопилки, итальянцы, которые работали на строительстве большого шоссе и каменных мостов, — все приходили сюда, в тень, и с поразительной беспечностью спускали у стойки свой заработок; пили, ели, галдели. Все наслаждались жизнью, прожигая и растрачивая ее на песни и веселье, на вино и любовную тоску. Солнце, земля, воды Бистрицы, белые стада, позванивающие медными колокольчиками на холмах, лесная прохлада, живые арки водопадов и прочая суета этого мира — все имело для них смысл, которого он не понимал. «Суета сует, — думал

Лейбука. — Все мечутся, спеша к смерти. И ничего после себя не оставляют. Они смеются и поют, — им неведом, как патриарху Аврааму, суровый долг упрочить силу рода, укрепить его для будущего терпением, страданиями и лишениями в настоящем». Они улыбаются солнцу, лесу и реке. А он, Лейбука, живет в тени своей хижины, в пустынных, равнодушных горах. Сколько раз вскакивал он темной ночью дрожа, и сердце его замирало от ужаса: ведь он понимает, что деньги, которые непрерывно текут к нему на стойку, могут пробудить кровожадные страсти. Лейбука знает об опасности; знает, что не сможет устранить ее ни силою своей руки, ни мужеством, — и все-таки он с отвращением, с боязнью продолжает жить здесь, потому что так нужно, потому что он должен вырастить шестерых детей; четыре сына и две дочери, дай бог им долгой жизни...

У господина писаря Лепешки была одна неприятность, «история», к которой он упорно возвращался, словно «лиса в курятник», — как говорил со злорадной усмешкой поп Землягорит. В этот августовский полдень Вертишейка снова заговорил о ней, и зеленые глаза его затуманились. Под навесом ветвей, за еловым столом сидели лишь четверо друзей. «Бугай» — как называли горцы гудок на лесопилке — еще не известил о конце работы, и Лейбука дремал, стоя на пороге, прислонившись головой к дверному косяку, как всегда безучастный и к яркому свету знойного дня, заливающему долину, и к горам, которые отчетливо вырисовывались на светлом зеленоватом небе. Господин писарь с какой-то ненавистью глядел на село, разбросанное по склонам и пригоркам, на белые домики, крытые дранкой и огороженные дощатыми заборами, на серые тропинки, спускающиеся к Бистрице, на поросль молодых елей, на стадо овечек и далекую деревянную церквушку на невысоком холме.

Он говорил хрипловатым голосом:

— Кто я такой, в конце концов, чтобы надо мной насмехалась племянница тетки Параскивы? Сегодня утром, когда я шел в примэрию, опять ее встретил. «Слушай, говорю, Мэдэлина, ты знаешь, кто я и что я могу. У меня, если рассержусь, рука тяжелая!»

Примарь толкнул его локтем, показав глазами на Лейбуку. Лепешка равнодушно оттопырил губу:

— Он не слышит, а если и слышит, то должен молчать. «У меня рука тяжелая, говорю. Уже год, видишь ли, как я за тобой бегаю. А ты, словно царица какая, кривишь губы и отворачиваешься...»

— А она что ответила? — спросил, как обычно, инженер, облокачиваясь на стол и подпирая ладонью подбородок.

— Старая история, — вмешался батюшка. — Опять ты ее спросил, опять она тебе не ответила, и опять ты жалуешься.

— А мне думается, что она наконец поняла: теперь дело уже идет о жизни и смерти, — сурово проговорил Лепешка.

Его товарищи подняли глаза и с сомнением уставились на него.

— Гм! Что же, долго мне еще терпеть, на медленном огне жариться? «Школу, говорю, я закончил, образованный, и в гимназии учился, первым все классы прошел, другого такого и не найдешь здесь у нас, в Поноарах. Работа у меня не тяжелая, мне не приходится, словно каторжному, гонять плоты в Пьятру, бороться с волнами, бурями да скалами, как некоторым другим. С моим умом и пером я могу тебя в шелках и жемчугах водить, как королеву... В прошлом году, когда ездил в Яссы, я привез оттуда альбом в голубом бархатном переплете, написал в него стихи и подарил тебе на именины. Прочитать-то ты прочитала и поняла, но сделала вид, что не понимаешь. Послал я тебе через тетку твою Параскиву весточку; тетка тебя учила быть послушной, чтобы все добром кончилось... Каждое воскресенье я в церкви бываю, глаз с тебя не свожу...» И знаете, что мне девка ответила?

— Что же она тебе ответила? — пробормотал итальянец, не вынимая трубки изо рта.

— Что недаром, мол, меня зовут Вертишейкой. Как вам это нравится? «Дорогая Мэдэлина, говорю, нехорошо так. Знаю я, что у тебя на уме. Знаю, с кем ты встречалась у Вэлинашева омута и в чьи глаза глядела. Мне все известно, есть у меня кого приставить, чтобы тенью ходил за тобой. Так ты что же, решила загубить свою жизнь с таким горемыкой, как Илие Бэдишор? Ведь он, девка, только и знает горы да Бистрицу и то не дальше долины. Ведь он даже Ясс в глаза не видел. Он все равно что дикарь: босой, лицо черное, под мышкой топор. Только и умеет, что плоты по Бистрице гонять да водку пить. А когда начнут трепать волны и бури, вылезет на берег и отсиживается в каменной норе. Одно слово — плотогон! И умрет он той же смертью, что отец, — либо на острых скалах, либо в водовороте; и волны выбросят его вместе с илом и мусором где-нибудь у поворота... Где твоя голова, что ты в нем нашла? Красив? — Нет! Умен? — Тоже нет. Бродяга какой-то. То же самое тебе и тетка говорила...» И знаете, что она мне ответила? — продолжал писарь, угрюмо глядя на своих товарищей.

— Ну? — подзадорил его инженер, перекатывая трубку из одного угла рта в другой.

— Спросила, отец я ей, что ли, или брат?

— Понятно, — встрепенулся отец Костаке и, воспользовавшись удобным случаем, наполнил стакан.

— Тут уж я, господа, рассердился... «Если на то пошло, говорю, так и знай: я его и в солдаты отдать могу. Вот уже год как я тебя избрал, чтобы жить нам вместе, в любви и согласии. Уже год я чахну от любви. Говорил я тебе об этом и стихи писал. А ты меня оценить не можешь! Так пусть же он отправляется, пусть ему скулы свернут в армии. Там и сложит он свои косточки...»

— Подлил масла в огонь! — философски заметил инженер.

— Э, нет! Сначала она перепугалась.

— В солдаты его не могут взять, — вмешался примарь. — Он единственный сын вдовы.

— Да, она мне тоже потом это сказала. Но я ответил, что все равно его отправлю. «Я, говорю, милая, все могу». Тут она опять испугалась. А потом рассмеялась, скривила этак губы, отвернулась — и была такова... Вот теперь вы мне и скажите, может так дальше продолжаться? Я мечусь, покоя не знаю; как увижу ее — дрожь пробирает. Введет она меня в грех.

Лейбука метнул с порога взгляд своих черных глаз и снова принял вид человека, разомлевшего от жары и полуденной тишины.

— Лейзер, вина! — крикнул писарь. — Того же, никорештского. Нравится мне оно. Но что толку, все равно не освежает... Так почему, скажи на милость, не могут его взять? — продолжал он, повернувшись к примарю. — На что же в конце концов мы начальство здесь, в деревне? Если уж нельзя настоять на своем, когда этого хочется, на кой черт и жить на свете?

— Живем, чтобы выпить стаканчик доброго вина, — ответил батюшка Земля-горит. — А мертвых не воскресить. Что тут поделаешь? Отец его Илие давно, верно, сгнил на дне Бистрицы.

Шагомовцы серьезно смотрел на Вертишейку, попыхивая трубкой.

— Слушай, писарь, так нельзя, — проговорил он тихо.

— Гм! — крякнул Лепешка, доставая нижней губой кончик уса и покусывая его зубами. — Вы, господин Джованни, не вмешивайтесь. Предоставьте нам самим делать, как знаем.

Я вижу, что это трудно, — потому-то у меня на душе и кипит... Сам не знаю, до чего дойду, но Илие Бэдишора я должен скрутить в бараний рог. Мысль эта, как птица, свила гнездо вот здесь, в голове. И высидит птенцов обязательно, — осклабился он, принимая графин с вином из рук Лейбуки.

— Давайте стакан, господин «Тальянец». Опять ты косяк подпираешь, Лейзер? Что может понять такой человек, как ты? Все со своей хозяйкой да с щенками своими. Нет ему счастья ни в стаканчике малом, ни радости под одеялом. Чего улыбаешься, господин Лейзер?

— А я и не улыбаюсь.

— Гм. Кто тебя знает, о чем ты думаешь. Дураки мы все, а?

— Я этого не говорю.

— Не говоришь, зато думаешь. Откуда тебе знать толк в жизни? Глуп, кто не наслаждается ею, зря его мать на свет родила. А я добиваюсь своего удовольствия сегодня, потому что завтра меня, может, уже не будет. Человек — что трава в поле! Так, господин Джованни? Вы ведь изучали философию... Выпьем еще по стаканчику — вот мы и будем в выигрыше.

— По правде говоря, в выигрыше-то здесь будет один хозяин, — заметил отец Земля-горит.

— Ну нет, выиграем от этого мы. Я вот поднимаю стакан за ваше здоровье и радуюсь, что мы опять вместе. Не трактирщик радуется, а я. И попрошу его принести еще графинчик. Господин Лейзер, проснись и похлопочи насчет винца. Мне хочется выпить с друзьями; за кого, я сам знаю. Говорю вам, господа, все будет хорошо. Придет день, когда она повиснет у меня на шее... А если нет, останется только одно: головой в Бистрицу.

— Ничего, она угомонится, — заверил его примарь.

— А кто ее знает? В ней сам черт сидит, — мрачно закончил Лепешка, устремив взгляд куда-то вдаль, в невидимую точку.

Лейзер, все такой же невозмутимый, принес вино. Друзья выпили, но для писаря по-прежнему все было затянуто туманом. Позже, когда в горах проревел «бугай» и с лесопилки, как муравьи, поползли по тропинкам рабочие, четверо друзей поднялись и вышли на солнечный свет. Они были немножко навеселе. Писарь шагал нетвердо, что приводило в восторг отца Земля-горит, который, подмигивая инженеру и примарю, криво усмехался, обнажая острый клык. Они шли

к Поноарам, будто окруженные золотистым пухом. Над горными долинами и оврагами царило величавое спокойствие. Далеко над горой Чахлэу, застилая солнце, стояло лиловатое облако, словно окаймленное застывшей молнией. А в мирной тишине заката от большого шоссе, которое строил Шаговцы, с песнями поднимались в гору рабочие-итальянцы.

II

По склону горы к трактиру шел человек. Это был высокий босой плотогон в засученных до колен штанах. На левой согнутой руке у него висел топор топорищем вниз. Он оглядел встречных какими-то белесыми глазами, казавшимися страшными на его бронзовом, тронутом оспой лице. Правой рукой снял шляпу и пожелал доброго вечера. Его рыжие волосы, блеснув в огне заката, поднялись торчком, словно вздыбленные ветром. Он тут же снова спрятал их под шляпу, будто спеша уберечь от опасности.

Писарь остановился. Внимательно глядя на него, спросил:

— Откуда ты, Петря?

— С затона, господин Матейеш. Все на плотах работал.

— А теперь идешь в трактир?

— В трактир.

— Я, пожалуй, останусь,— обратился к своим товарищам Лепешка.— Надо кой о чем потолковать с Петрей Царкэ. Завтра, надеюсь, встретимся, как положено.

— Ну, уж это *беспременно!*— сказал вдруг инженер, а остальные прыснули со смеху.— Наш девиз — постоянство.

Царкэ смотрел на них, вытаращив глаза и разинув рот. Потом он подумал, что батюшка, примарь, а в особенности писарь, научились, видимо, говорить по-итальянски, и усмехнулся.

Оставшись наедине с плотовщиком, Лепешка долго припоминал, для чего он его остановил. Побудило его к этому что-то смутное, неожиданно мелькнувшее в голове... Петря Царкэ был известен в горах своей подлостью и темными делами. Он любил проводить время в корчмах, в шумном кругу друзей; он быстро вспыхивал и не знал жалости. Немало разбил он голов и переломал ребер; частенько приходилось жандармам тащить его, связанного, в кутузку. Что-то темное было у него в прошлом и с военной службой. И писарь знал об этом. Невыясненным оставалось также дело с

попыткой ограбления кассира горной лесопилки. В этом был замешан и сам писарь: укрыл тогда Петрю — своего человека, который принес им немало пользы во время парламентских выборов,— здоровая глотка и огромный кулак Царкэ совершали тогда чудеса в корчмах города Пьятра.

— Вот что, Царкэ,— сказал вдруг писарь.— Я хотел тебя спросить, не встречал ли ты сегодня Бэдишора.

— Илие? Видал, как же: он на плотах работал. Да ведь мы с ним — как немец с турком. Проходим один мимо другого: я ничего не говорю, и он ничего...

— Почему же?

— Да уж такой он человек. Мы с ним вместе и стакана вина не распили. Он все больше с бабами. Пока усы не пробились, весь заработок вытряхивал в подол матери. А теперь ходит за юбкой Мэдэлины, как привязанный. Что ж! Всякому свое.

— Значит, и ты знаешь, что он волочится за девкой?

— А кто же этого не знает? Я вот сюда, а он вверх по берегу Бистрицы.

Лепешка вдруг посмотрел на него расширившимися, налитыми кровью глазами.

— Пошел на свидание с ней?

— Конечно, господин Матейеш. И что вы на меня так смотрите?— усмехнулся плотовщик.— Злая это болезнь, как погляжу я, господин Матейеш. Кое о чем доводилось слышать от людей. Но я думал, все прошло. А теперь сдается мне, что сынок Ирины тебе как сучок в глазу.

Писарь пристально, не мигая, смотрел на него.

— Так, значит?— удивленно протянул Петря, и даже какая-то веселость прозвучала в его голосе. Он вынул кисет, развязал его и скрутил здоровенную цигарку. Пристроив ее в угол рта, он, пока высекал искры, глядел на трут и кивал головой, словно отвечая на заданные самому себе вопросы. Выпустив из ноздрей две струйки дыма, по-свойски, еще на шаг подвинулся к писарю.

— Выходит, господин Матейеш:

От болезни сляжешь — охнешь,
От любви же сляжешь — сдохнешь.

Я буду твоим лекарем. Ведь мы с тобой ладим, живем в дружбе. Как говорится: «Рука руку моет». Кто знает, господин Матейеш, что может случиться. Возможно, Илие тоже отправится к рыбам в каком-нибудь омуте, как и его отец.

При этом он опять ухмыльнулся и тряхнул головой, словно обрадовавшись собственной мысли.

— Он к Вэлинашеву омуту пошел?— спросил Лепешка.

— Да. Есть там одно местечко — красота райская! Так мы еще посмотрим, что нам делать, еще поговорим. Идет, господин писарь? Может, и у меня будет какая-нибудь неприятность или, как говорит батюшка, «история»... Так я к тебе прямо и приду, господин Матейеш. Ты человек образованный, знаешь, как чего в книги записывать. Не приведи бог, какая-нибудь беда, ты меня и прикроешь крылышком. Ну, что скажешь, господин Матейеш?

— Мы еще поговорим,— тихо ответил писарь.

— Конечно. Всего хорошего.

Царкэ двинулся дальше, глубоко затягиваясь толстой цигаркой и как будто подпрыгивая на ходу. Он поднимался все выше по склону горы, выделяясь черным силуэтом на розовом фоне заката. Сверху, со стороны трактирчика, долетал неясный шум, в котором выделялось тонкое треньканье струн. Внизу, в излучине Бистрицы, отражалось далекое небо цвета фиалки. Два невидимых колокольчика прозвенели на разные голоса со стороны села.

А по одинокой тропинке, все думая об одном, шел писарь туда, куда несли его ноги.

В самом деле, Петря Царкэ прояснил его смутную мысль. Теперь писарь понял, зачем остановил его. Как будто странный зверь, внезапно вставший между ними, вселился в него и сжал его сердце. Возбужденный намеками плотовщика и вином Лейбуки Лейзера, господин Лепешка, исполненный решимости, шагал по направлению к омуту Вэлинаша. Недоумение и давняя злоба терзали его. Как, неужели этот босяк, дикарь может стать ему поперек дороги? Что за черт заставляет женщин делать все наоборот? Сначала он думал, что это с ее стороны просто игра, и даже слегка радовался: девушка не так легко сдается, как другие. Ему хорошо был знаком путь к сердцам, проложенный при помощи хитрых слов да нитки бус... Таких слов у него хоть отбавляй, а нитку бус он носил в нагрудном кармане, в бумажке, обвязанной голубой тесемочкой. Но Мэдэлина все равно отворачивала голову. Тоненькая и гибкая в своей черной катринце[1], она проносилась мимо него, еле удостаивая его взглядом, «словно какую-нибудь собачонку»,— думал он.

[1] Домотканая шерстяная юбка.

Вот этого-то писарь и не мог переносить! Вначале он вскипал от гнева, а потом начал биться, словно опутанный невидимой сетью. Обессиленный, он чувствовал, как его уносит потоком страсти. А теперь, с тех пор как узнал, на чьи опаленные солнцем лапы склоняется белый, как у царевны, лоб девушки, он кипел лютой злобой. Очутившись на дороге за крайними хатами деревни, господин Матейеш очнулся... Оказывается, он свернул с дороги к омуту. Куда же он идет?

В хлевах мычали коровы, по дворам разводили огонь под таганами. Пахло кипяченым молоком. Протяжные голоса перекликались на холмах. Писарь встретил мужчину, ровным голосом пожелавшего ему «доброго вечера», затем быстрым плавным шагом мимо прошла женщина с прялкой за поясом... Вслед за ней показался тонкий силуэт, который смутно вырисовывался в густеющих сумерках, но писарь сразу узнал его, и сердце заколотилось у него в груди. Это была Мэдэлина.

— Добрый вечер,— сказал Лепешка и остановился.

Девушка, не задерживаясь, тихо ответила:

— Добрый вечер.

Господин Матейеш повернул обратно и пошел за Мэдэлиной. Он заговорил с легкой издевкой:

— Куда это ты, Мэдэлина? Нельзя ли мне узнать? Может, будешь столь добра и остановишься на минутку, барышня?

— Могу. Что вам нужно?— спросила тонким, певучим голосом девушка.

Она остановилась и повернулась к писарю лицом. Глаза у нее были большие, косы уложены короной. В белой рубахе, в тесной катринце, сужающейся книзу, к голым щиколоткам, она стояла неподвижно и ждала. Приблизившись к ней, он почувствовал запах базилика. Глаза у писаря загорелись.

— Мэдэлина,— обратился он к ней,— ну почему ты не хочешь меня понять?

— Так это вы хотели мне сказать?— И девушка добродушно рассмеялась.— Оставим, господин Матейеш, разговор до другого раза.

— А почему?

— Почему? Этого я вам сейчас не скажу. Сходите к тетушке Параскиве, она вам скажет...

Лепешка, вздрогнув от нахлынувшей радости, хотел было схватить ее за руку. Но она уже шла дальше своим легким шагом и скрылась в тени дощатого забора. Смущенный, господин Матейеш постоял минуту в раздумье. Как-то непонятно было все это. И только когда он зашагал по направле-

нию к дому тетушки Параскивы, в голове его мелькнула смутная догадка, что девушка просто хотела ускользнуть от него. И все же минутная радость вселила в него надежду: может быть, осуществится наконец то, чего он так жадно желал. В светлых сумерках писарь прошел вдоль заборов к домику с двумя елями, в котором жила тетка Мэдэлины.

ГI

Мэдэлина знала, что скоро взойдет луна. Иначе ей было бы страшно идти берегом реки под высокими елями. Спрятавшись в тени за поворотом, она постояла несколько минут, чтобы удостовериться, не преследует ли ее господин Матейеш. Она лукаво улыбнулась в темноте, и черные глаза ее заискрились, как играющая в лунном свете речная рябь. Потом она быстро зашагала вперед, спустилась крутым оврагом прямо к Бистрице и пошла дубняком.

Очутившись затем под навесом еловых ветвей, девушка перестала что-либо различать, словно ей прикрыли глаза. Сердце ее забилось. Выбравшись из перелеска, как из сумрачной пещеры, она как будто попала в совсем иной мир. В лиловой дымке показалась над деревьями громадная красная луна. По Бистрице протянулся живой мостик из золотой чешуи и заскользил в гору между девушкой и луной.

Из расщелины скалы, словно после долгого выжидания, внезапно забила струйка воды. Босые ноги девушки быстро ступали по белой тропинке. Речная ласточка пронзительно крикнула два раза и скользнула над самой поверхностью воды. Бистрица разливалась здесь широким плесом и отдыхала в тихой дремоте под сенью развесистых ив. Мэдэлина остановилась. Вдруг она коротко вскрикнула и тут же рассмеялась. Чьи-то руки обхватили ее сзади за плечи, под левым ухом она ощутила мягкое прикосновение коротких усов Илие Бэдишора.

— Это ты? Как ты меня напугал!

Парень, освещенный луной, появился перед ней. Он был выше ее, в круглой соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, в коротеньком сумане[1] на плечах, с балтагом под мышкой. Он, как ребенка, обхватил Мэдэлину одной рукой, и глаза его блеснули в глубоких глазницах, когда он привлек ее к себе,

---

[1] Зипун.

чтобы поцеловать. Она отстранилась, откинув назад голову. Потом притихла и прильнула к его плечу, с трепетом вновь ощущая прикосновение небольших мягких усов...

Прямо перед ними в свете луны лежал таинственный старый омут Вэлинаша. С давних пор носил он имя безвестного парня. Никто не помнил Вэлинаша, но песню о нем распевали повсюду в горах. Много раз на посиделках певала ее с девушками и Мэдэлина. А потом на этом же самом берегу и ей явился парень, как в старинной песне. Теперь он обнимает ее, а она думает о любви и страданиях былых времен.

— Я немножко запоздала,— тихо заговорила девушка.

— Случилось что-нибудь?— озабоченно спросил Илие, что-то уловив в ее голосе.

— Ничего не случилось. Только на писаря наткнулась. Но я живо от него избавилась. Послала потолковать с тетушкой.

Она развеселилась, засмеялась. Потом снова понизила голос:

— Он и вчера остановил меня...

Илие молчал. Мэдэлина прильнула к нему и спрятала голову на его груди.

— Я так расстроилась, Илиеш. Он говорит, что в солдаты тебя отдаст.

— Кто? Писарь?

— Он. Но я ему ответила, что этого нельзя сделать. Правда ведь, нельзя?

— Нельзя,— неуверенно ответил Бэдишор.— Матушка-то вдова...

— Ну, конечно, у него одни только пакости на уме. Как увижу его, так бы и плюнула да побежала, словно от нечистого. Он и тетушке Параскиве грозился. И теперь она мне на все лады голову забивает: обвенчается, мол, он с тобой и будет холить как боярскую дочь... и платье-то тебе справит городское, сапожки лаковые. Но я ее не слушаю и слушать не хочу,— продолжала, ласкаясь, Мэдэлина, и сверкнула полными слез глазами.— Мне люб мой Илиеш...

Парень нагнулся и поцеловал ее в глаза, чудесные, как темные, бархатные цветы. Девушка тихо засмеялась, потом, снова нахмурившись, продолжала:

— Тетка, может быть, и проделывала бы со мной бог знает что — притесняла, била и за постылого выйти заставила бы. Да она не посмеет, потому что живет и кормится моей землей, которая досталась мне от родителей,— продает с моей

делянки лес. А я притворяюсь, что не замечаю, лишь бы оставила меня в покое. Почему ты молчишь, Илиеш, чем ты недоволен?.. Когда поплывешь в Пьятру? Правда, что ты собираешься туда?

— А ты откуда знаешь?

— Да ниоткуда. Просто вижу и чувствую. Я сегодня смотрела с горы, как ты плоты вяжешь.

— Да я не потому сердит, Мэдэлина. Через неделю вернусь обратно.

— Возвращайся скорей, Илие. Целую неделю буду тосковать. Хотя бы дождь лил все дни, чтобы из дому не выходить.

Парень улыбнулся. Она ребячливо боднула его лбом.

— Я вижу, ты все смеешься. Нет, пускай дождя не будет, чтоб и тебе ничего не грозило на реке. Я узнаю, когда ты вернешься, и буду тебя ждать здесь. Об остальном ты не печалься. Так и состарится бедный господин Матейеш, слоняясь за мной и уговаривая. Он все водится с начальством да с господами, которые понаехали к нам в горы. Вот и пускай ищет себе городскую. На что я ему? Я девушка простая. Уже год, с самого преображения, другого люблю. Ну скажи, Бэдишор, что и ты меня любишь!

Парень не находил слов для ответа. Он гладил ее по голове, как ребенка, и чувствовал, что умирает от любви.

Луна ярко освещала их. Они подошли ближе к берегу, сели под ивой, и на блестящей поверхности омута возникла их черная двойная тень, словно рожденная чарами уединения.

Ни один листок не шелестел. Вся долина, вплоть до фантастических туманов на гребнях гор, молчала. Омут, казалось, застыл. Девушка тихо шептала, припоминая дни, когда зародилась их любовь. Ей нравилось попискивать, как цыпленок, под крылышком Бэдишора.

Год назад, скромной девчонкой, она, робея и с замиранием сердца, опустив ресницы, в первый раз вышла на хору[1]. Тогда и увидела она среди парней Илие под вековыми елями, возле корчмы Булбука в Поноарах.

Звенели голоса и струны. По обычаю горцев, крестьяне — и мужчины и женщины вместе — пили водку. Здесь быстро вскипала кровь, разговор был горячий. Все отдавались веселью безудержно, со страстью, как бурному потоку. У женщин, одетых в белоснежные рубашки с цветной вышивкой и в узкие, облегающие стан катринцы, блуждала на губах

[1] Народный танец и место, где происходят танцы.

какая-то томная улыбка. Белолицые, нарумяненные, разукрашенные цветами и стеклянными бусами, с изменчивым, словно река, взглядом, они сильно отличались от высохших и измученных рабынь, крестьянок равнины. Они вырастали в тени лесов, под грохот горных бурь; жизнь их была не особенно тяжелой, трудились они не так уж много и считали, что на свете они живут только для того, чтобы холить свою красоту и любить.

Когда Мэдэлина очутилась в этом людском водовороте, тетка Параскива толкнула ее в толпу девчонок и сейчас же ушла к каким-то кумовьям, которые делали ей знаки, поднимая кружки с вином. За девичьим кругом парни, по обычаю тех мест, одни выплясывали на лужайке стремительный неистовый и бурный танец. Это было своего рода состязание на виду у всей деревни и, главное, у девушек. Там-то и увидела Мэдэлина Илие.

Он шел впереди длинной цепи танцоров и гордо вел их за собой. Ни на кого не глядя, он двигался и выкрикивал с какой-то особой страстью слова песни. Мэдэлине она была хорошо знакома:

За мной, парни, мне знакомы
Все тропинки в лес зеленый.

Но Илие выговаривал эти слова с нежностью, с любовью, сразу отозвавшейся в ее сердце. Немного спустя начался танец парами; Мэдэлина сама подошла к Илие и смело улыбнулась. А когда он обхватил ее за талию, первая пожала ему руку. Опьяненная, счастливая, взволнованная, с бьющимся сердцем, девушка все-таки заметила робость парня и сразу же почувствовала в себе гордость и силу. Давно ли она была глупой девчонкой! И внезапно вот превратилась в лукавую женщину. Она походила на серый бутон, который с первыми же лучами солнца распустился и зацвел чудесным цветом.

Бэдишор рос тихим, скромным парнем, сыном вдовы. Он ходил неслышно, говорил негромко. И вдруг познал мучительное и сладкое чувство. Теперь жизнь его и страсть слились в одно. В серьезной и строгой, немногословной любви Илие было что-то от горных тайн и туманов. Мэдэлину он считал благом, которое призван защищать до своего смертного часа. Илие не высказывал вслух своих сомнений и под градом докучных вестей, которые, смеясь, сообщала ему

девушка, оставался молчаливым. Она же угадывала его напряжение, читала в его душе, как в душе ребенка, порой ее охватывала дрожь, будто перед опасностью, и именно потому она еще больше любила его.

Странное ощущение, что она безраздельная повелительница Бэдишора, но вместе с тем и маленькая букашка, которую он может раздавить пальцем, Мэдэлина впервые испытала прошлой зимой. Теперь, прижавшись к груди парня и говоря совсем о другом, она об этом вспомнила.

В деревне была свадьба. Вдоль черного леса, по замерзшей Бистрице, под жужжанье семиструнных кобз и пистолетную пальбу растянулся разукрашенный свадебный поезд. Малорослые кони быстро мчали сани между белыми стенами берегов Бистрицы, по звонкому ледяному настилу. Изредка, на поворотах, на непокрытые головы девушек падал с деревьев иней. Писарь господин Матейеш догнал на своих санках Мэдэлину. Смеясь и шутя, он обхватил ее; остальные девушки визжали, словно напуганные волком. Мэдэлина смеялась: ей нечего было бояться писаря. Но когда она обернулась и увидела среди дружек Бэдишора,— он смотрел на нее из-под нахмуренных бровей, как из глубины пещеры,— сердце ее сжалось в крупинку и тут же расширилось от безграничной радости.

— Илие,— сказала тихо девушка, вспомнив теперь об этом,— я тебя иногда побаиваюсь.

— И побаивайся, Мэдэлина,— ответил Бэдишор,— ведь у меня только ты одна и есть... Я думаю так... он был в учении...

— Ты о господине писаре?

— Да. Он был в учении, да научился только злу. Здесь, в примэрии, он всем заворачивает, что хочет, то и делает. Разве народ разбирается? Скажет Лепешка, что так в книге написано,— люди пошарят в кимире и платят. С примарем он ладит, с попом ладит, с купцами тоже. Сидит, как дракон у источника, все требует и все глотает. Капли воды нельзя получить, не заплатив ему дани. Но мне с ним делить нечего. Пусть поступает, как хочет. Пути наши не сходятся. Я на Бистрице со своими плотами, он в примэрии со своими книгами. Но к тебе-то чего он привязался? Я вот терплю, но яду во мне все больше. И в конце концов ему не поздоровится.

— Будь умным, Илие,— решительно сказала девушка.— Нас никто не может разлучить.

— Ладно, Мэдэлина, буду,— мягко ответил Бэдишор.— Я как Бистрица: налетит на нее ветер, она и замутится. Я вот

все думаю: кому какое дело до нас? И хочется мне иногда, как дикому зверю, схватить тебя и скрыться в чащу.

— А пусть себе люди говорят, Илиеш. Пусть и тетка Параскива долбит мне с утра до вечера... Она спрашивает, куда иду, а я в ответ: «За земляникой».— «Что ты, девка, какая сейчас земляника?» — «А я нашла, тетушка Параскива. Сладкая такая, и уж как мне нравится». Ничего со мной тетка не сделает, Илиеш!

Парень обнял Мэдэлину и прижал к груди, восхищенный ее словами.

— И не забудь, Илиеш, в Пьятре про бусы...

Смеясь тоненьким голоском, она извивалась в его объятиях, гибкая и упругая, как струна. Не скоро выбрались они из своего убежища на яркий свет луны. Они шли, как в дымке сна, как в царстве тишины. Они даже не сознавали, что эта ночь опустилась на землю только для них, почти не замечали ее, обняв друг друга, замкнувшись в свою любовь, будто в раковину. И только много позже девушка вздрогнула, услышав фантастический хохот филина. Птица пролетела сквозь светлую лунную мглу, как сквозь серебряный пух, бесшумно взмахивая крыльями, потом лосось плеснул хвостом по воде, рассыпая на стремнине звездочки и зеркальные осколки. Парень с девушкой вошли под черный навес ветвей, а омут все так же блестел под луною, торжественный и печальный.

IV

Господина писаря Матейеша Лепешку раздирало множество мыслей и планов. В голове у него бушевала буря.

Сидел ли он в примэрии, сражаясь с бумагами и с людьми, разбирая ссоры, ходил ли по селу, или выпивал с приятелями в кабачке Лейбуки Лейзера — он не переставал думать о своей неудаче и строил планы.

Время от времени сказывались и результаты его раздумий.

Однажды в полдень в воротах тетки Ирины, матери Илие Бэдишора, появился сборщик налогов Гыцу. После того как вышла хозяйка с подоткнутым подолом и уняла собак, господин сборщик принялся осматривать хозяйство: пересчитал двух телят, пару лошаденок, полюбопытствовал, что за узлы в доме, и стал что-то прикидывать в уме, глядя в разные стороны косящими глазами.

— Что такое? Чего ты там считаешь и высчитываешь?— испуганно спросила вдова, поправляя на голове косынку.

— Меня господин писарь прислал,— сказал Гыцу.— Вы подати не заплатили.

— Да заплатили мы! Как это так «не заплатили», бог с тобой! Тебе же и платили!

— Мне? Что-то не помню. Квитанция у вас имеется?

— Есть квитанция. Парень мой тоже был тогда дома. Ты ему как раз и дал квитанцию. А я ее положила за икону. Есть, как же, есть.

— Тогда ладно. А то господин писарь подумал, что вы не хотите платить государству. Сын твой в армии не служит, подати вы не платите. Так пусть идет в суд и отвечает...

— Какой такой суд?— воскликнула женщина, глядя округлившимися глазами на представителя власти.

Гыцу с улыбкой потер острый нос, поправил съехавший к уху засаленный галстук и тихонько кашлянул.

— Не знаю, тетка Ирина. Пусть отвечает. Он чем занимается? Сидит на берегу реки и держится за юбку племянницы тетушки Параскивы. Нет, такой парень, как он, богатырь, пусть идет в солдаты, чтобы выполнить свой долг и завоевать свои права. Так и сказал господин писарь: «Почему он не занимается хозяйством матери? Был бы он разумным парнем и оставил в покое девок, никто бы его тогда и не трогал...»

— Так разве же он виноват?— раздосадованно закричала хозяйка.— Привязалась к нему девчонка; я даже собиралась, как встречу ее, спросить, чего ей дался мой парень.

Тетка Ирина внезапно утихла и, хитро улыбаясь, пристально посмотрела в глаза сборщика, острые, как у хорька.

— Что до меня,— сказала она, заговорщически понизив голос,— я была бы рада-радехонька, если бы исполнилось желание бедного господина Матейеша.

— Какое там желание, при чем тут господин Матейеш?— защищался Гыцу, поглядывая по сторонам косыми глазами.

— Ладно уж, ладно, теперь я понимаю, куда дело клонится. Вы хотели запугать бедную глупую женщину. А разве мне нужны неприятности? Зачем мне выпускать из дому работника и одной маяться? Он у меня еще пока не жених. Ничего! Я, господин Гыцу, в лепешку расшибусь, а девчонку отважу... А насчет податей скажи господину писарю, что мы заплатили, раз уж ему не спится из-за этого!

С таким ответом и отправился Гыцу по тропинке к примэрии, поглаживая свой острый нос и поправляя галстук на длинной тонкой шее.

К тетке Параскиве он заявился на другой день утром и застал Мэдэлину среди пестрых хохлатых кур. Она кормила их зерном и разговаривала с ними.

— С добрым утром, дочка,— сказал господин сборщик.

— Здравствуйте, господин Гыцу. Каким ветром вас к нам занесло?

— Никаким не ветром. Проходил мимо и решил зайти посмотреть, дома ли кума Параскива.

— Дома, как же!— И девушка принялась с какими-то напевными переливами в голосе звать:— Тетушка! Тетушка! Поди сюда! Тебе письмецо от господина писаря пришло.

Нос у господина Гыцу побагровел. Удивленный такой смелостью, он оставил галстук возле уха, как вещь ненужную и безжизненную, и смотрел растерянно на тетку Параскиву, которая вышла на крылечко и, подбоченясь, нерешительно поглядывала то на него, то на девушку.

— Тебе, как я вижу, сейчас недосуг,— выдавил, наконец, сборщик.— Загляну в другой раз. Или в воскресенье, в корчме...

— Ладно, господин Гыцу,— проговорила тетка Параскива, скрестив на груди короткие толстые руки, и посмотрела на Мэдэлину долгим взглядом, как на какую-то редкостную диковину.

— Какого черта ты ему наговорила, девка?

— Ничего я ему не сказала, тетушка Параскива. Разве я что понимаю? Я глупая девчонка.

— Что верно, то верно,— закивала старуха, низко опустив голову.— Была бы разумной, поступила бы, как я тебя учу.

Девушка опять принялась кормить кур. На губах у нее играла лукавая улыбка, а глаза затуманивало воспоминание о ночах, проведенных возле омута. Старуха махнула рукой, будто девушка ушла, исчезла и ей не с кем больше разговаривать. Она вернулась к своему ткацкому станку.

Как-то после полудня, когда в тени у входа в кабачок только что уселись Вертишейка и Шагомовцы, прибывшие первыми на обычное место встречи, за их спиной выросла фигура Петри Царкэ. Он поздоровался, осмотрел всех своими белесыми глазами и прошел в кабачок.

Лейбука окинул его внимательным взглядом, пропустил в дверь и последовал за ним. Вскоре сидевшие снаружи услы-

шали злой голос Петри: он требовал выпивки. Через некоторое время хозяин появился снова и, как обычно, прислонился к косяку. Краешком глаза он следил за оставшимся внутри плотовщиком. Писарь и инженер медленными глотками потягивали вино и любовались высоким зеленоватым небом. Задев Лейзера локтем, вышел вдруг Петря. Мутными глазами посмотрел он на приятелей и, видимо, приняв какое-то решение, остановился прямо перед ними.

— Что такое, Петря?— спросил Лепешка.

— Ничего особенного, господин писарь. У меня к вам заявление.

— Какое заявление? Говори.

— Да вот, я рабочий человек. С утра и до вечера, значит, вожусь с этим топором да с елями. Другого дела у меня нет. Больше я ничего и знать не знаю. А господин начальник донимает меня.

— Какой начальник?

— А жандармов, Алеку Дешка. Донимает меня, и всё тут. Скажи ему, чтó я знаю да кого подозреваю в том деле с кассиром лесопилки, на которого ночью кто-то напал, чтобы ограбить.

— Хорошо, но ведь это уже дело конченое. Открыть ничего не смогли.

— Ничего не могли раскрыть, господин Матейеш, это вы верно говорите. Вот и не знаю, чего еще нужно господину начальнику, что он ищет? Говорит, будто свидетель нашелся.

Лейбука Лейзер, казалось, дремал на пороге, но глаза его горели живым огнем. Они окидывали понимающим взглядом высокую фигуру Петри Царкэ и всматривались в его дикий облик.

— Я так и подумал, господин Матейеш. Какой еще может быть свидетель? И чего меня донимает господин Дешка? Я подумал, господин Матейеш, что вы снова возьмете меня под свое крылышко!

Царкэ охмелел от выпитой у стойки водки, но он знал, о чем говорит и чего требует, и в упор глядел на писаря.

— Какой там свидетель!— сказал, улыбаясь, Лепешка.— Ничего, Петря, иди себе и успокойся. Я поговорю с господином Алеку Дешка, разберемся. Тебе бояться нечего. Раз ты за собой никакой вины не чувствуешь...

— О том-то я и говорю, господин Матейеш. Никакой вины за собой не знаю.

У Лейбуки мелькнула на лице тонкая улыбка.

— Трудно установить правду,— поддакнул инженер, наливая вино в стаканы.— Было уже темно и поблизости ни души.

— На воре была маска,— тихо заметил Лейзер.— Никто не мог его узнать.

— Какой тут еще свидетель?— опять заговорил, смеясь, писарь и пристально посмотрел на хозяина.— Таким свидетелем, со всякими там подозрениями, может быть и Лейзер.

— Возможно, только я не свидетель,— торопливо и энергично возразил Лейзер.

Господин Лепешка продолжал:

— Со своими подозрениями мог явиться и кто-нибудь вроде Илие Бэдишора, который ищет по ночам клады на берегу Бистрицы.

— Вот где истина!— крикнул, смеясь от души, Шагомовцы.— Ходит и ищет клады! Ему одному известно, что за звери бродят ночью по тропинкам.

Петря Царкэ сверкнул глазами и ухмыльнулся во весь рот.

— Правда, господин Матейеш. Это, наверно, он и есть. Теперь я даже знаю, что именно он. У меня с ним старая история из-за одной девушки. И он, вражий сын, подкапывается под меня, распускает слухи. Непременно узнаю, он ли это, господин Матейеш.

Плотовщик тряхнул головой, как будто и впрямь удостоверился и остановился на определенном решении. Потом он снова вошел в дом, таща за собой Лейзера.

Несколько дней спустя, в одно из воскресений, под елями у старика Булбука было большое гулянье. Молодежь водила хороводы. Люди постарше выпивали и похваливали вино старика Булбуки. Были там рабочие со всех окружающих гор, итальянцы с большого шоссе господина Шагомовцы и какие-то немцы — машинисты с лесопилок. Дед Павалаке Булбук, громадный, плечистый, с выпирающим из-под безрукавки животом, с белыми усами на красном лице, прохаживался взад и вперед, расставляя кружки и подшучивая над женщинами. Сквозь разноголосый гомон еле пробивались мяукающие, замирающие звуки скрипки. Но парням и этого было достаточно: они танцевали, разгоряченные и охмелевшие, с разгоревшимися глазами. Девушки казались более сдержанными и мягко притопывали по земле сапожками с медными подковками. Петря Царкэ поднялся с лавки и, слегка поша-

тываясь, пошел к танцующим. Он остановился на пороге с неопределенной улыбкой на губах, глядя, как прыгают и кружатся пары в танце, называемом кэрэшел. Сначала ему показалось, что все кругом двоится в каком-то тумане, потом он различил Бэдишора и Мэдэлину. А ведь не зря поднялся он с лавки: он знал, что девушка здесь, значит, и парень неподалеку. Царкэ оставил кружку недопитой и вышел наружу, охваченный желанием подраться. Нужно же было что-то сделать ради дружбы с писарем.

Вдруг невдалеке от танцующих показался и сам господин Матейеш Лепешка. Девушки, подталкивая друг друга локтем, со смехом зашептали одна другой на ухо: «Вертишейка! Вертишейка!» Потом, вытягивая шеи, стали искать глазами Мэдэлину. Появление писаря придало решимости Царкэ. Все так же неопределенно улыбаясь, он прошел вперед, задел плечом одну пару, потом другую и наконец тяжело опустил свою руку на плечо Мэдэлины. То был знак, что танцорку приглашает другой парень. Илие и Мэдэлина остановились. Но, увидев перед собой Петрю Царкэ, Бэдишор рванул девушку к себе. Как раз в этот миг он заметил и писаря.

— Чего тебе надо?— крикнул он, меряя внезапно вспыхнувшими глазами плотовщика.— Какой ты парень? Не имеешь права приглашать.

Царкэ осклабился.

— А мне вот пришла охота потанцевать с этой девчонкой. Я и музыкантам заплачу и парней угощу!

Танец прекратился. Один из парней положил руку на скрипку, и песня, задохнувшись, умолкла. Мэдэлина потянула Бэдишора в сторону.

— Тебя писарь подослал,— заревел Илие, сверкнув взглядом в сторону Лепешки.

Царкэ нагнул голову и кинулся вперед. Несколько девушек испуганно вскрикнули. Мэдэлина комочком откатилась в сторону, отброшенная левой рукой Илие. Правой же он схватил Царкэ за голову, не давая ему выпрямиться; остальные парни навалились на них, пытаясь разнять.

Сильные руки оттащили Петрю в сторону, он тяжело дышал и только яростно вскидывал головой.

— Ничего, вдовий сынок, мы с тобой встретимся в другом месте!

Важный, щеголяя узкой городской одеждой, господин Матейеш протискивался сквозь возбужденную толпу, собравшуюся на месте происшествия, и, притворяясь обиженным, спрашивал:

— Что случилось? Кто смеет говорить обо мне?

Илие Бэдишор смерил его ненавидящим взглядом. Писарь сделал вид, что ничего не замечает. Он понимал, что ему здесь делать нечего. Встретившись глазами с Мэдэлиной, он спросил:

— Что такое, Мэдэлина, что случилось?

— Пришел волк с похмелья расстроить веселье,— скороговоркой ответила Мэдэлина. Остальные девушки, склонив друг к другу головы, язвительно хихикали.

Господин Матейеш достал из кармана часы с цепочкой, посмотрел на циферблат, потом хлопнул плеткой из бычьих жил по ноге. Он чувствовал себя так, будто попал в осиное гнездо.

— Пусть кто-нибудь сходит за Алеку Дешка,— грозно приказал писарь и важно удалился прочь от толпы.

V

Господин шеф произвел небольшой допрос, восстановил порядок и спокойствие, а затем направился медленным шагом в гору, позвякивая саблей о каменистую тропинку.

Господин шеф Алеку Дешка был человек небольшого роста, но хорошо сложенный, широколицый, белокурый и безбородый. За сморщенную физиономию, которая как будто всегда смеялась, его прозвали «Турецкой Бабой». И в самом деле, у господина начальника жандармского поста было лицо веселой бабы. Глаза же были и не веселые и не бабьи: серые, со стальным блеском, они буравили души и предметы.

Господин Алеку Дешка имел свой взгляд на людей. Он вертел ими, крутил, судил, осуждал и не дал бы за них и ломаного гроша. Были у него свои понятия и о службе, которую он нес. Он прочитал за свою жизнь несколько книг и стремился выполнять свой долг перед властью, как настоящий артист. Когда у него оказывалось «дело», он никогда им не пренебрегал: как искусный часовых дел мастер, шеф разбирал его на части и винтики, вертел, разглядывал со всех сторон и втихомолку делал свои выводы.

Задумчивый, как всегда, Дешка поднимался по дороге в кабачок. Был прохладный вечер, какие выпадают в конце лета, и Лейбука, поеживаясь, закрывал дощатые ставни своего заведения. Увидев жандарма, Лейзер весело улыбнулся и приветствовал его, подняв руку ко лбу.

— Добрый вечер, господин Алеку. Хорошо делаете, что заглядываете к нам. Жена моя только тогда и спокойна, когда вы показываетесь в этих местах.

— Разве? Так пойди же скажи ей, что я пришел, и попроси ее приготовить для меня чашечку кофе со сливками. Я из турок, господин Лейбука, и люблю кофе.

— Я тоже, господин Алеку, хотя и не из турок. Скажу, чтобы приготовила две чашечки.

Алеку Дешка уселся на стуле между елей. Лейбука вошел в свой бревенчатый дом, спеша сообщить жене добрую весть, потом вернулся, потирая руки.

— А стаканчик рому, господин Алеку, не помешает кофе?

— Не помешает, если составишь мне компанию. Я люблю справедливость, господин Лейбука.

— Знаю,— ответил Лейбука, тихо смеясь.— Я вас хорошо знаю, господин Алеку. Вы редкий человек в этих краях. Что же вас привело сюда, господин Алеку?

— Что меня привело? Да ровно ничего,— ответил жандарм.— Сам пришел. Я службы не боюсь, где бы она ни была. И в пустыне не пропаду, господин Лейбука. Я немножко философ. Если нечего делать, я думаю: зачем создал бог человека! Стараюсь разгадать без свидетелей и без доказательств, кто же все-таки напал на кассира лесопилки. Взгляну на человека — и могу заранее сказать, в какую ночь он попытается нанести визит господину Лейбуке...

Лейзер подскочил.

— Не говорите так, господин Алеку. Вон идет моя жена. Она всего боится.

Мадам Эстер поздоровалась за руку с господином Алеку и, усевшись на стул, стала жаловаться.

— Трудно здесь жить,— сказала она, грустно улыбаясь,— одни заботы и неприятности. Бывают ночи, когда я совсем не сплю.

Жандарм повернулся к Лейзеру и засмеялся.

— Тогда позволь спросить тебя, господин Лейбука, что ты здесь делаешь?..

Лейзер вздохнул.

— Должен же человек заработать себе на кусок хлеба...

— Это так,— тихим голосом согласился представитель власти.

Они помолчали некоторое время. В селе зажигались огни. На одном из склонов, в горах, замерцал, словно одинокий глаз, огонек. Мадам Эстер вздрогнула, укутала шею платком и ушла в дом.

— Так о чем же вы это говорили, господин Алеку?— робко спросил Лейбука.

— Ага, не забыл, значит. Я говорил, что знаю, кто под маской напал. на кассира.

— Может быть, я тоже знаю. Думается мне, что и господину писарю известно.

— Возможно,— неторопливо заговорил жандарм, раздувая трут и прикуривая.— За человеком, который это совершил, я все время слежу на расстоянии... А он и знать не знает. Собирается еще прийти сюда как-нибудь ночью, сорвать ставни и пошарить у вас за стойкой.

Лейзер молчал.

— Уж я-то людей знаю,— продолжал Алеку Дешка улыбаясь.— А его насквозь вижу, все знаю, что он задумал. Придет, а мне уже известно, кто был.

— Господин Алеку,— тихо молвил Лейзер,— лучше бы он не приходил.

— Понятно, лучше бы не приходил. Сорвет ставни, разобьет стойку, а ты выскочишь взлохмаченный, со свечой в руке. Тут в горячке недолго тебя и топором по голове стукнуть. Конечно, этого нельзя допустить. Уж лучше позову его к себе, расспрошу о других делах — он и образумится. Думает он прийти к тебе, да не смеет.

Алеку Дешка курил и, наслаждаясь, пил в темноте свой кофе.

— Хороший кофе,— сказал он.— Такой я только в Яссах пил у каких-то армян.

Лейзер снова вздохнул.

— Живем мы здесь, господин Лейбука, среди злодеев. Лесные звери им соседи. Кидаются друг на друга, дерутся и клыками и рогами. Сегодня чуть смертоубийство не приключилось.

— Как же это, господин Алеку?

— Петря Царкэ бросился на Бэдишора.

— Выходит, опять он?

— Да. Теперь у него эта забота. Еще одна причина, чтобы отложить визит к тебе. Писарь наш, господин Лейбука, учился в школе, одевается, как и мы, но душа у него все равно дикая. Вот уже целый год он бегает за одной девчонкой и теперь дошел до отчаяния. Я молчу, но все вижу. Теперь пустил в дело Царкэ. А сам потом умоет руки — знать не знал, видеть не видел.

— Как это умоет руки? Из-за чего же ему умывать руки, господин Алеку?

— Так-так. Думаешь, я не знаю, чем все это кончится? Знаю, будто я сам господь бог. Горы высокие. Бистрица глубокая. Будут когда-нибудь оплакивать бабы Илие Бэдишора...

Лейзер вскочил встревоженный.

— Не может быть, не может этого быть, господин Алеку! — воскликнул он, волнуясь.— Вы странный человек и всегда так меня пугаете. Но вы же не плохой человек. Вы можете что-нибудь сделать, помешать.

— Нет, господин Лейбука, ничего я не могу сделать,— тихо ответил Алеку Дешка.— Страсти здешних людей, как ветер и вода: никто их не остановит... Вот оно как, господин Лейбука! Не видишь, что вытворяет наш писарь? Посылает весточки матери парня, потом идет побеседовать с теткой Параскивой, самой девушке проходу не дает. А здесь, в кабачке, среди бела дня он разве не рассказывал во весь голос о своей страсти? Недавно он об этом же говорил с Царкэ, не так ли?

— Правда. Говорил.

— Так ты сам разве не видишь, господин Лейбука, к чему все клонится? Если я знаю, кто такой Царкэ, если мне известно, что он замешан в этом деле, и если сегодня я видел, как он, словно волк, хотел сцепиться с Бэдишором, то мне не трудно догадаться и о дальнейшем. Но ничего не поделаешь. Могу я за ними уследить? Нет, не могу. Бог с ними! В этих местах человек, вода, звери — все одинаковы, господин Лейбука. А теперь, если тебе не трудно, можешь принести стаканчик рому.

— В один момент. Только я не верю, господин Алеку. Вам просто так нравится — зайти вечерком и говорить подобные вещи. Я очень рад, когда вы приходите. Вы — власть, и мне с вами хорошо, хоть и пугаете вы меня до смерти. Я не верю, что случится так, как вы говорите.

— Что ж, и не верь. Ты человек городской. Там, когда убьют человека, все ужасаются и толпятся, как на ярмарке. А здесь, господин Лейбука, человеческая жизнь — что полевой цветок, как сказано в псалтыре. Вскорости на Бистрице произойдет неприятное событие, и день тот недалек...

Лейзер, сгорбленный, напуганный, застыл на своем месте, а бабье лицо Алеку Дешка сморщилось от странного, беззвучного смеха.

VI

«Турецкая Баба» не ошибался: что-то должно было произойти. Из своего жандармского поста возле примэрии, над которым высоко в воздухе полоскался вылинявший от дождей флаг, господин Алеку Дешка с застывшей улыбкой следил за всем, что происходило в долине и на тропинках, все отмечал в своей голове. Его серые глаза, казалось, видели сквозь стены. Он как будто сам присутствовал на совете Петри Царкэ с господином Матейешем. Вот уже несколько дней подряд, в сумерках, плотовщик с топором под мышкой поднимался своей подпрыгивающей походкой к домику писаря.

Господин Алеку Дешка курил, сидя верхом на стуле и опираясь подбородком на скрещенные на его спинке руки. Дым от папиросы, словно живой, полз и извивался в ярком свете первых осенних дней. Шеф видел и отца Земля-горит, который неутомимо шагал то по тропинке, то по какой-нибудь извилистой уличке.

Батюшка Костаке тоже взялся за дело, намереваясь устроить его по своему разумению и не в ущерб себе. Прежде всего — он был другом писаря. У ворот дома тетки Ирины батюшка всплескивал руками и все удивлялся:

— Как это ты, тетка Ирина, трудолюбивая, порядочная женщина, измученная заботами вдова, можешь терпеть подобное: чтобы девушка соблазняла твоего парня и лишала его человеческого обличья!

— Правда, батюшка Костаке, целую руку...— отвечала вдова.— Подумать только, до чего злые люди пошли в наше время! Какая-то девчонка, кошка драная, а держится за моего Илие и не отстает. И ведь была я у Параскивы, сказала ей... Она, правда, тоже не рада, бедняжка. И жаловалась мне, что никак ей не совладать с этаким чертенком. Попробуй собери зайцев в стадо. Как увидела я это, сама подождала девчонку и в упор спрашиваю: «Слушай, девка, почему ты не оставишь моего парня в покое?»

— Вот-вот... А она что?

— Господи, батюшка, если сказать — сам не поверишь... Ничего не ответила. Только постояла вот так да посмотрела на меня. Потом подошла, опустив голову, и поцеловала мне руку. «Тетушка Ирина, говорит, придет день — украдет меня Илие и привезет к тебе на печь. Ты не осуждай меня и не препятствуй, говорит, ведь и сама была такой же. А я Илие зла не желаю».

Вот, батюшка, какое она мне слово сказала... Что с ней поделаешь? Я, по правде сказать тебе, батюшка, со слезами на глазах посмотрела на нее, так меня за сердце взяло.

— Вижу, вижу...— сказал с некоторой издевкой отец Костаке.— Вспомнила старину... Знаю уж...

— Эх, батюшка, молодость, ничего не поделаешь! — ответила со вздохом вдова.

Топая быстро по дороге, с развевающимися по ветру полами рясы, отец Костаке появлялся на другой уличке, у другого дома. И Алеку Дешка видел, как он, прислонившись к старому еловому столбу, под навесом ворот, долго махал руками перед носом тетки Параскивы, которая стояла в подоткнутой юбке и слушала, скрестив руки на груди.

Видел Алеку Дешка и то, как в сумерках писарь неотрывно ходил за девушкой по пятам, и вся деревня видела это. После пережитого унижения у корчмы Булбука Лепешка потерял над собой всякую власть. Когда закат начинал окрашивать розовым цветом скалы, Мэдэлина возвращалась вместе с другими девушками с гор, гоня перед собой коров. А он уже стоял на дороге, похлопывая плетью по штанине. Иногда он останавливался, глядя в одну точку и словно прислушиваясь к звону колокольчиков. «Уставился как баран на новые ворота»,— шептали, хихикая, девушки и приглушенно смеялись. Однажды он решительно преградил путь Мэдэлине, грубо прикрикнув на остальных:

— Чего стали? Идите и занимайтесь своим делом! Слушай, Мэдэлина,— обратился он к девушке, глядя на нее пристально и хмуро.— Хочу тебя еще раз спросить: ты это навеки связалась с другим, а на меня и не посмотришь? Ответь мне.

— Господин Матейеш, мне нечего вам отвечать,— спокойно молвила девушка.

— Слушай, Мэдэлина, разве ты не видишь, что скоро всему наступит конец? У корчмы он надерзил мне при всем честном народе. И теперь не будет мне покоя, пока я не смету его со своего пути. Дело это решенное и скреплено клятвой.

— Господин Матейеш, а греха вы не боитесь? — сказала девушка, окинув его быстрым взглядом.

— Нет.

— Хорошо, но ведь Илие вам ничего не должен. Зла он никому не сделал. Ни к чему вы не придеретесь. Что же вы ему можете сделать?

— Мэдэлина, брось его,— вот и все, что я хотел тебе сказать. Не то душа твоя будет в ответе перед господом богом.

Алеку Дешка видел, как Матейеш Лепешка после этого разговора направился большими шагами к трактирчику. «Надо поговорить с Лейзером,— подумал шеф.— Матейеш теперь будет пить, чтобы разгорячить себя и на что-нибудь решиться».

Сохраняя на лице все ту же застывшую в мертвой улыбке маску, жандарм поднялся со стула, закурил другую папиросу и не спеша пошел вниз, позвякивая саблей. Он повернул на одну из улиц и остановился у ворот дома тетушки Ирины. Старуха доила корову. Илие вышел из сеней навстречу Алеку Дешке.

— Иди-ка сюда, пройдись со мной немножко,— сказал ему шеф.

Парень внимательно и озабоченно посмотрел на него. Когда он приблизился, Дешка похлопал его левой рукой по плечу.

— Не беспокойся, парень, я против тебя ничего не имею. Ты человек хороший. Я только хотел спросить тебя кое о чем.

— Спрашивайте, господин шеф, я отвечу,— быстро проговорил Илие Бэдишор.

— Вот очень хорошо: вижу, ты меня хорошо знаешь. Я не притесняю и не подкупаю. Я человек справедливый, Илие, и, попади я в монашескую братию, мог бы сделаться игуменом, а то и митрополитом. Смотрю я, братец, вокруг и вижу все и понимаю. Я давно знаю, что ты водишься с Мэдэлиной. Только в сердечные дела молодежи я не вмешиваюсь. Бог дал людям любовь, чтобы они забыли о старости и смерти. Но тебе известно, Илие, что Матейеш Лепешка ненавидит тебя?

— Да, господин шеф, но я его не боюсь.

— Хорошо, хорошо. Знаю, что не боишься. Однако, если у него появится товарищ, перевес будет на его стороне. Кто-нибудь, скажем, может прыгнуть тебе в темноте на шею. Камень может на тебя с горы свалиться. Будь поосторожнее, парень. Так я считаю: ты должен остерегаться...

Странно ухмыляясь, «Турецкая Баба» снова похлопал парня по плечу, потом, покачиваясь, медленно пошел к трактирчику. Илие постоял еще некоторое время, вслушиваясь в удаляющийся и затихающий лязг его сабли.

Очнувшись от дум, парень сделал несколько шагов к Бистрице. Потом, вспомнив слова Дешки, улыбнулся и покачал головой. Широкими шагами он пошел к дому, крадучись пробрался в сени и поискал в известном ему местечке балтаг.

На ходу он накинул на себя безрукавку и уже в самых воротах ответил матери, которая спрашивала из дому, кто там. Сквозь голубоватые сумерки по наклонной тропинке он спустился к омуту, где ждала его Мэдэлина...

VII

Три дня спустя, в ночь под праздник святой Марии, долину Бистрицы покрыл иней, похожий на мелкое толченое стекло. Узкий серп ущербного месяца освещал тускло-желтым светом склоны гор, ивы, камни, нагроможденные потоками. Утренняя звезда, появившись из-за серой полосы облаков, взошла над горами. В своем домике внезапно проснулся от тяжелого сна господин Матейеш Лепешка, услыхав громкий стук в дверь и мужской голос.

— Это я, господин писарь,— кричал снаружи Петря Царкэ.— Открой!

Лепешка еще находился во власти сновидений. Лунный свет проникал в окна, как дымка. Утренняя звезда показалась писарю живым подмаргивающим глазом с лучистыми ресницами.

— Открой, господин Матейеш!

— Что такое? Чего ты кричишь? — спросил писарь, отодвигая задвижку.

Плотовщик, смеясь, вошел в комнату, и на Лепешку пахнуло крепким запахом табака и водки.

— Что с тобой, человече? Ты прямо из корчмы?

— А как же, от Булбука. Но у меня большие новости, господин Матейеш. Одевайся и немедля поедем. Теперь уж ему не вывернуться, господин Матейеш. Я сколько времени слежу за ним. Теперь-то он нам попался.

— Ты о Бэдишоре говоришь?

— О ком же еще? О бабушке, что ли? Вчера вечером приходит в корчму представитель фирмы, какой-то еврей, даже имени его не знаю. Ему, видите, нужен плотовщик, чтобы обязательно сегодня, в день святой Марии, сплавить двадцать больших плотов из устья Бараза,— завтра он хочет отправить их дальше, в Пьятру. У них там свои дела, отсрочки не терпят. Работают по часам. Ну, а люди наши, конечно, отказались. Завтра, то бишь сегодня, праздник, день отдыха. В корчму надо заглянуть — христиане как-никак... Что до меня, то я и не подумал ехать.

— Подожди, Петря, подожди,— прервал его писарь.— Какая же тут связь все-таки с Бэдишором?

— Вижу, не хочешь ты меня слушать, господин Матейеш... Вот как было. Представитель ушел. Мы, значит, остались, выпили еще по рюмочке водки, поговорили о том о сем. Стало уже поздно. И вдруг заходит один из наших, Тимофте, и говорит, что нашелся человек, готовый в праздник гнать плоты. Кто же это такой? Илие Бэдишор. Он жаднее всех на деньги. Ни корчма, ни веселье ему не нужны. Дадут хорошую цену — он и поведет плоты. Тимофте говорит, что он уже отправился к реке.

Заразившись воодушевлением плотовщика, писарь засуетился и стал одеваться.

— Теперь или никогда, господин Матейеш,— продолжал между тем Царкэ, наклоняясь к самому его лицу.— День праздничный: в горах и на Бистрице никто не работает. Отправляется он один. Если разобьется о скалы, значит, бог наказал его за то, что работает в праздник.

Губы Царкэ, освещенные луной, растянулись в черном оскале. Он слегка покачивался и постукивал пальцами по лбу, восхищаясь собственным планом.

— Пошли, господин Матейеш! Не мешкай! Возьмем коней... Свершится наказание божье, а мы уже здесь... Поговорим с людьми, зайдем в корчму и будем вместе со всеми удивляться, когда станет известно, что сынок отправился искать папашу на дно реки.

Лепешка уже не владел собой. Словно в лихорадке искал разбросанную по комнате одежду. Вся ненависть, скопившаяся за многие месяцы, усиленная отчаянием и пережитым унижением последних дней, кипела в нем, туманя рассудок. Он кинулся к Царкэ, схватил его за горло и глухо застонал:

— Замолчи! Замолчи! Еще кто-нибудь услышит. Никто не видел тебя, когда ты сюда заходил?

— Никто, господин Матейеш, не беспокойся. Я рыжий, из лисиц...

Развеселившись от собственной шутки, Петря Царкэ похлопал рукой по сумке, висевшей у него на боку.

— Захватил я с собой и немного бодрящего: флягу со спиртом. И так мне весело, господин Матейеш, будто на охоту собираюсь.

Писарь рывками натягивал на себя пальто. Затем толкнул Царкэ плечом.

— Ну, чего стоишь? Пошли.

— Идем. Идем. Только как насчет коней?

— Есть. Мы их под самым лесом найдем. Другого, думаю, ничего с собой брать не надо?

— Да к чему нам, господин Матейеш? Избави бог! Мы и пальцем его не тронем. Бистрица сама с ним и справится!

— Правильно,— пробормотал писарь. Он почувствовал, что его охватывает холодная дрожь. Съежившись, он вышел на улицу, дважды повернул ключ в двери и, глубоко вздохнув, будто сбросил с плеч огромную тяжесть, быстро зашагал в гору. Теперь он знал: к устью Бараза он уже не может не пойти; он чувствовал: в этот день непременно произойдет что-то страшное, чему он уже не в силах помешать. Зато потом придет, может быть, успокоение и та вожделенная минута, которой он так страстно желал.

Когда писарь с Петрей на неоседланных конях взметнулись на гребень горы Вэтуй, чтобы ринуться оттуда в ущелье Бараза, сквозь туман проглянуло солнце. Великое молчание царило над лесами и окаменелыми волнами гор. Слева из ущелья, где был монастырь, донеслись далекие, мерные удары колокола; потом, словно переливы песни, некоторое время звучали подголоски. Оба товарища ненадолго остановились, глядя вниз, в ущелье, на плес, над которым плыли обрывки светлого тумана...

По другой стороне, скалистой тропинкой, завернувшись в тулупчик, ехала верхом по-мужски горянка. Несколько лошаденок, навьюченных мешками с кукурузной мукой, понуро плелись сзади, привязанные одна к хвосту другой,— видимо, из какого-нибудь равнинного городка в горное селенье.

Господин Матейеш и Петря Царкэ перевалили через гребень и стали спускаться в долину Бараза. В лесистом овраге они спешились. До устья реки оставалось немного. Место было уединенное, и оба надеялись, что на реке не окажется никого, кроме них и Бэдишора. Плотовщик вынул флягу и подал ее господину писарю. Тот было отстранил ее тыльной стороной руки, но, передумав, схватил и, поднеся к губам, сделал большой глоток. Царкэ засмеялся и протянул руку, похожую на звериную лапу.

— Добро! Только и мне оставь, господин Матейеш. Это мое лекарство.

Господин Матейеш нашел шутку уместной и, тоже смеясь, вернул флягу, блеснув на него горящими глазами.

Они решительно прошли между еловых бревен и затаились, внимательно вглядываясь в дощатое здание лесопилки. Там было тихо, не чувствовалось никакого движения. Справа Бараз, укрощенный плотинами, переходил в широкий спокойный затон, на поверхности которого покачивались белые стволы очищенных от коры елей: кряжи и мачтовики.

Воды притока, задержанные в этом месте и успокоенные, ждали того часа, когда они вольются в оскудевшую от засухи Бистрицу и стремительно помчат плоты вниз к равнине. Здесь тоже было тихо и пустынно. Под зеленоватой блестящей поверхностью затона изредка, как молнии, сверкали похожие на серебряные иглы форели.

— Нет его здесь,— сказал, нахмурив брови, Матейеш Лепешка.— Не приходил еще, что ли?

— Нет, приходил,— ответил Царкэ, шагая между сваями плотины,— только мы чуток опоздали. Плоты должны были находиться на этой стороне, на Бистрице. А теперь их нет. Значит, он недавно отвязал их и уплыл.

Писарь прихватил зубами кончик усов и взглянул на Царкэ злыми глазами.

— Что же мы будем делать?

— Гм, что делать? Есть лекарство от всего, господин Матейеш. Со мной не пропадешь. Я уж доро́гой думал, что мы можем его не застать, но в затоне, я знаю, стоят легкие плоты, приплывшие по речке и еще не разобранные. Вот они, можете сами посмотреть. Спустим воду, выйдем с плотами на Бистрицу, и волны помчат нас вдогонку за ним, как на рысаках. Сзади мы на него и нагрянем...

Недобрый огонек сверкнул в глазах Лепешки. Он обернулся к плотовщику, схватил его за плечо и, толкнув вперед, произнес одно только слово:

— Пошли!

Довольно ухмыляясь, Петря Царкэ вытащил из-под безрукавки топор. Оба подкрались к плотине и при помощи блоков подняли на цепях шлюз. По спокойной зеленоватой поверхности затона пробежала еле заметная дрожь, и воды его устремились к Бистрице. С воем урагана хлынула первая волна. Оба приятеля быстро заскользили на легком плоту, пронеслись мимо свайных опор, подпрыгнули в водовороте большого речного русла. По гребням волн они устремились вниз, будто впереди, еле касаясь вод Бистрицы, мчались резвые кони.

— Держись, господин Матейеш! Сейчас мы его догоним! — крикнул Царкэ, стоявший у переднего руля.

Так они плыли некоторое время с большой скоростью и через каких-нибудь четверть часа в самом деле увидели плот Бэдишора, заворачивающий за скалы. Царкэ поднял голову. На прибрежных тропинках никого не было видно. Подгоняемые спущенной водой, они, как пьяные, неслись в кипение



волн. Матейеш Лепешка стоял, согнувшись, и крепко держался за ручку топора, воткнутого в плот. Он пристально смотрел вперед. Во взгляде его было что-то дикое, безумное.

— Догоним его возле омута! — крикнул ему в ухо Петря Царкэ.

Они действительно нагнали парня у Вэлинашева омута, налетев на него из-за поворота. Бэдишор повернул голову и вдруг увидел несущийся прямо на него плот. Нагнувшись, он с быстротой молнии схватил топор. Его противники приближались, не замечая, что следом за ними, подпрыгивая на волнах, несутся стволы елей, вырвавшиеся на свободу из водяной тюрьмы. Словно состязаясь, бревна наскакивали друг на друга, сталкивались и расходились. И когда Лепешка с Петрей протаранили плот Илие Бэдишора, стволы елей, которые неслись им вслед, налетели на них самих. В одно мгновение их плот распался на множество причудливых пловцов, нырявших и снова выскакивавших на поверхность реки.

Матейеша Лепешку ударило концом бревна и швырнуло вперед, он сразу провалился между плотами и больше не появлялся. Так вот что обещала ему сверкнувшая перед глазами утренняя звезда: после стольких усилий и волнений такой конец.

Взмахивая руками, как крыльями, двое других еще сохраняли равновесие на развязавшихся бревнах. Затем Илие Бэдишор сбросил с себя безрукавку и с топором в руках кинулся в воду.

Противники находились в этот миг возле самого омута, в узком ущелье между отвесных известковых скал. Издавна это место считалось опасным и было хорошо известно плотогонам. Поэтому у берега, на котором стояло село, с давних пор они выбили в скале у самой поверхности воды углубление, куда потерпевшие могли забраться в минуту опасности. От углубления шли вверх ступеньки, по которым нетрудно было выбраться на берег.

Туда-то и направился вплавь Илие. Несколько бревен, толкаясь, шли с приглушенным плеском прямо на него. Он нырнул в глубину, не выпуская из рук топора. Только шляпа осталась на волнах и весело подпрыгивала перед бревнами. Отталкиваясь ногами и загребая воду одной рукой, парень вслепую прошел под ними, испуганно отфыркиваясь, выплыл у самой пещеры плотовщиков.

Тяжело дыша, он зацепился топором за выступ скалы и медленно выбрался из воды.

Оглянувшись, он увидел, что Царкэ, с окровавленным лбом, с выпученными глазами и широко раскрытым ртом, сильно загребая руками, плывет к тому же месту спасения.

Бэдишор, словно ужаленный, вскочил, весь напрягся и угрожающе поднял топор.

Петря Царкэ в отчаянии завопил, протянув к нему руку:

— Не бей, Илие. Не бей меня, братец! Пожалей!

Бэдишор, все еще во власти смертельного ужаса, постоял с минуту в нерешительности, будто не понимая, о чем идет речь. Потом, переложив топор в левую руку, он рванул с себя ремень и кинул один конец Царкэ. Тот выбрался из воды и упал замертво, привалившись виском к скале. Потом взглянул на Бэдишора и скорее вздохнул, чем сказал:

— Прости меня, Илие. Я против тебя ничего больше не имею.

Илие почувствовал, как к горлу подступает комок. Он проговорил взволнованно:

— У меня, батяня Петря, тоже словно всю душу перевернуло.

И тут же стал кричать и махать показавшимся на берегу людям.

VIII

К вечеру Бистрица выбросила ниже омута труп господина Матейеша. Когда это стало известно в Поноарах, на месте происшествия появились господин примарь Дэскэлеску, отец Земля-горит в развевающейся по ветру рясе и господин Шамоговцы с трубкой в левом углу рта. Пришел и господин Алеку Дешка со своей застывшей, как маска, улыбкой. И все же он казался хмурым, недовольным, словно был обижен тем, что в своих тайных расчетах забыл о хитрости волн и о причудливых пловцах. Лейбука Лейзер, пожелтевший, запыхавшийся, смотрел на шефа с нескрываемым восхищением. Остальные жители деревни спокойно созерцали своего погибшего ученого писаря. Женщины, прячась друг за друга, вытягивали головы и протяжно вздыхали, прикрывая рот ладонью.

Матейеш Лепешка пристально смотрел остекленевшими, недвижными глазами в осеннее небо, и из его рта стекали на песок две тоненькие струйки крови.

После того как отец Костаке произнес печальные слова о бренности жизни, сельские власти, отвернувшись от покойника, стали совещаться об устройстве на следующий же день торжественных и пышных похорон в церкви, на холме. Особенную горячность проявлял тут батюшка, доказывая, что иначе никак нельзя. Один Алеку Дешка не участвовал в разговоре, погрузившись в размышления, стоит или не стоит начинать запутанные, бесконечные расследования.

— Нет, не стоит,— произнес он вслух, качнув головой, и вздрогнул, оглядываясь кругом.

— Нет, стоит, господин Алеку, и даже обязательно нужно! — воскликнул, обернувшись к нему, священник.

— Мы обязаны выполнить свой долг перед умершим,— серьезно сказал итальянец, попыхивая трубкой и грустно закрывая глаза.

Лейзер поглядывал на них со стороны живым, острым взглядом и молчал.

На второй день состоялись похороны, и на холме у церквушки собралось все село. Небо было хмурое, горный ветер гнал серые тучи, раздирая их в клочья о скалистые вершины. Со стороны Бистрицы медленно поднимались в гору клубы тумана, похожие на белых волов.

Бэдишор, побледневший, с провалившимися глазами, пробрался сквозь толпу, которая слушала голос священника, пение псалмов и звон колоколов.

Над опущенными головами людей, сквозь сырой туман, занесенный ветром из ущелья, дрожали голоса, поющие «вечную память». Комья земли загрохотали по белому гробу. И в этот миг бучумы двух приглашенных с гор чабанов издали протяжный, раздирающий сердце призыв; он странно задрожал над долиной и замер в невидимой дали.

Женщины в толпе начали всхлипывать. Илие Бэдишор усталыми глазами взглянул на них и среди юбок и платков заметил Мэдэлину, которая вздыхала, подперев рукой щеку. Он не видел ее уже два дня и смотрел на нее так, словно прошли целые годы. Она была бледна и все так же красива. Мэдэлина была отрадой его ночей в пору, когда не гнездился в душе его смертельный трепет. Он смотрел на нее сквозь туман, и ему казалось, что она отдаляется от него, меж тем как бучумы все пели свою надгробную песнь, как в те древние времена, когда в горах не было ни господ, ни лесопилок.

1921

НА ПОСТОЯЛОМ ДВОРЕ АНКУЦЫ

ГОСПОДАРЕВА КОБЫЛА

Однажды золотой осенью довелось наслушаться мне рассказов на постоялом дворе Анкуцы. Было это в стародавние времена, давным-давно, в тот год, когда на Илью-пророка шли проливные дожди и люди говорили, будто в тучах над вздувшейся Молдовой видели черного змия. И какие-то невиданные до той поры птицы, подхваченные вихрем, летели на восток, а дед Леонте, разыскивая в своей звездочетной книге знаки царя Ираклия и толкуя их, говорил, что птицы эти с белыми, как снег, перьями в смятении снялись с островов на краю света и предвещают войну между царями и изобилье винограда.

Потом и вправду Белый царь поднял своих солдат против басурман, а виноградникам в Цара-де-Жос[1], как звезды и предсказывали, даровал бог такой урожай, что виноградарям некуда было девать муст[2]. Потянулись в ту пору из наших краев возчики, отвозя вино в горы, и вот тогда-то и было на постоялом дворе Анкуцы время веселья и рассказов.

Обоз шел за обозом. Музыканты играли без передышки. Когда одни изнемогали от усталости и вина, из каких-то закутков постоялого двора поднимались на их место другие.

А кружек столько проезжие перебили, что целых два года после этого женщины, проходившие мимо на базар в Роман, осеняли себя крестным знамением.

У костров же люди опытные и умелые жарили баранов и телят или пекли пескарей и усачей из Молдовы. А молодая Анкуца, краснощекая, с такими же густыми бровями, такая же лукавая, как и ее мать, бегала, словно бесенок, туда и сюда, подоткнув юбку и засучив рукава, оделяя всех вином и едой, улыбкой и добрым словом.

---

[1] Равнинные, южные районы старой Молдовы.

[2] Молодое, неперебродившее вино.

Нужно вам сказать, что постоялый двор Анкуцы был не просто постоялым двором, а крепостью. Вокруг него стояли вот этакие крепкие стены с железными воротами, каких больше в своей жизни я не видывал. За ними могли укрыться люди, скот и повозки, и дела им не было ни до каких разбойников...

Но в то время, о котором идет речь, в стране были мир и согласие меж людьми. Ворота стояли открытыми, как на господаревом дворе. И сквозь них в тихие осенние дни была видна долина Молдовы насколько глаз хватало и горные туманы над сосновыми лесами до самого Чахлэу и Халэуки[1]. А когда солнце уходило в подземный мир и все вдали тускнело и погружалось в таинственную мглу, костры освещали каменные стены, черные пасти дверей и окна, забранные решетками. Музыканты на время замолкали, и начинались рассказы.

В те дни изобилья и веселья сиднем сидел на постоялом дворе один пришлый рэзеш, который мне очень полюбился. Он поднимал кружку за каждого, задумчиво слушал песни музыкантов и даже с дедом Леонте состязался в толковании всяческих дел земных... Был он высок и сед, с худым лицом, глубоко изборожденным морщинами. Вокруг его подстриженных усов и в уголках маленьких глаз кожа собиралась в бесчисленные складочки и морщинки. Взгляд его был остер и мрачен, а лицо с короткими усами как будто печально улыбалось.

Звали его конюший Ионицэ. У конюшего в поясе, под одеждой серого грубого сукна, был плотно набитый кошель. Приехал же он верхом на такой кляче, что удивления достойно. Это была та лошадь, о которой в сказке рассказывается — только до того, как проглотила она блюдо горящих углей. Кожа да кости! Сама гнедая, три ноги белые, она неподвижно стояла за стеной под высоким седлом, а возле ее морды лежала охапка соломы...

— Я человек проезжий,— говорил с кружкой в руке конюший Ионицэ,— сяду в седло и поеду по своим делам... Моя гнедая всегда наготове, всегда под седлом... А такой лошади, как у меня, ни у кого нет... Сяду в седло, сдвину шапку на ухо, да и ускачу, и все мне нипочем...

Однако он не уезжал, а сидел с нами.

— И правда,— сказал как-то ему дед Леонте,— такой лошади нигде больше не найдешь, хоть девять лет ходи по

---

[1] Горные вершины в Румынии.

всем земным царствам. Одна шкура чего стоит! Как подумаешь, даже страшно делается...

— Э, нет, друг Леонте! — воскликнул рэзеш, теребя подстриженные усы.— Такая жилистая и сильная лошадь не знает ни голода, ни устали. На корм она смотрит вполглаза, а оставишь ее ненапоенной — тоже не обижается. И седло словно к ней приросло. Это лошадь благородных кровей. Она у меня от такой же белоногой кобылы, которой я гордился в дни моей молодости и на которую взирал с большим изумлением даже его высочество господарь Михалаке Стурдза.

— Как так взирал с изумлением, почтенный Ионицэ? Она была такая же тощая?

— Само собой разумеется. Это целая история, которую я могу вам рассказать, если будете слушать...

— Как не слушать, почтенный Ионицэ! А уж особенно историю из времен господаря Михая Стурдзы.

— Особенно из времен моей молодости,— серьезно ответил рэзеш.— В те времена бывал я в этих же местах, сиживал возле костров и возов с мустом, вместе с другими людьми, которые уже давно в прах обратились теперь, так что из них, верно, кружек да кувшинов понаделали. А вокруг нас хлопотала другая Анкуца, мать вот этой,— она тоже теперь отправилась в лучший мир, хоть и не такой веселый, как здешний. И вот однажды стою я словно в воду опущенный в воротах постоялого двора, держу в левой руке кружку, а в правой повод... А та, другая Анкуца, стояла, как и эта, на том же месте, прислонившись к дверному косяку, и слушала, что я говорю... Что я тогда говорил — не знаю, слова те улетели осенними листьями.

Конюший Ионицэ невесело усмехнулся в жесткие подстриженные усы, в то время как мы все, мужики и возчики из Цара-де-Сус[1], расселись вокруг него на чурбаках и на тележных дышлах, подняв головы и вытаращив глаза. Молодая Анкуца стояла у двери, прислонясь к косяку; косые лучи осеннего солнца освещали ее, позолотив половину лица. Неподалеку в долине блестела среди прибрежных рощ Молдова, а вдали виднелись горы — окаменевшие волны, подернутые голубой мглой.

Вдруг тощая лошадь рэзеша, стоявшая у стены постоялого двора, почувствовала вокруг тишину, тонко заржала и оскалилась на нас, словно демон какой. Анкуца, испуганная и удивленная, взглянула на нее из-под густых бровей.

---

[1] Горные, северные районы старой Молдовы.

— Ага! — сказал конюший.— Вот так скалила зубы и смеялась и старая моя кобыла... Теперь сама она, может, обратилась в волчий глаз или зуб — кто знает,— а смех ее все еще жив, и другая Анкуца его пугается.

Как я вам уже сказал, судари мои, стоял я здесь, на этом самом месте, одной ногой в стремени, уже ехать готовый. И вдруг слышу, захлопал бич и загрохотали колеса рессорной повозки, а когда я выпрямился и повернул голову, вижу — мчатся по дороге дрожки, с четверкой добрых коней в упряжке... Подъезжают и останавливаются у постоялого двора, как положено. И вылезает из них боярин, чтобы полюбоваться глазами Анкуцы, таков уж был обычай.

Только подошел он, выпил я в его честь кружку вина и пожелал здоровья. Он остановился и посмотрел, улыбаясь, на меня, и на кобылу, и на людей, что стояли вокруг, и приветствие понравилось ему. Был боярин невелик ростом, с рыжей округлой бородой, а на шее висела у него красивая золотая цепь...

— Добрые люди,— сказал тот боярин,— очень я рад видеть веселье и согласие в стране молдовской.

— И мы рады,— говорю я,— слышать такие речи. Они дороже самого лучшего вина.

Тогда боярин снова улыбнулся и спросил меня, откуда я родом и куда путь держу.

— Высокочтимый боярин,— отвечаю,— я по рожденью своему рэзеш из Дрэгэнешть, из края Сучавы. Но нет у меня пристанища, а у врагов моих длинные и острые клыки. Тяжба у меня, высокочтимый боярин, которой все конца нет. Унаследовал я ее от отца своего, псаломщика Ионы, и очень боюсь, что перейдет она от меня в наследство и к детям моим, если сподобит меня бог иметь их.

— Это как же так? — спросил с удивлением боярин.

— Да вот так, как говорю. Ведь наша судебная тяжба началась, высокочтимый боярин, еще до господаря Калимаха. Уж сколько мы дивану[1] челом били, сколько ходоков посылали, сколько ждали, пока все расследуют и измерят и свидетелей под присягой допросят, и уже многие из нашего рода умерли, судясь, и народились другие, чтобы тоже судиться, а вот даже в мои дни никак правды не добьешься... А недруг мой, с которым я тягаюсь, запахал плугом от моей родительской земли еще две сажени да пять пядей возле

[1] Высший государственный совет в Молдове при господарях.

пчельника Велий. Тогда-то предъявили мы новую жалобу властям и снова не нашли правды, потому что противник мой, да не прогневается твоя честь, большой боярский ворон... Увидел я такие-то дела, разобрал я снова сумки со старыми бумагами за древними печатями, перебрал их, еще раз перечитал по складам и положил те, что, по моему разумению, подтверждают права мои, сюда, за пояс, сел на свою гнедую и теперь не успокоюсь, пока до самого господаря не доеду. Пусть он за мою правду заступится.

— Как же это возможно? — снова удивился боярин, поглаживая бороду и пропуская между пальцами золотую цепь.— Так ты к господарю едешь?

— Еду! А если и господарь не заступится за правду...

Боярин рассмеялся:

— Ну, а если и господарь не заступится?..

Тут конюший Ионицэ понизил голос, но молодая Анкуца, как некогда та, другая, отвернувшись, навострила уши и услышала, что должно было произойти, если даже господарь не заступится за правду рэзеша.

— Если и господарь не заступится за мою правду, тогда пусть его высочество пожалует и поцелует кобылу под хвост!..

Когда конюший, без всяких обиняков, так, как говорят люди у нас в Цара-де-Сус, сказал эти крепкие слова, Анкуца поджала губы и притворилась, что внимательно смотрит вдоль дороги.

— Как сказал я это,— продолжал рэзэш,— та, другая Анкуца, быстро прикрыла рот ладонью и притворилась, что глядит в сторону вдоль дороги. А боярин как захохочет. Потом успокоился, поглаживая бороду и поигрывая золотой цепочкой.

— И когда ты думаешь предстать перед господарем? — спросил он.

— Вот только, высокочтимый боярин, осушу в вашу честь эту кружку вина, а потом сяду в седло, как Александр Македонский, и остановлюсь только в Яссах. А если ваша милость хочет отведать молодого вина из Одобешть, тогда Анкуца принесет красного муста в новой кружке, и мы будем весьма рады той чести, которую вы нам окажете.

Боярин обернулся, улыбаясь той, прежней Анкуце, которая, как и эта, была густоброва и лукава, и потребовал новую глиняную кружку с красным мустом из Цара-де-Жос. Я гордо попросил разрешения заплатить за эту кружку и бросил четыре монетки в подол Анкуцы.

После этого боярин сел в свою коляску на рессорах и укатил.

А я, усевшись в седло, не слезал, как и обещался, до самого города Яссы, где остановился на постоялом дворе возле церкви Лозонски, через дорогу от господарева двора.

На другой день около полудня, умывшись и причесавшись, предстал я с бьющимся сердцем перед дворцовыми воротами.

Часовой направил прямо на меня свой штык, а как сказал я, какие у меня горести, крикнул он в караулку, выскочил оттуда старый солдат и сразу же повел меня в какую-то каморку внутри двора, где навстречу мне вышел молоденький тоненький офицерик, весь в позументах и в золоте...

— Что тебе нужно, человече?

— Вот так и так, я конюший Ионицэ, рэзеш из Дрэгэнешть, и приехал к господарю, истомившись по правде, словно олень по ключевой воде.

— Очень хорошо,— ответил молоденький офицерик.— Господарь может сейчас же выслушать твою жалобу. Оставь здесь шляпу и входи в эту дверцу. Там в большом зале увидишь господаря и расскажешь ему про свое горе.

Кровь бросилась тогда мне в голову, и в глазах затуманилось. Но я стиснул зубы и овладел собою. Офицер открыл маленькую дверцу, и я, наклонив голову, вышел на свет и сразу же увидел господаревы сафьяновые сапоги и пал на колени. Надеялся я, что у нового молодого господаря найду утешение в моих бедах.

— Ваше высочество,— закричал я отважно,— я пришел искать у вас правду!

Господарь ответил мне:

— Встань!

Услышав этот голос, я сразу поднял взор и узнал боярина с постоялого двора.

Тут я понял, что нужно мне закрыть глаза и притвориться испуганным. Я еще больше склонил голову, протянул руку, взял полу его одежды и поднес к губам.

— Встань!— повторил господарь.— И предъяви свои бумаги.

Когда я поднялся на ноги, то заметил, что глаза боярина сощурились от смеха, как и на постоялом дворе, когда он брал кружку с мустом из обнаженных рук Анкуцы. Смело вытащил я бумаги из кожаной сумки, протянул ему и начал

говорить; и рассказал я ему обо всех напастях, что разорили меня, и обо всей горечи, что и сам скопил я в своем сердце и от предков унаследовал. А господарь прочитал бумаги, поднес к своим глазам восковые печати, просветлел и сказал немножко в нос:

— Хорошо, рэзеш, я заступлюсь за твою правду. Поедет с тобой мой человек со строгим наказом навести порядок в Дрэгэнешть.

Услышал я это и опять бросился на колени, а господарь снова приказал мне встать. Потом он хлопнул меня по плечу, а глаза его сощурились от смеха:

— Ну, а если бы я не заступился, тогда что?

— Что ж, ваше высочество,— ответил я, смеясь,— я своих слов обратно не беру. Кобыла вон там, через дорогу стоит!

И уж так рассмеялся господарь на мой ответ, что снова ударил меня по плечу и вспомнил про кружку с красным вином, за которую заплатил я четыре монетки, и, смеясь, послал за приказным, который должен был поехать со мной, и велел ему тут же на месте, у него на глазах, написать строгий приказ; а когда я вскочил в седло у постоялого двора возле церкви Лозонски и пустился в обратный путь, он глядел, улыбаясь, в открытое окно и поглаживал бороду...

Вот почему вы должны смотреть как на редкость на мою гнедую и белоногую лошадь: ведь это потомок господаревой кобылы. И когда моя лошадь скалит зубы и смеется, то словно бы вспоминает о других временах и о днях моей молодости. Из всего этого вы можете увидеть, что я за человек! А теперь возьмем еще по кружке вина и я начну другую историю, которую давно хочу вам рассказать....

ХАРАЛАМБИЕ

Держа кружку в левой руке, конюший Ионицэ двумя пальцами правой поглаживал подстриженные усы. Он откашлялся и приготовился начать еще более увлекательную, еще более удивительную историю, чем про господареву кобылу. Тут-то, радушно улыбаясь, поднялся со своего места монах, тот, что с гор пришел, и заговорил, размахивая кружкой перед своей бородой. До этого времени он все молчал — занят был кружкой, а нам была видна только его борода. Теперь мы с удивлением обернулись к нему.

— Достойные христиане и хозяева,— начал его преподобие,— и ты, честный конюший Ионицэ из Дрэгэнешть! Простите меня, что я до сих пор молчал. Я следовал философскому учению и пытался в молчании оценить доброе вино. Там, наверху, под скалами Чахлэу, мы только вздыхаем о сладостной жизни долин. От черники и молока не развеселишься, а медведи не зовут на крестины, потому, что сами они еще не приняли святого крещения. Так вот, я, направляясь по велению нашего игумена в святую митрополию и по своему рвению желая помолиться в церкви великомученика Хараламбие, остановился отдохнуть среди вас. А после того как поставил я лошадь на привязь, честная хозяйка выбрала для меня новую кружку, побольше и покрасивее, и очень возрадовалась моя душа среди братского содружества и веселия. Слушал я музыкантов и не затыкал ушей моих. Ибо и мои прегрешения простит тот, кто всемилостив. Поэтому я подумал, что надлежит мне подняться и узнать вас всех по поступкам вашим и речам. И слушал я с великим удивлением, что говорили вы, о чем рассказывали. А сначала хочу я выпить за почтенного конюшего Ионицэ и за его кобылу...

Проговорив это, монах поднял кружку, отхлебнул из нее, закрыв глаза, а когда опустил кружку, конюший чокнулся с ним.

— Спасибо, отец, целую руку,— сказал рэзеш.— По словам видно, что ты наш брат. Как зовут твое преподобие?

— Имя мое во Христе — Герман, почтенный конюший,— ответил монах. С гор я спускаюсь первый раз в моей жизни и путь держу в город Яссы. А когда я буду возвращаться назад в наш скит, то помолюсь и за твою душу. Только прежде чем начнешь ты свою историю сказывать, дозволь выпить каплю и за деда Леонте, премудрого старца, который сидит по правую руку от меня. Вижу я, что знает он приметы времени, круговорот луны и звезд и может читать по небесным знакам. Он человек ученый и хранит память о стародавних временах. Хотя и я немолод, но далеко мне до его знаний, и потому пью за его здоровье.

Встав, дед Леонте чокнулся кружкой, поблагодарил и поцеловал руку отца Германа.

— Осталось еще и для других,— проговорил снова монах.— Надлежит отведать плодов земли и солнца и за деда Захарию, колодезника. Вода, которую с большим мастерством извлекает он на свет, не так вкусна, как вино, но в ней больше святости, и она приятна богу. А мы, люди грешные, потребля-

ем и то и другое... Еще я пью за брата Георгицэ, старшего над возчиками князя Кантакузина: я уразумел, что он веселый человек и играет на дудке. И за мастера Енаке, коробейника, который носит в коробах вещи легкие, но весьма ценные — девушкам на радость. И после того как всем я поклонился и всех благословил, вижу я, что на дне осталась самая сладость — как же тут хозяйку не вспомнить! От этой Анкуцы и исходит к нам всякое благо. Когда же она нам улыбается, как сейчас, то словно ландыш расцветает, и я вспоминаю о весне. Пью в ее честь! И всем остальным кланяюсь, как зеленому бору,— закончил отец Герман, выпил последнюю каплю из кружки и уселся на свое место.

Все пожелания эти порадовали нас, но больше всех доволен был, казалось, конюший.

— Преподобный отец Герман,— заговорил он,— очень мне желательно знать, откуда же идет твое преподобие и за каким делом направляешься ты в город Яссы.

Монах ответил:

— Как я говорил, высокочтимый конюший, местопребывание мое, в ожидании кончины, находится высоко, в Дурэу. Там влачу я дни свои с братьями по пустынному житию; есть у нас маленькое хозяйство, и держим мы несколько овец и коров. И иногда страдаем из-за медведей: рушат они наше добро и идем мы на них войной; с божьей помощью побеждаем их топором и ножом, ибо огнестрельного оружия и сабли не надлежит нам носить: мы слуги господни. А вот как только со дня великомученика Дмитрия замуровывает нас зима словно в берлоге, то не видим мы лика человеческого до самой весны. Тогда спускаемся мы к водам Бистрицы, к друзьям нашим и знакомцам. Тяжкую жизнь ведем мы там, в пу́стыни...

При этих словах остановилась возле него Анкуца с ковшом.

— Благодарю, сестра, за вино и приветливый взгляд. Можешь наполнить кружку, чтобы не трудиться подходить второй раз. А родился я, почтенный конюший, тоже в горах, в селе Бозиень. Не могу сказать, что я знал своего отца. Знали его мать моя да господь бог. А я рос сиротой, и много раз матушка омывала лицо мое слезами. Обещала она меня монастырю Дурэу в час, когда покидала этот мир, дабы искупить прошлые грехи. И тоже по обету иду я поклониться святому Харалабмие в Яссы. Давно уже должен я был исполнить обет. Но только теперь скрылся из глаз моих Чахлэу, и чувствую я, как изменился вкус воды, так что и в

рот ее взять не могу. И, придя от Бистрицы к водам Молдовы, дивлюсь, сколь обширна эта страна. Останавливался я в селах, и крестьяне принимали меня к себе как братья. И как шел я обочиной дороги под черешнями, вдруг открылся глазам моим постоялый двор, подобный крепости, и улышал я музыку и голоса. Решил я остановиться отдохнуть и внес переметные сумы в каморку; коль скажу, что мне здесь плохо, то совершу великий грех; только вот совесть меня мучит за то, что не доберусь быстрее туда, куда приказала мне материнская клятва. Вот уже тридцать четыре года прошло с тех пор, как ушла матушка на вечный покой...

— Весьма удивляюсь, отец, тому, что ты говоришь,— перебил его рэзеш.— И я ведь не видел церкви святого Хараламбие, и не будь у меня столько запутанных дел, сел бы я в седло и отправился бы с твоим преподобием. Видно, у матери твоей была тайна, которую ты не знаешь.

— Может, и не знаю,— ответил монах,— но когда я был мальчонкой, от земли чуть видать, довелось мне вместе с матерью узреть страшное и пережить смертный ужас. Тогда-то и увидел я того Хараламбие, за которого должен помолиться.

Глаза конюшего обратились к нам в великом недоумении.

— Какого Хараламбие?— спросил он отца Германа.

— Был в стародавние времена такой Хараламбие, весьма известный даже при дворе,— ответил монах вдруг изменившимся голосом и осторожно поставил кружку на землю рядом с собой.

— Кто он такой, каков был с виду, что он делал?— спросил с жаром конюший Ионицэ.— Я никогда о нем не слыхал.

— Может быть,— продолжал монах,— ибо после того случая много времени прошло. Хараламбие этот был господаревым арнаутом[1]. И вот, почтенный конюший, в одно светлое утро по воле божией опостылела ему служба у ворот господаревых, и ушел он в лес с товарищами, как тогда случалось... И как был, опоясанный широким ремнем в знак власти, в расшитом платье, стал он нападать на боярские дворы и села и брать великую добычу. И были у него свои леса и дороги, заветные колодцы и тропы, которые держал он под своею властью. А того, кто сопротивлялся, он либо кинжалом приканчивал, либо убивал выстрелом из пистолета. После стольких ужасов и человекоубийств пали в слезах к ногам

[1] Особый род наемной стражи.

господаря многие бояре, и купцы, и простолюдины, плачась на злодейства и бесчинства Хараламбие. Господарь приказал исправникам нарядить отряды и поймать злодеев. Отправились отряды, и бились они с разбойниками, да Хараламбие всех побеждал. А когда не мог победить, уходил он тропами тайными в горы, к звериным логовам... И продолжал он свои злодейские дела, покуда крепко не осерчал и не разгневался господарь. На святую Марию, в пятнадцатый день месяца августа, созвал он диван, и вышел господарь Ипсиланти чернее тучи к боярам. Даже на поклоны не ответствовал, а только расчесывал бороду пальцами и пыхтел.

— Стало нам известно о новых злодеяниях разбойников!— закричал он.— Напал Хараламбие на Дубрэвень, на имение наше, ограбил корчму и мельницу! Стольких беззаконий терпеть мы больше не можем! Повсюду стонет и плачет народ! А ты, честной ворник[1], что сделал, что предпринял?

— Ваше высочество,— заговорил великий ворник из Цара-де-Сус,— уж я всех исправников подгоняю, словно плетьми, и отряды они выставили, но толку от этого мало.

— Никакого толку, почтенный ворник, никакого толку!

— И вправду, никакого толку, ваше высочество, но все же теперь известны нам многие убежища и тропинки злодеев, да и люди, что их укрывают. Волк возвращается туда, где сожрал овцу, так что теперь нам нужен только искусный охотник.

— Где же взять искусного охотника, коли до сих пор, ворник, все оказались трусами!

— Ваше высочество, этот Хараламбие, пока не восстал, был самым сильным из ваших телохранителей. И такая рука и такой глаз, как у него, только у брата его, Георгие Леондари, туфекчи-баши[2], человека честного и храброго, который высказывает большое отвращение к злодействам брата. Ваше высочество, я думаю, что надо позвать туфекчи-башу и приказать ему изловить своего брата.

Господарь задумался и, теребя бороду, стал прохаживаться взад и вперед.

— Так-то оно так, ворник,— промолвил он,— знал я, что они братья, и радовала меня верность туфекчи-баши Георгие, но не думал я, что он наилучший охотник из всех. Пусть придет теперь за моим приказом!

---

[1] Придворный чин в Дунайских княжествах.
[2] Начальник дворцовой стражи.

Тут же слуги бросились наперегонки в комнату телохранителей, и туфекчи-баша предстал перед господарем. А господарь опустил бороду на грудь и уставился на него сурово.

— Послушай, капитан Георгие, мне по нраву твоя служба, которую несешь ты верой и правдой. Поэтому жаловал я тебя, и с той поры как я на престоле, добыл ты себе и дом и именье под Яссами. Но знаешь сам, брат твой Харалამбие залил страну слезами. И вот настало время ответить тебе за него. Дается тебе, капитан Георгие, две недели сроку. Выбирай себе подручных сколько хочешь. И по истечении этого срока доставь мне твоего брата, живого или мертвого. А иначе не видать тебе ни лица моего, ни света божьего!

Не сразу ответил туфекчи-баша Георгие. Когда бояре подняли на него глаза, то увидели, что кровь отхлынула от лица его и хоть был он высок и широкоплеч, а как бы зашатался. И проговорил он потом:

— Понял я, ваше высочество.

Поклонился он, поцеловал господарю руку и вышел. А вернувшись к себе, кликнул солдат и выбрал из них полсотни. Тут же распорядился он об оружии, лошадях и часе отправления. И уже ночью были они в дороге, в пустынных местах. На другой день Георгие Леондари, узнав об одном грабеже, напал на след разбойников. И с этого часа шел он по следам Харалამбие, словно собака, почуявшая запах зверя. И гнал он его от логова до логова, днем и ночью без отдыха. А на восьмой день, в дождь, на рассвете, постучался кто-то в окно нашей хаты в селе Бозиень.

Мать моя вскочила и быстро отодвинула засов у двери. И вошел наш знакомец, весь промокший. Лицо его осунулось, и в глазах — испуг. Знал я его красивым и гордым. Иногда заходил он к нам вечером, садился на лавку и клал мне руку на голову, лаская меня.

Быстро и хрипло проговорил он:

— Дай мне поесть!

Мать моя испугалась и, дрожа, бросилась за холодной мамалыгой.

Из всего, что я услышал тогда, только вот эти слова не забуду до самой смерти: «Охотится на меня брат мой Георгие, как на волка!»

Даже и перекусить ему не удалось,— послышались снаружи шаги и голоса:

— Выходи, Харалამбие, сад окружен, пропали мы все.

Слышал я, как зарычал он от гнева, выхватил из-за пояса пистолеты и бросился в дверь. Мать схватила меня за руку, и



мы тоже выбежали из дому. А в саду увидел я удальцов с оружием наготове. Их было человек восемь или десять. Тут-то я понял, кто такой Хараламбие. Мать моя тихо заплакала, прижимая меня к себе, и я почувствовал, что настал страшный час.

Собаки в селе лаяли не переставая. Вдруг вдали замелькало множество всадников, я услышал голоса и в проулке и за домом. А товарищи Хараламбие разом отступили и оставили его одного, побросав оружие. Тогда появился огромный человек с черными усами. Мать моя вздохнула:

— Это брат его, на него похож!

А тот закричал, угрожая кинжалом:

— Сдавайся!

Хараламбие вскинул пистолет и выстрелил. Когда он бросил пистолет и выхватил с левой стороны другой, чтобы снова выстрелить, туфекчи-баша ударил его кинжалом и свалил с ног. Мать в ужасе закричала. Разбойники бросились на землю и сдались. Солдаты навалились со всех сторон. После схватки и стрельбы один из господаревых слуг поднял вверх голову убитого. Как раз в это время взошло солнце и засверкал в саду иней. А голова смотрела на меня неподвижными глазами и печально улыбалась.

Туфекчи-баша Георгие вернулся к господарю с головой моего отца. Предстал он перед диваном и положил ее в красном платке на ковер к ногам господаря. Преклонил он колена и воскликнул со слезами в голосе:

— Ваше высочество, выполнил я приказ! Но прошу я отпустить меня в мое поместье на покой, ибо пролил я родительскую кровь — ту, что течет и в моих жилах...

Горестная это была картина, и прослезились в диване и господарь и бояре. А туфекчи-баша Георгие, получив соизволение господаря, уединился в свое поместье, и в тоске, для искупления греха своего и прощения заблудшей души усопшего, построил он в Яссах церковь, куда я направляюсь на поклонение...

Вот по какой причине, уважаемый конюший Ионицэ, был я обещан скиту Дурэу. Но сердце мое рвалось к людям. Потому-то и сетую я иногда на столь ничтожные и печальные дни мои...

Рассказ монаха изумил рэзеша, и некоторое время он удивленно молчал. Но, опомнившись, стал уверять нас, что история, которую он хотел рассказать нам, еще более необыкновенна и страшна.

— Друзья мои! — громко провозгласил конюший Ионицэ́ и поднялся во весь свой высокий рост.— Перед господом богом сознаюсь, что от истории благочестивого отца Германа у меня под шапкой волосы дыбом встали, но я хочу вам рассказать историю, еще более поразительную и страшную.

— Послушаем рассказ конюшего,— проговорил торопливо, как всегда, дед Леонте, звездочет.— Послушаем рассказ почтенного конюшего! Посмотрим, наготове ли у нас все нам потребное, и станем слушать. Мне как раз очень хотелось попросить тебя, конюший Ионицэ, сдержать свое обещание. С той поры как я себя помню, еще со времен прежней Анкуцы, у нас так повелось — собираться здесь на беседу и проводить время за вином из Цара-де-Жос. Потягивая доброе винцо, слушаем мы о делах давно минувших. Думается мне, почтенный конюший Ионицэ, не найдется другого постоялого двора, подобного этому, сколько ни ходи по земным дорогам. Таких стен, похожих на крепостные, таких решеток, такого погреба и вина такого в других местах и быть не может. Не встретить нигде ни такого радушия, ни такого веселья, ни подобных черных глаз: так бы и остался я под их взглядом, пока не придет мой черед отправиться в тихую пристань, откуда нет возврата... А ты не хмурь брови, хозяюшка, потому что я был другом твоей матери. И ей я тоже читал будущее в книге Зодиака, как и тебе читал. Очень хорошо и очень правильно я ей все поведал и думаю, что и ты осталась довольна.

— Да, и я была довольна,— смеясь, ответила Анкуца.

— Оно и понятно, по-иному и быть не может, хозяюшка; ведь в этой вот сумке, у меня на боку, лежит древняя книга, в которой только правда написана. Когда ты меня спрашивала, я тебе рассказал все как положено — тем более потому, что исходит от тебя запах чабреца и ты заставляешь стариков желать сызнова юности.

— Весьма справедливо это,— подтвердил рэзеш из Дрэгэнешть,— да я мог бы это сказать и без книги Зодиака.

— Возможно, конюший Ионицэ, но прошу тебя не забывать своего обещания. Как я говорил, подобные истории только на таком постоялом дворе и можно услышать. Выслушали мы отца Германа, который опять замкнулся в свою печаль и умолк. Не знаю я, конюший Ионицэ, сможешь ли ты рассказать нам что-нибудь более страшное. По правде говоря, только еще один раз в жизни колотилось так мое сердце,— словно куропатка в когтях сокола.

Хозяйка взглянула на старика своими блестящими глазами и торопливо сказала:

— Это когда ты в первый раз увидел змия, дед Леонте?

— Вот-вот,— подтвердил старик,— когда в первый раз увидел змия.

Мы все разом повернулись к звездочету, и даже отец Герман взглянул на него из зарослей своей бороды.

— Что это ты, братец, о змие болтаешь? — взволнованно спросил конюший Ионицэ и уселся на свое место.— Какой змий? — И он искоса с недоумением посмотрел на всех, словно только теперь нас заметил.

— Когда увидал я в первый раз змия...— заговорил спокойно дед Леонте,— был я парнишкой, годов этак за двадцать, и отец мой учил меня своему ремеслу: ведь он тоже был звездочетом и лекарем, какого на всем свете не сыщешь. И после Ильи-пророка обретались мы с ним при овцах на холме Больцндарь, и он мне показывал днем травы и коренья земные, а ночью звезды небесные. Тогда-то и увидел я в первый раз змия.

Рэзеш из Дрэгэнешть глубоко вздохнул и посмотрел на деда Леонте, как на врага.

— Подобного чудовища я еще не видывал,— признался он, и голос его прозвучал слабо и неуверенно.— Рассказывай скорее, дед Леонте, времени у нас хватит.

— Долго мне говорить нечего,— отвечал звездочет,— поведаю только, что́ сам я видел. С позволения конюшего Ионицэ, я все вам расскажу, а потом мне хочется послушать его историю...

Дед Леонте поправил пояс, ощупал сумку и посмотрел вокруг, чтобы удостовериться, что кружка с вином под рукой. Дед был наш земляк, крестьянин с Молдовы, чисто выбритый, с седыми усами, полный лицом, статный собой и с брюшком. А когда говорил и смеялся — виднелись крепкие, словно стальные зубы.

— Пока есть у меня такая мельница,— кричал он, бывало, подвыпивши,— не боюсь я и самой смерти длиннозубой!

Дед Леонте начал, по своей привычке, скороговоркой.

— Ну, как это рассказать тебе побыстрее про этот случай, почтенный конюший? — проговорил он.— В те времена жил у нас в Тупилаць знатный и гордый боярин, и звали его Настасэ Боломир. Был он высокий, угрюмый, а борода большая, словно павлиний хвост, всю грудь ему закрывала. К тому времени он уже двух жен погубил. Первый раз он взял

боярскую дочку их Бырлада, но она недолго могла выдержать его лютый и жестокий нрав и вернулась больная и вся в слезах к своим родителям. А второй раз женился он на вдове одного грека Негрупунте — красивая была это женщина и богатая. Возложил поп венцы на их головы, да не прошло и двух лет, как однажды осенью увидел я ее желтой и увядшей, словно морозом побитой. Поехала она по докторам заграничным, да там и умерла. Остался наш боярин на время одиноким, и прошел про него слух, что жены у него мрут. Были в селе женщины красивые, да глупые, которые, как его увидят, так и начинают плеваться, словно он нечистый. Отец даже говорил в шутку, что теперь уж боярин Настасэ Боломир умрет вдовцом, а тому что за горе, когда двор у него полон молодых цыганок!.. Так время и шло, только вдруг слышим — женится боярин снова. Как так? Не то на какой-то вдове из жарких стран, не то на московитской княгине, что ходит в юфтевых сапогах и с нагайкой: только такая женщина ему и под пару... А вышло-то совсем не то. Отправился он в Яссы, обвенчался в самом главном соборе и привез в Тупилаць в коляске, запряженной четверней, девчушку годков этак семнадцати. Как стали они подыматься на крыльцо, головка ее чуть до бороды ему достает. Была она вся беленькая, а смеялась — словно солнышко сияло. А бабы у ворот и у людской плакали по ней и причитали — уж какая, мол, она махонькая, какая красивая, а бородач ее также погубит. Боломир взял ее осторожно, словно бесценное сокровище, за два пальчика левой руки и повел по каменным ступеням, застланным ковром. Только не довел он ее доверху; повернулась она к нему, засмеялась, мотнула головкой, будто рожками боднуть хотела, вырвалась от него и одна побежала вперед.

Батюшка мой тут же находился. Тряхнул он волосами — не понравилось ему этакое дело.

Ну, теперь стали мы ждать, оправдаются ли бабьи пересуды, только видим, что боярыня Иринуца и не думает сдаваться. А на щеках даже розы расцвели, и смеется она все время, показывая зубки, мелкие, как у мышонка.

Но, видно, остренькие были те зубки,— глядим, стал большой наш боярин как бы меньше и молчаливее.

Захочется, бывало, боярыне Иринуце съездить прогуляться до Романа, а то и до Ясс,— достаточно было ей пальчиком шевельнуть или словечко молвить, как боярин Настасэ склонит голову и все делает по ее воле.

Тут жена писаря с ключницей разузнали, кто их знает откуда, что эта боярская бесовочка небогата, да и роду какого неизвестно. Будто бы дочка одной из племянниц отца митрополита... И, говоря об этом, они посмеивались и подмигивали, как и положено бабам, а мне, глупому пареньку, невдомек все было.

Однажды летом, как я вам говорил, был я в овечьем загоне, а на святого Илью-пророка пришел к овцам и отец, и жили мы в шалаше из веток неподалеку от берега Молдовы, поодаль от других чабанов. Оттуда видны были и речки, и отмели, и этот постоялый двор, а позади шли все леса да горы, пока не сливались вдали, словно туман. Что делалось в селе и на боярском дворе, я знать не знал, да и дела мне не было до этого. Вот как-то в полдень сидел я один и приглядывал за котелком, что висел над костром. Вдруг слышу конский топот и, обомлев от страха, вижу, что боярин Настасэ Боломир останавливается и спешивается возле нашего одинокого шалаша.

— Здравствуй, парень,— говорит.— Ты будешь сын Ифрима-звездочета?

— Целую руку, барин, я буду.

— А где отец твой?

— Отец,— говорю,— недалеко, на косогоре сено косит. К обеду должен прийти.

— Сбегай-ка позови его. Чтобы сейчас же был здесь, одним духом!

Я было замялся, да боярин так грозно взглянул на меня, протянув руку к арапнику на луке седла, что я как был, без шапки, бросился к косогору. По дороге встретился мне отец: обедать шел. Когда услышал, что требует его боярин так строго, буркнул он «гм» и покачал головой, но мне не сказал ни слова. Пришли мы к шалашу, а боярин все стоит возле лошади, опершись локтем о седло и опустив бороду на грудь. Я за шалаш спрятался, а отец смело выступил вперед.

— Ты что здесь, Ифрим, прохлаждаешься? — спросил боярин недовольно.— Я тебя в селе ищу, а ты в пу́стыне поселился?

— Целую руку, пресветлый боярин,— отвечал отец,— дело у меня здесь было. Но по первому слову вашей светлости я бы все бросил и явился ко двору.

— Знаю,— проговорил боярин все так же сердито,— да некогда мне ожидать! Послушай, Ифрим, никто не ведает, может, и ты не ведаешь, какая горечь одолела мою душу.

— Страданье от бога, хозяин, пройдет и оно.

— Не проходит. Говоришь как дурак, потому что не знаешь.

— Как же, ваша светлость, знаю, что страданья от любви всего злее, но и они проходят.

Поглядел на него боярин нахмурившись:

— А что ты знаешь, Ифрим?

— Ваша светлость,— говорит отец мой,— знаю я много, таков уж мой дар, не только по звездам читаю, но и по лицу человеческому.

— Тогда ты, Ифрим, знаешь, что в мой дом вошел дьявол и нет мне больше покоя?

— Знаю, пресветлый боярин.

— Знаешь ли ты, что мучает он меня, словно господа нашего Иисуса? И что подобен я жаждущему, привязанному в наказание к колодезному срубу?

— Так это и есть, хозяин, как вы говорите.

— Послушай, человече, ничего не мог я сделать ни угрозами, ни мольбами, и ради какой-то малости закабалился я бесу душой и телом, словно раб. Но теперь, как раз сегодня утром, принесла мне ключница постыдную весть: отлучки моей жены бесчестье для меня, а утеха они для старшего сына ворника Вузы. Есть такой Аликсэндрел Вуза, может, ты и видел его: этим летом он дважды переступал порог моего дома, будто бы затем, что есть у него для продажи белые лошади из страны московской. Да он за другим приезжал, только я-то не понял. Теперь я решил в сердце моем, что́ делать, но заехал и к тебе, чтоб уж не ошибиться. Ты человек, который можешь узнать истину, и я хочу, чтобы прочитал ты мне ее...

Редко в своей жизни видел я кого-либо в таком расстройстве и смятении, как наш боярин. Он все теребил бороду и никак места не мог себе найти. Отец же, не мешкая, пошел в шалаш и тотчас вышел с этой вот сумкой, которую видите у меня на боку. Вынул книгу, уселся у костра на скамеечку, помусолил палец и стал листать страницы. Боярин остался на ногах, возле коня.

— Ваша светлость, в какой месяц и в какой день явились вы на свет божий?

— Родила меня матушка, Ифриме, во вторник, в восемнадцатый день октября месяца.

— Тогда,— произнес отец задумчиво,— надлежит раскрыть на знаке Скорпиона, посмотреть и в других местах, как положено. Пресветлый боярин, здесь говорится, правда, что вы человек гневливый, и потому, зная за собой эту слабость, вы не должны ей поддаваться.

И начал читать отец по знакам Зодиака, что подходило такому лютому человеку, каким был наш боярин. Был он в надежде, что удастся умиротворить его.

Но Боломир в великом нетерпении только бородой тряс.

— Скажи мне, Ифриме, что написано про мою семейную жизнь?

Отец долго в книгу смотрел и ответил ему так:

— Ваша светлость, супружество ваше находится под знаком Тельца. Свадьбу с госпожой Иринуцей сыграли в апреле месяце, в светлую неделю после святой пасхи. Значит, по книге Зодиака, женитьба эта самая лучшая и истинная. А здесь, хозяин, пишется так: дом его брачного союза находится под знаком Тельца; значит, он будет счастлив со своей женой... И еще здесь, ваша светлость, говорится: дом счастья его находится под созвездием Весов: в тот час будет ему великое потрясение от лживых свидетельств... Значит, преславный боярин, если здесь написаны такие слова, то и я мыслю, что речи, услышанные вами, лживы и надо вам, ваша светлость, изгнать из сердца злые мысли.

Боярин немного призадумался.

— Так ли это, Ифриме, как ты говоришь?

— Так оно и есть, преславный боярин, как я говорю.

— Тогда зачем же уехала в Роман госпожа Иринуца? Уехала вчера и сказала, что приедет сегодня.

— Уехала, ваша светлость, потому что такова воля божья — не допустить беды от лживых слов и гнева...

— Может быть...— пробормотал боярин, немного успокоившись.— И вправду, иначе случилась бы большая беда... Хорошо, человече! И прежде истинные слова сказывала мне твоя книга. Так как же ты думаешь, что мне нужно делать?

— Ждать, ваша светлость, и все будет хорошо.

После этих слов ускакал боярин от нашей хижины. А отец, улыбаясь, долго смотрел ему вслед, покуда он не исчез из виду. Потом оставил висеть на крюке котелок над потухшим костром и приказал мне заложить лошадь. Усевшись в телеге на сено, спустились мы в долину, переехали брод и во весь опор погнали прямо сюда, на постоялый двор. А здесь стояла, поджидая на пороге, та, прежняя Анкуца.

Отец спросил ее торопливо, останавливая телегу у крыльца:

— Анкуца, скажи-ка мне, крестница, верное слово. Вчера вечером госпожа Иринуца из Тупилаць проезжала в Роман?

— А как же, крестный, проезжала...

— И обратно, значит, еще не возвращалась?

— Нет. Может, проедет к вечеру...

— Вот это ты, крестница, сказала слово, угодное богу.

— А что случилось?

— Да чему случиться? Сподобилась одна добрая душа открыть глаза Боломиру, и теперь он трясет бородой, скрежещет зубами и жаждет крови.

— Как это так? И кто же это сделал? — воскликнула Анкуца, всплескивая руками.— Чтобы и эту он убил, после того как замучил и свел в могилу двух жен? На том-то свете его черти ждут не дождутся, да пусть и на этом хоть одна из нас отплатит ему.

Так говорили Анкуца и мой отец, и порешили они перехватить госпожу по дороге и предупредить ее, чтоб остерегалась.

И впрямь, почтенный конюший и добрые люди, так оно и случилось в тот же день, под вечер. Солнце после полудня окуталось знойной мглой, а под горами против него поднимались белые облака. Когда тени легли на дорогу, вдруг видим, катит из Романа в клубах пыли коляска госпожи, запряженная четверней; едет вдоль кукурузного поля, по опушке рощи. И тут вышел мой отец на дорогу, начал размахивать руками, подавая знак об опасности.

Цыган на облучке остановил лошадей, а из клубов пыли появился перед отцом молодой всадник на черном жеребце. Отец сразу его признал по красоте и по смелым глазам.

— Господин Аликсэндрел,— промолвил отец,— возвращайся, а то беда. И не думай ехать дальше.

— Что такое, человече? — послышался голосок боярыни, и я увидел, как она в белом наряде, под маленьким розовым зонтиком нагнулась к подножке коляски.

И тогда-то все началось. С Молдовы поднялся вдруг сильный ветер и понес над полями пыль, словно завесу. И в это же время увидели мы, как из-за выступа рощи мчится боярин, бороду у него на две стороны развеяло, за ним слуги, и все они вопят во все горло.

Мы так и окаменели, а я почувствовал, что пришел мой смертный час. Аликсэндрел поднял жеребца на дыбы и попытался выхватить из кобуры пистолет. Боярыня Иринуца взвизгнула и спряталась под зонтик. А боярин со слугами как бросились, окружили коляску, схватили отца и вышибли из седла сына ворника Вузы.

— Негодяй! — страшно зарычал Боломир на отца.— Такова твоя верность, такова твоя наука? Хватайте его, свяжите и выкройте мне из его спины кожу на пару туфель, но только чтоб была без царапинки, без дырочки, а то всех повешу! А ты, разбойник? Ты сын ворника Вузы? Боярского рода? Вот я покажу вам обоим, и тебе, и боярыне, как я умею расплачиваться... Эй,— повернулся он к слугам своим,— берите телегу колдуна, вышибите у нее дно, сбейте с колес ободья, а как останется она на одних ступицах, привяжите к ней обоих, прогоню я их галопом в Яссы, до ограды святой митрополии.

Цыгане вцепились в телегу, начали ее ломать, сбивать ободья. Одни слуги с арапниками навалились на отца, другие стали срывать платье с Аликсэндрела Вузы. А к боярыне Иринуце, хрипя и задыхаясь от гнева, двинулся сам боярин, в левой руке сжимает бич со свинцовою пулькой на конце. Шапка его свалилась, и ветер разметал на его голове волосы и спутал их с бородой.

Вдруг из-под зонтика показалась боярыня, проворная, тоненькая, разъяренная, словно гадюка. Смотрит на него с ненавистью да визжит:

— Постылый, проклятый, не подходи!

Отшвырнула она зонтик, и вдруг на руках у нее выросли острые когти, которыми она грозила мужу. И мне показалось, что я вижу у нее в волосах рожки, которыми она когда-то хотела его забодать.

В это же время отец мой вопил истошным голосом под ножом цыгана Пырли:

— Боярин Настасэ, настигнет тебя гнев божий!

И как прокричал это под ножом старик, на мгновенье все затихло. В горах сверкнуло, и прогрохотал страшный гром. И мы сразу увидели небо, покрытое низко нависшими тучами, а с запада пронесся дикий вихрь, с треском захлопывая все двери на постоялом дворе.

На том берегу Молдовы, за холмом Больндарь, небо сдвинулось с места, как бы кружась, ринулось к земле: нечеловеческий, неслыханный рев раздался с той стороны и заполнил долины. Все мы вытаращили глаза и увидели змия, летящего с огромной быстротой, как крутящийся вихрь.

Я увидел его, да так и затрясся. Он двигался прямо на нас. Тонким хвостом, похожим на черную трубу, ощупывал он землю, тело его вздымалось в воздухе, а пасть разверзлась в тучах, словно воронка. И так с ревом, мчался он, шевеля хвостом, втягивая в себя стога сена, крыши домов, вырванные

с корнем деревья и играл ими в вышине. Выл он и низвергал град и дождь, словно поднял ввысь всю воду Молдовы и обрушил ее на нас.

Как увидели цыгане это страшилище, так и попадали на землю. Анкуца спряталась где-то на постоялом дворе, в чуланчике. Я бросился к отцу, чтобы развязать его, и едва успел укрыться возле него под телегой. Вихрем повернуло на месте дрожки с лошадьми, и они помчались к Роману, унося с собой и сына ворника Вузы. А боярина змий погнал в другую сторону, схватил его, завертел, закружил, разметав бороду по ветру и бросил полумертвого в овраг, немного поодаль. Едва это свершилось, как вихрь, примчавшийся с рек и гор, утих, и лишь звериный рык еще стоял надо всем, и я видел, как змий помчался к северу, сперва похожий на столб, потом прозрачный, как дым, пока понемногу не рассеялся вдали.

От всего этого боярин Боломир вскоре помер. И какие-то люди выдумали, будто бы отец мой вызвал змия из его пещеры. Как мудрый знахарь, отец им не перечил — пусть люди болтают все, что им хочется, да ему-то лучше, чем кому другому, известно было, кто повелевал чудовищем бури. И вправду, о белокурой бесовочке никто больше ничего не слыхал и нигде ее не видал.

КОЛОДЕЦ ПОД ТОПОЛЯМИ

Косые лучи солнца проникали на постоялый двор Анкуцы, поблескивая в окнах с решетками. Цыгане-музыканты, сверкая зубами, поднялись из своих углов. Густобровая Анкуца снова раздула огонь в остывшей золе, а мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, только искоса поглядывали на пустые кружки, поставленные в ряд возле тележных дышел. Но на скрипки и кобзы еще не было спроса. И даже конюший Ионицэ из Дрэгэнешть не приступал еще к обещанному рассказу. Вдруг по дороге на Роман в лучах солнца и клубах пыли показался всадник. Его пегая лошадь, вытянув шею, с развевающейся гривой словно подплывала к нам быстрой иноходью.

Над горами неподвижно стояла дымка; Молдова медленно текла под золотистым солнцем, одинокая и спокойная, как всегда; и поля были голы, и дороги на все четыре стороны пусты; только всадник на пегой лошади приближался к нам будто из далекого прошлого, из каких-то неведомых стран.

Поравнявшись с постоялым двором, он завернул к нам,— видно, суждено ему было здесь остановиться; затем, сняв черную войлочную шляпу, поздоровался и пожелал нам всем счастья.

Это был человек уже немолодой, но на лошади держался он прямо и ловко. Носил он юфтевые сапоги с высокими голенищами и темно-синюю суконную безрукавку с круглыми серебряными пуговицами. На плечах держался на одной только цепочке кунтуш с куньим воротником. У бедра висела сумка желтой кожи и пистолеты в кобурах. Смуглое лицо его, с подстриженными усами и окладистой бородой, с орлиным носом и густыми бровями, было еще красиво и мужественно, хотя закрытый правый глаз придавал ему печальное и странное выражение.

Сошел он с лошади, приветливо улыбнулся и посмотрел на нас ясным голубым глазом, а конюший Ионицэ, узнав его, вскочил со своего места и, простирая руки, закричал во весь голос:

— Да неужто я ошибся? Не ты ли это, мой друг, Некулай Исак, капитан мазылской конницы? [1]

Улыбка с лица всадника исчезла, глаз его округлился и уставился на конюшего.

— Да,— ответил он тихим, приветливым голосом,— я Исак. Теперь я тебя тоже узнаю. Ты — конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

С удовольствием смотрел я, как они обнимались. Приятно это было и всем остальным. Ласково глядела на них и Анкуца.

Вдруг из-за стены постоялого двора старая, тощая кобыла конюшего оскалила зубы и заржала.

— А ведь она у меня от той самой кобылы, на которой я ездил в молодости,— сказал конюший, гордо поднимая голову и выпуская капитана из объятий.

Приезжий обратил свой глаз на старое пугало, слегка улыбнулся, но не очень-то удивился.

— На ней изъездил я всю страну,— продолжал конюший.— Помнишь, как мы с тобой скакали по дорогам и молодость прожигали? Однако с той поры как мы расстались, ты, вижу я, потерял глаз.

— Да, потерял,— тихим голосом ответил путник.— Большое несчастье случилось со мной. И вот бог привел меня снова в те места, где я когда-то попал в беду.

---

[1] Нерегулярные конные войска в старой Молдове. Капитан мазылов в мирное время выполнял обычно разные административные функции.

— Как так? Неужто здесь это случилось?

— Да, мой друг. Позволь только мне отвести лошадь под навес, расседлать и засыпать ей овса. Потом за стаканом вина я расскажу тебе о том, чего ты не знаешь...

Капитан быстрыми шагами направился к конюшне, ведя лошадь на поводу. Анкуца вздрогнула, видно вспомнив что-то, посмотрела ему вслед и прошептала конюшему:

— Это тот человек из Цара-де-Жос, про которого рассказывала моя мать, когда я была девчонкой?

— Он самый,— ответил конюший.— Некулай Исак из Бэлэбэнешть Тутовского уезда. В молодости мы были с ним большими друзьями.

— Мне матушка рассказывала,— продолжала Анкуца,— что плохо пришлось ему, чуть было не убили его какие-то цыгане здесь, у брода в Тупилаць. Страшная это история, только я ее не помню.

— Раз так, расскажет нам все сам капитан Некулай,— с удовольствием произнес рэзеш.— Знай, милая Анкуца, этот капитан из Бэлэбэнешть, который смотрит теперь на нас так спокойно и говорит так степенно, был человеком, каких мало встречалось в стране молдовской. Отважный, удалой, красивый... и опасный. Рыскал и рыскал он по дорогам и все по делам любовным. Поднимался на горы, к монастырям, и спускался в долины, а за женщину, которая нравилась ему, всегда готов был жизнь отдать. Уж такой он был. Куда ни глянешь, всюду были у него любовницы. И ездил он по дорогам без отдыха и без удержу... При этих словах мы, рэзеши и возчики из Цара-де-Сус, весело переглянулись между собой; капитан-то, оказывается, из тех людей, что нам по душе! А молодая Анкуца с улыбкой подняла брови и поправила бусы на шее и завитушки за ушами. А когда увидела, что капитан возвращается к нам, прошла мимо него танцующей легкой походкой, чуть изогнувшись, зная, что это ей очень идет.

Капитан Некулай шагнул к чурбану у огня. Он снял кунтуш и завернул в него пистолеты. Сверху положил узду и седло и, довольный, сел рядом с нами, поглядывая вокруг.

Словно угадав, чего ему хочется, Анкуца змейкой выскользнула из погреба, неся в правой руке полный кувшин, а в левой — новую кружку. Заливаясь румянцем и запыхавшись, она остановилась у огня и протянула капитану кружку. Музыканты незаметно подошли поближе и с лукавой улыбкой пощипывали струны.

Когда я увидел, что дед Леонте, звездочет, ищет себе места около обоих приятелей, я, недолго думая, поднялся с дышла, на котором сидел, сделал два шага вперед и храбро заговорил:

— Почтенный капитан Некулай! Мы все здесь крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, очень хотим распить с тобой по кружке молодого вина и послушать о той старой истории...

— Дорогие друзья,— ответил мне капитан,— я всегда любил пить вино в компании. Одной только любви нужно уединенье. Наше собрание вольное и открытое, а все вы мне — как братья.

Тут же мы наполнили кружки, подняли их в честь капитана и сгрудились вокруг него; музыканты же заиграли печальную песню о старой кукушке. А вскоре, как выпили мы вино, и Анкуца закончила жарить цыплят на костре.

Когда появилось еще вино и мы снова выпили, капитан Исак из Бэлэбэнешть слегка загрустил, обнял конюшего Ионицэ за плечи, вздохнул, поглядел на дымчатые горы на западе и сказал:

— Бедная страна молдовская! Ты была краше в дни моей молодости!

Затем он обернулся к Анкуце и с чувством подхватил последние слова песни, которую играли музыканты:

Ты раскинь, краса, бобы...
Погадай, краса, скорее,
Отчего же лес желтеет,
Человек живет, стареет...

Он взял за руку хозяйку, и та не смутилась, а только все щурилась, словно кошечка, которую ласкают. Мы же сидели молча, потому что понимали, что капитан собирается рассказывать о том давнишнем случае.

— Люди добрые, друзья мои,— заговорил капитан Исак из Бэлэбэнешть,— послушайте, что приключилось со мной в этих краях, когда я был молод. С тех пор минуло больше двадцати пяти лет. Уж стала у меня путаться память о тех временах. Был я необузданный и озорной. Лошадь моя всегда была под седлом, и старики мои неделями не видали меня. Мать моя причитала, проклинала, каждое воскресенье заказывала литургию попу Настасэ, чтобы я утихомирился и женился. А отец только молчал да смотрел в сторону, потому что и он был такой же, как и я, и много огорчений доставил в

свое время моей матери. Не говорю, что я был бездельником. Были у меня овцы и пастбища, а по осени торговал я вином, но любы мне были черные глаза, и из-за них много я согрешил. Вот конюший Ионицэ может сказать, сколько дорог изъездил я, потому что и он в свое время был подвержен той же страсти, и часто мы тебе бывали товарищами.

Так вот однажды, такой же осенью, как и эта, вез я вино в Сучавский край. И вместе с возницами и бочками остановился на привал на постоялом дворе Анкуцы. Был я в большой печали, потому что любовь моя в том году отцвела вместе с летом. А мать этой Анкуцы поглядывала на меня исподлобья и посмеивалась, потому что и вино мне не нравилось и от музыки тошно было. Бродил я словно в воду опущенный и одинокий, как кукушка.

Суббота была, время к вечеру. Сел я на коня и тихонько поехал тропкой среди жнивья. И слушал в одиночестве, как курлыкают в небе отлетающие журавли. Выбрался я на берег Молдовы и поехал долиной между рекой и лугом. В Тупилаць зазвонили церковные колокола. Остановил я лошадь и слушал в тоске, пока они не затихли. Как сейчас помню, когда умолкли эти колокола, раздался перезвон в церквах других сел — звонили далеко и глухо, отзываясь, казалось, в самом моем сердце. Потом очнулся я, увидел в воде свое отражение, и сам себя испугался, словно какого-то призрака.

В задумчивости тронулся я дальше и вдруг услышал чьи-то голоса. Я как раз проезжал вдоль ракитовых зарослей, и оттуда не было видно воды. Пробрался я тропкой сквозь заросли, и тут открылись передо мной горы в закатном огне, речушки и ручьи между песчаными отмелями. Целая стая цыган только что окончила отводить воду из одной речушки, и теперь бросились они за рыбой, вопя и прыгая, как черти.

Придержал я лошадь и слышу: грубый голос словно приказывает что-то. Цыганята и женщины остановились. Потом, повинуясь этому же голосу, пустились дальше. А от канавы, прямо через речку, направился ко мне старый высокий цыган в постолах, шагая медленно, как на ходулях.

Кто-то крикнул позади него:

— Эй, куда ты, Хасанаке?

Он даже не соизволил ответить. Попыхивая трубкой, подходил он к берегу.

С того берега бросилась за ним девушка в красной юбке. Один из рукавов реки оказался глубоким, и она завизжала и засмеялась, поднимая юбку до самых подмышек. Она быстро перешла брод и побежала по камешкам впереди старика.

Хасанаке хрипло закричал на нее и пригрозил кулаком:

— А ну, девка, назад!

Она тряхнула непокрытой головкой и сверкнула зубами. Потом остановилась поблизости и стала изумленно меня разглядывать, словно редкого зверя.

— А ну назад, эй, Марга!— снова крикнул старый цыган.— Оставь барина в покое!

Она опять строптиво тряхнула головой и засмеялась.

Это была девушка лет восемнадцати. Я видел в воде чистые линии ее точеного тела. Она стояла около меня в рубашке и красной юбке. Лицо у нее было совсем детское, но нос с горбинкой и трепещущими ноздрями, и живые глаза сразу привели меня в волнение. Я чувствовал, как по мне разливается огонь, будто я хватил крепкого вина.

Хасанаке подошел к ней и замахнулся. Она отпрянула в сторону, обежала вокруг меня и отошла к воде. На берегу она остановилась и принялась опять меня разглядывать.

Старик вынул изо рта трубку, сплюнул и хмуро улыбнулся. Все передние зубы у него были выбиты.

— Целую руку, барин, не смотри ты на нее. Девчонка глупая, людей еще не видала.

Марга хохотала, стоя на берегу, и ее черные гладкие волосы блестели, как воронье крыло.

Хасанаке погрозил ей трубкой, потом снова обернулся ко мне:

— Ты, должно быть, тот барин, что остановился на постоялом дворе; везешь вино издалека, из Цара-де-Жос...

— Да, а откуда ты знаешь?

— Музыканты мне сказали—они из наших. Увидел я новое лицо и понял, что ты и есть тот самый. Коли поднесешь мне на бутылку водки, поцелую тебе руки и скажу спасибо твоей светлости. Окажи милость старому немощному цыгану!

Мало-помалу вся ватага бросила ловлю, и цыгане подошли ко мне, толкая друг друга. Те, что стояли позади, вытягивали шеи и разглядывали меня через головы передних. Некоторые о чем-то спрашивали Маргу. Она отвечала шепотом, улыбаясь, и искоса то и дело поглядывала на меня.

Я вытащил из-за пояса кошелек, открыл его и вынул серебряную монетку. Хасанаке поймал ее на лету и быстро спрятал за щеку. Я вынул другую монету и поманил цыганочку. Словно ящерица скользнула она ко мне и поймала монету в подол.

Хасанаке заорал на остальных и погнал их обратно к воде.

Мне нечего больше было делать среди этой суматохи. Нерешительно повернул я к постоялому двору. Поднимаясь по склону, я глянул назад. Марги уже не было видно.

Я чувствовал какую-то досаду. Лошадь медленно шла по мягкой пахоте, а я думал о том о сем, и в думы мои все время врывалась цыганочка в красной юбке. Свернул я на прогалину и неожиданно в зеленой лощинке, среди четырех тополей, увидел маленький колодец, выложенный поверху камнем. Место было таинственное, пустынное. Неподвижная вода, наполнявшая колодец почти до краев, казалась живой: это отражался в ней непрерывный трепет листвы.

Лошадь наклонила голову и вырвала пучок травы. Я дернул поводья и дал шпоры. Вскоре показался постоялый двор. Тогда я в последний раз обернулся назад. На вершинах тополей, на камнях одинокого колодца горело заходящее солнце. А внизу, в тени, стояла Марга, защищая ладонью глаза. Быть может, мне только показалось? Почудилось? Лишь один миг видел я ее, пока сияло солнце над верхушками тополей.

Тогда еще я не знал, как знаю сейчас, женскую душу, но все же на другой день утром я поджидал Маргу. Пока люди выводили волов, чтобы запрягать их в телеги, а дед Иримия, старший у возчиков, разъяснял мне, какой дорогой поедем, я все время посматривал на тропинку, что вела в Тупилаць. Но та, кого я ждал, все не показывалась.

Я поправил кобуры и осмотрел пистолеты. Потом нагнулся, чтобы подтянуть подпруги у лошади, решив вскочить уже в седло. Только поднял голову — в двух шагах от меня стоит Марга. Протягивает руку, хочет погладить морду коню. Смеется. На ней все та же красная юбка и голубая кофточка. Голова повязана алым, как кровь, платком, на шее несколько рядов бус, а на ногах новые полусапожки. И вся она, резвая, как черная козочка, выросла словно из-под земли. Но на меня даже не смотрит.

Почувствовал я, как забилось мое сердце, и понял, что дорога она мне, хоть она и простая цыганка. Когда я спросил: «Это ты?» — она вздрогнула, и ноздри ее затрепетали.

— Целую руку, барин, это я. Пришла спасибо сказать... Вчера вечером едва дождалась, когда кончит еврей свой субботний отдых, и пошла к нему с вашим карбованцем. Вот, сапожки себе выбрала!

И она показала мне свои полусапожки, поднимая то одну, то другую ногу и подхватывая юбку кончиками пальцев.

Дед Иримия проворчал что-то и отошел к своим возчикам. Он меня уже знал. Я же подошел ближе к девушке, улыбаюсь ей и говорю:

— Ты, я вижу, нарядилась по случаю воскресенья. А красива, словно барышня.

Слова мои ей очень понравились. Щеки у нее раскраснелись. Она качнула головой и взглянула мне в лицо:

— Нет, я не для церкви оделась!

— А зачем тогда?

— Так мне захотелось. Я пришла в корчму — за водкой для дядюшки Хасанаке. И еще тебе, барину, спасибо сказать.

— А я думал, ты пришла мне поворожить!

— Нет, барин, я не старуха и врать не хочу. Да и о чем мне тебе ворожить?

— Думается мне, могла ты погадать, с кем хотел бы я повстречаться в одном местечке.

— Где?— шепнула она, и все лицо ее засветилось.— У колодца под тополями?

— Да.

— С той, кого вчера вечером там видел?

— Да. С тех пор все тоскую по ней.

— Может быть, барин,— отозвалась она тихо, и глаза ее затуманились.— Но она бедная девушка из цыганского табора, а ты только шутишь. Ведь сам-то уезжаешь. Вон, волов уж запрягли, и возы тронулись. Сядешь и ты в седло, а я тебя жди-пожди. Кто знает, где ты к вечеру будешь.

— А ты дожидайся,— ответил я и посмотрел на нее пристально, без улыбки.— Зайдет солнце, и я через два часа вернусь, буду там.

Опустила она голову и задумалась. Потом заговорила на другой лад, а на меня все не смотрит.

— А когда отвезешь вино куда нужно, этой дорогой поедешь, здесь остановишься?

— Этой, этой. Разве только задержка будет, если боярин из Пашкань денег не приготовит.

— Да?

Потопталась она немножко на месте, то вправо, то влево изгибая стан свой и старательно разглядывая сапожки. Потом вдруг схватила мою руку, в которой я держал поводья, поцеловала ее, повернулась и убежала. Исчезла она где-то за стенами постоялого двора. Смотрел я, смотрел, но больше так и не увидел ее.

Вышла на порог Анкуца — получить деньги за постой. Хоть уж и не молодая, а красивая была женщина, полная, статная. Улыбнулась она мне, лукаво покачивая головой, потому что все она понимала, все видела. Вот такая же была, как и эта Анкуца, что смотрит теперь на меня и смеется. Только эта моложе и красивее.

Люди тронули волов, и возы, скрипя, выехали на дорогу. Когда проехал мимо последний, одиннадцатый воз, вскочил и я в седло. Музыканты из своего угла, сняв шапки, поклонились мне до земли. Выехал я на дорогу, и Лупей, огромный серый пес, которого дед Иримия спустил с цепи, залаял и стал прыгать вокруг коня. Ясное осеннее утро занималось над долиной Молдовы. Издалека опять доносился колокольный звон, но теперь звон этот мягко и сладко проникал мне в душу.

Так я и ехал долгое время,— солнце светило в спину, а слева была Молдова. Проехали мы села рэзешей: Митешть, Нэврэпешть и Мирослэвешть. Потом свернули из долины Молдовы и стали подниматься по длинному острогу к Брэтешть. Когда добрались туда, в лесу, у самого скита, сделали привал. Но не могу вам сказать, о чем я говорил с людьми, пока мы ехали, и что видел, потому что другие картины и видения увлекали меня далеко-далеко.

К закату солнца были мы в Пашкань, и я явился на боярский двор. Поздоровался я с боярином Канта и доложил, что привез вино по уговору. Похлопал он меня по плечу, сказал: «Вот это ладно»,— велел приготовить мне комнату для ночлега и собрать для меня на стол, и порешили мы, что будем разгружать возы на другой день. Рассказывал он еще мне, как в этом году побило градом его виноградники в Котнарь, только я его не больно-то слушал, потому что уже свечерело и над Серетом поплыли туманы.

Отужинал я, проверил людей, распорядился на ночь и шепнул несколько слов деду Иримии. Тайком вывел он мне за ворота коня. Лупей увязался за мною. Сначала ехал я шагом. По селу взял легкой рысью. Потом обжег коня арапником. Весь путь одолел я так, что ветер в ушах свистел и только в селах попридерживал лошадь. Через два часа после захода солнца я увидел, как поблескивает одинокий огонек на постоялом дворе Анкуцы. Свернул я в сторону и пустил коня прямо жнивьем. Потом выехал на дорожку. А как почувствовал, что подъезжаю к колодцу под тополями, пустил лошадь шагом. Сердце мое так и билось — боялся я, что никого не встречу. Словно над пустыней, поднималась с востока красная луна, уже на ущербе.

Вдруг, когда до меня донесся шелест тополей, Лупей тихо зарычал. Я спрыгнул с коня. Шепнул ему: «Лупей, не балуй!» — остановился и весь задрожал: Марга была возле меня. Освещенная слабым светом луны, стояла она чуть-чуть боком ко мне, отвернувшись, заслонив лицо локтем левой руки. Когда я коснулся ее, она опустила руки и повернулась ко мне. Я услышал, как она тихо засмеялась. Все свои украшения надела она на себя: я чувствовал их на ощупь, обнимая ее. От нее не пахло табаком, а головка ее благоухала цветами.

В те молодые годы мои, казалось, и ночи бежали быстрее. И говорил я меньше. Когда скрылась луна, конь тихонько заржал. Я поднялся и стал у края колодца. Марга прильнула к моему плечу, прижалась головой к моей груди и заплакала.

— Не будь глупенькой, не плачь!— уговаривал я ее.— Сегодня вечером я вернусь. Хочу привезти тебе из Пашкань лисью шубку.

Она, глубоко вздыхая, прижималась ко мне.

— Не вернешься ты. Ведь я простая холопка, не стою тебя. Но я тебя буду ждать и умру у колодца, если не придешь!

Я прижал ее к себе и закутал в кунтуш, потому что она вся дрожала. А потом она поцеловала меня, я вытер ей глаза и покинул трепещущую, всю в слезах. Вскочил я в седло и помчался, думая только об одном — как бы вернуться к Марге. И чем больше я удалялся, тем больше чувствовал ее рядом с собой.

В Нэврэпешть я увидел, как над Молдовой заклубился туман и на востоке заалела заря. Когда я подъехал к Пашкань, в дымке над Серетом взошло солнце. Я спешился у ворот и ввел коня в конюшню. Подошел к колодцу и сполоснул лицо холодной водой. Потом спустился в погреб, откуда был слышен недовольный голос деда Иримии.

Мы благополучно выгрузили вино. Все бочки с далеких виноградников после путешествия на скрипучих возах, при свете осеннего солнца, спустились в темные подвалы. Боярские слуги постукивали по ним, и, вынув затычки, тянули вино через камышинки. Наконец, явился и сам боярин, осушил для пробы кубок, чокнулся со мной и снова сказал: «Браво... Теперь, капитан Некулай,— продолжал он,— пойдем на террасу, подсчитаем — и получай ты что положено!»

Набил я целую сумку серебряными флоринами, что дал мне боярин. Смиренно склонился перед его светлым лицом, приложился к руке и спустился к своим спутникам. Было около полудня. Решили мы после обеда тронуться в обратный путь.

Не хотелось мне есть, да и невкусной показалась мне еда. Наспех проглотил я что-то и с думой о будущей ночи бросился расспрашивать людей и боярских слуг о лисьей шубейке. Были бы деньги — все найдется. Я сразу же нашел шубейку, крытую красным сукном. Взял я ее в руки, и представилась мне радость цыганочки, а ее быстрые глазки сверкали искрой в моем сердце.

Медленно ехали мы обратно, вслед за волами. День был тихий, безветренный. В высокой буковой роще, покрытой инеем, тихо падали листья и, шурша, плавно спускались на землю: казалось, лес был живым существом и тяжко вздыхал. Ехал я ленивым шагом и дремал в седле, обласканный солнцем,— все грезил о возлюбленной у колодца под четырьмя тополями.

Так и двигался я с возами до самого вечера. Торопиться пока было некуда. А потом, когда нетерпенье пожаром охватило меня, подскакал я к головному возу и шепнул деду Иримии:

— Дедушка Иримия, заночуем на постоялом дворе Анкуцы. Я поеду вперед. Там вас подожду.

Старик с упреком посмотрел на меня:

— Хорошо, капитан Некулай. Поезжай куда знаешь, встретимся на постоялом дворе.

Я пришпорил коня. Не успел далеко отъехать, как вдруг запрыгал вокруг меня с радостным лаем Лупей. «Старик заботлив как всегда,— подумал я,— сторожа мне прислал».

Пустил я лошадь ровной рысью и заслушался, как в тихих сумерках бьют копыта по дороге. В чистом небе зажглись звезды. Несколько огоньков как будто перемигивались с другими огоньками — там, что на холмах за Молдовой. Дорога была безлюдна, поля застыли в тишине, словно окутанные тайной.

Я повернул лошадь напрямик к знакомому месту. Луна еще не всходила.

Под тополями у колодца в лощине было темнее. Я спешился и пошел, надев повод на левую руку. Остановился, но ничего не услышал, кроме непрерывного трепета листьев. Коня я привязал к кусту под одним из тополей, а Лупей свернулся калачиком в траве у конской морды.

Ждал я недолго. Когда на востоке, как испуганный глаз, выглянула луна, собака зарычала. Но сразу же замолкла,— видно, узнала того, кто подходил к нам. Я шагнул к колодцу. Сквозь сумрак я увидел тень Марги; казалось, она бежала. Глухо вскрикнув, она остановилась: увидела меня. Потом бросилась вперед и обвила мою шею руками. Она тяжело дышала, крепко обнимая меня и всхлипывая. Долго так стояла она, прильнувши ко мне, потом успокоилась и вздохнула протяжно и глубоко.

Я бросил кунтуш на траву возле каменной стенки колодца и сел. Девушка стала на колени рядом со мной. Я заговорил, лаская ее:

— Марга, вчера вечером тебе было холодно и ты дрожала. Я привез тебе шубку, как обещал.

Она ощупала шубейку, радостно засмеялась и надела ее в рукава. Ласкаясь, она сказала:

— Теперь я вижу, барин, что ты немножко скучал о бедной девушке...

Она легла рядом со мной. Я обнял ее, ласкал, а она трепетала и стонала, словно раненый зверек.

— Что с тобой, Марга?— спросил я, немного погодя.

Тут она вскочила, как будто кто ее стегнул, и стала колотить себя кулачками по лбу.

— Барин! Растопчи меня ногами, убей меня и брось в колодец за то, что я тебя раньше не остерегла.

Внезапно встревожившись, я резко схватил ее за руки.

— Что такое, не понимаю! Говори ясней!

Теперь она плакала, склонившись к моим рукам и целуя их.

— Почему ты меня не бьешь? Почему не убиваешь? Знай же: вчера утром в корчму послал меня дед Хасанаке. Он видел, что ты не сводишь с меня глаз, и приказал мне пойти к тебе, чтобы я запала тебе в душу и мы бы встретились. И рассказала бы я ему, где это будет. А он с двумя своими младшими братьями, Димаки и Турку, придет, когда ты будешь со мной, один украдет твою лошадь, а двое других набросятся на тебя и убьют...

Я едва разбирал эти слова сквозь ее рыданья.

— А ты что сделала? Сказала, где мы встретимся?

— Сказала, а то бы они меня убили.

— А почему же они не пришли вчера вечером?

— Дожидались, когда вернешься с деньгами, полученными за вино.



— А теперь придут?

— Придут!— глухо воскликнула она.— Не могла я побороть любовь, хотела еще побыть с тобою, потому и не сказала сразу. А теперь не могу больше скрывать: хотят они тебя убить и забрать деньги. Они уже не первый раз так делают и ничего не боятся! Теперь я знаю, что они меня зарежут, поняли, что люблю я тебя, и догадаются, как это ты спас свою жизнь, да теперь мне все равно!

Я вскочил, меня словно мороз по коже подрал. Девушка обхватила мои колени:

— Беги же! Беги!

Голосок ее дрожал от ужаса. Но было слишком поздно. Собака вдруг яростно и злобно зарычала. Я бросился к лошади. «Теперь мне конец пришел: услыхали они меня!»— застонала Марга, уткнувшись лицом в землю. Позади меня в темноте раздался громкий, полный ненависти крик. Я узнал голос Хасанаке.

В несколько прыжков я был возле лошади. Лупей, рыча, набросился на кого-то в кустах и, вцепившись зубами, стал его рвать. Я подбодрил собаку, понизив голос: «Хватай, Лупей! Рви его!» Это был сильный, свирепый пес, на него я мог положиться.

Я рванул повод, вскочил в седло и расстегнул обе кобуры. С пистолетом в руке, я дал лошади шпоры и помчался вслед за лающей собакой. Позади меня кричали цыгане, подбадривая друг друга. Вымахнув на всем скаку из долинки, я различил в светлеющей дали, как удирал от собаки цыган, похожий на пугало. Я выстрелил из пистолета, но собачий лай все удалялся: я промахнулся.

Я погнал лошадь по равнине на лай Лупея. В седле я держался крепко, при мне были пистолеты, и я не боялся. Но, гонясь за тем, кто был впереди, я чувствовал, что меня тоже кто-то преследует. Все ближе позади себя я слышал возбужденные крики с обеих сторон, как будто мне хотели отрезать путь. Ущербная луна проливала на сжатые поля слабый свет. Уже отчетливо виден был бегущий впереди. Я глянул направо и налево. Цыгане гнались за мной, отталкиваясь от земли шестами. Иногда они выкрикивали какое-то слово, советуя что-то переднему. Вдруг я понял, что это за совет, заметив, что мчимся мы по кривой. Преследуемый Лупеем цыган бежал по жнивью, петляя, задние настигали меня.

Неожиданно они выскочили с обеих сторон мне наперерез. Они прыгали, пригнувшись к земле и извиваясь, словно черные дьяволы. Один из них остановился на месте справа и

взмахнул рукой, другой уже подбегал слева. Мгновенно понял я всю опасность, однако был слишком увлечен погоней. Засвистели шесты, брошенные под ноги моей лошади. Перевернувшись, я вылетел из седла. Но к этому я тоже был привычен. В момент паденья я высвободил ноги из стремян, кубарем покатился по жнивью, быстро вскочил на ноги и приготовился драться. Цыгане налетели на меня. Железное острие со свистом впилось мне в уголок правого глаза. Я поднял пистолет и на расстоянии одного шага выстрелил в своего противника, попав ему между глаз. Он рухнул на меня, залив меня своей кровью. Рядом с собой я услышал дикое рычанье Лупея, который рвал второго.

Я почувствовал под собой тесак, которым меня ударили. Схватив его, я вскочил на ноги. В правом глазу глубоко сидела жгучая боль и кипела кровь. Здоровым глазом увидел я в стороне от дороги огонек постоялого двора и от волнения и боли завопил не своим голосом. Лупей рычал около меня и вертелся под ногами. Двое врагов исчезли в темноте. С постоялого двора в ответ мне донеслись пронзительные крики и зажглись огни.

Пока пришли мои товарищи, я туго перевязал шейным платком поврежденный глаз. Лошадь хрипела в пяти шагах от меня и все пыталась подняться. Когда возчики окружили ее и осмотрели, то убедились, что передние ноги у нее перебиты. Там мы ее и бросили. Глухим, не своим голосом отозвал я всех к колодцу. Все двинулись с факелами к тополям; словно пьяный потащился и я, скрипя зубами, ослабевший и жалкий. У тополей я увидел, как все столпились, наклоняясь над каменным краем колодца. При свете факелов блестела свежая кровь.

— Они убили ее и сбросили в колодец...— еле выговорил я.

— Кого сбросили, кого? — спросил дед Иримия.

Я был уже не в силах ответить. Из-под платка снова хлынула кровь: она стекала по усам и попадала мне в рот. И мне казалось, я чувствовал на вкус ту кровь, что залила камень колодца.

Когда капитан Некулай закончил свой рассказ, солнце уже село за горы и над долиной Молдовы и постоялым двором распростерлась мгла. Огонь потух. Мы, крестьяне и возчики из Цара-де-Сус, сидели молчаливо и печально. Только конюший Ионицэ что-то бормотал и высокомерно посматривал вокруг себя. Молодая Анкуца проговорила:

— Вот и мне мать когда-то об этом рассказывала. Два других цыгана убежали и скрылись в лесу...

— Да, так-то... Вот какие дела бывали во времена нашей молодости...— гордо подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.

Вскоре и я осмелился подать голос:

— А сохранился еще этот колодец с четырьмя тополями?

— Нет уж больше его,— тихо ответил дед Леонте, звездочет.— Разрушился, как и все в этом мире...

Но капитан, казалось, видел перед собой колодец. Сгорбившись и низко опустив голову, сидел он неподвижно на своем месте. На его правой сморщенной щеке и у выколотого глаза, казалось, навсегда застыла печать страданья. А живой его глаз, большой и мрачный, пристально смотрел вниз, в черный колодец прошлого.

Немного погодя, когда совсем стемнело, снова зажгли огонь. Капитан Исак поднялся, взял за руку Анкуцу и попросил для себя и для всех остальных еще по новой кружке старого вина.

ДРУГАЯ АНКУЦА

— И правда, в старое время случалось такое, чего теперь и не увидишь,— медленно заговорил в вечерней мгле Енаке-коробейник.

Он еще, казалось, не мог опомниться после рассказа капитана Некулая Исака. Но все же голос его вернул нас к действительности. Ожидая Анкуцу с новыми кружками и свежим вином, мы разговорились, ближе знакомясь друг с другом. Из долины Молдовы налетел легкий ветер. Я придвинулся к костру и подбросил сухого хвороста в огонь, задремавший под своей пепельной шубкой. Когда взвились яркие языки пламени и мы снова увидели друг друга, ветер утих, легкий осенний туман окутал нас и весь постоялый двор.

— Теперь уж нет таких людей, как были когда-то,— продолжал коробейник Енаке, а конюший Ионицэ в знак согласия кивнул головой.— Другой народ теперь пошел, хилый.

— Что верно, то верно! — проворчал рэзеш из Дрэгэнешть.

— И зимы тогда суровей были,— решительно заявил коробейник, поднося к огню глиняную трубку с медной

крышечкой.— Вот эту шубу ношу я с тех пор, а зимою мне теперь с ней делать нечего. Таскаю ее за плечами только для важности. Да, могу вам доложить, капитан Некулай и конюший Ионицэ, ведь и лето тоже тогда было щедрее. И по городам не было всех этих пришельцев, что пооткрывали новые лавчонки, а по селам нас, коробейников, все тогда привечали, как лучших друзей. Теперь же клони голову пониже да с товаром тащись повыше — в горы. Только там и есть места, где люди не видали еще ярмарок, а девки так и цветут от радости, когда раскроешь короба. Раньше и в бога-то по-другому верили. Ходили купцы в Ерусалим, и нисходила на них благодать. Даже я сподобился пешком пройти до Святой горы. Видел я там скит на самой вершине — православных монахов поднимали туда и спускали оттуда воротом в плетеной корзине, потому что никакой дороги там нету. А у нас, в Яссах, был господарев двор, и порядки были там совсем не нынешние. Вот выезжает господарь из дворца,— черный аргамак под ним пляшет, кругом телохранители, а простой народ падает ниц: спину кверху, лицо в пыль. Хотел тебя боярин пожаловать, так не крейцер давал, а целый золотой. Был я в ту пору молод, и радостно было мне жить, не то что теперь. Забот я не знал, мошна за поясом никогда у меня не пустовала. Но вот однажды когда собирал я короба, чтобы идти на ярмарку в Байя, в горы, случился в нашем городе Яссы большой переполох.

Попрошу вас только подождать немножко, пока набью трубку табачком, потому что, кроме всего прочего, грешу я и этим перед господом богом. И прочищу чубук, потому что у сатаны только и дела, что чубуки забивать,— возблагодарим же владыку небес, земли и моря, что смилостивился он и научил нас смастерить шило. Так вот, надо вам сказать, стоял я как-то на улице у караван-сарая и рядился с двумя купцами армянами, как вдруг со стороны Бейлика показался с великим шумом отряд арнаутов, а среди них какой-то связанный человек. Народ за ними так и валит, и все больше женщины да ребятишки. Выскочили собаки из подворотен и из-под купеческих навесов,— вой, лай. Купцы, оставив свои прилавки, сбились в кучу, борода к бороде, глаза пялят, расспрашивают. Все арнауты шли с кинжалами и ружьями наготове, словно боялись, как бы связанный человек не порвал путы и не повалил бы их наземь голыми руками. Пленник и вправду был человек высокий и, видать, сильный: в поясе тонкий, а в плечах косая сажень. Усы у него русые, глаза черные и взгляд

неукротимый. Была на нем расшитая куртка и красные сапоги с раструбами, как у справного рэзеша. Голова непокрыта, и губы разбиты в кровь.

Был там среди арнаутов один — Костя Кэрунту его звали, служил он в аджии[1]. Когда проходил он мимо купцов, повернулся гордо к связанному и снова ударил его по зубам. Я спросил:

— Господин Костя, что это за человек и как зовут его?

— Это злодей и негодяй,— ответил Костя.

— Прошу прощения, а зовут-то его как, в чем виноват он?

— Это безумный и презренный рэзеш из уезда Васлуй. Зовут его Тодирицэ Катанэ. Состоял он на службе у его светлости ворника Бобейкэ и набрался такого бесстыдства, что поднял глаза на сестру его светлости. И вот дерзнул он сговориться с сестрой его светлости боярышней Варварой, чтобы с ней вместе этой ночью бежать. Но его светлость почуял неладное и выставил стражу. Она-то и настигла их и схватила у ветряной мельницы. Ну, там настоящее сражение разыгралось. Никак он не давался им в руки. Сколько цыган и слуг боярских настигло его, всех он избил и одолел. Пока не окружили его государевы арнауты с кинжалами, никак нельзя было с ним справиться. А он только орал, что за боярышню Варвару и жизнь готов положить. Потом, как видите, связали мы его и по зубам дали как полагается — хоть выплевывай их вместе с языком. Пусть знает, подлая душа, как за такую дерзость наказывают.

— Так ему и надо, господин Костя,— сказал я, и все остальные купцы поддакнули. Но когда говорили мы так, этот лиходей, Тодирицэ Катанэ, повернулся и прямо на нас глаза вытаращил. Человек он был красивый и, видно по всему, смелый. Мне даже страшновато стало от его взгляда. Но я подумал, что все равно ему петли не миновать, страх мой прошел, и я ухмыльнулся ему в лицо. А потом снова заговорил с господаревым слугою:

— Господин Костя, за твои заслуги его светлость ворник Бобейкэ может тебе пожаловать даже именье. Будь добр, повремени малость, задержи еще арнаутов с этим злодеем и скажи нам, что сталось с боярышней Варварой, сестрой его светлости.

— Боярышню Варвару отправляет боярин в монастырь Агапии, как это по закону положено, замаливать там грех

[1] Полицейское управление в Дунайских княжествах.

молодости. Он уже снарядил повозку и слуг. А этого безумного рэзеша я веду, чтоб запереть его в башне Голия, там он будет дожидаться решения господаря. Конец свой найдет он на плахе, это понятно каждому человеку с головой.

— Уж конечно так,— сказал я с уверенностью. И все торговцы на улице склонили бороды, показывая, что они тоже так по справедливости считают.

За отрядом арнаутов, словно за цыганским табором, повалило все предместье: собаки, бабы, дети; пыль столбом поднялась, а Костя Кэрунту все угощал рэзеша тумаками то по скуле, то по затылку. Вот так они и отвели его и заперли в башне Голия, пока я рядился с армянами. Закончив торг и заплатив чеканной золотой монетой, взвалил я тюк с товарами на спину и отправился домой, где уложил его в короба: товар-то ведь деликатный и тонкий, все больше для девичьих глаз и сердца. Разложил я товар покрасивее, поставил один короб на другой и начистил, как всегда, до блеска медные застежки, вот как и сейчас вы их видите. Улегся я и заснул крепким сном, пока не пропели третьи петухи, потом встал, собрался, взвалил короба на спину, захватил дубинку и трубку и отправился из дому в тот час, когда ночка с днем милуется. Дошел я до улицы Голия — слышу шум неистовый. А из железных ворот монастыря вылетают всадники со всклокоченными волосами.

— Господи боже! Что тут такое, люди добрые? Что случилось, честной народ?

Костя, без шапки, размахивает арапником, подгоняет арнаутов:

— Гони, ребята! Он не иначе, как к колодцу Пэкурару удрал! Смотрите. Только бы не упустить! Как нагоните его, приколите и волоките прямо ко мне.

— Господин Костя,— отозвался тогда один старый арнаут,— кто ж его знает, по какой дороге подался этот черт. Пока он связанный лежал, над ним наша власть была, а теперь, когда он свободен, да в руках у него оружие, да еще на коне он, не найдется такой молодец, чтобы настичь его и расправиться с ним.

— Что ты мелешь, старик?! — заорал господарев слуга.

— Ты не серчай, правду ведь говорю, господин Костя. Мы-то давно его знаем по его другим делам. Этот злодей еще в немецком войске служил и на немцев страху нагонял. Бывал он и в настоящих сражениях, а на теле у него рубцы от пуль и сабель. А лошадь его, бывало, мчится вскачь, а он во весь рост

становится и стоит, как свеча, на седле. Ведь он одной рукой мешок с ячменем подымает. Головой как тараном бьет, а кого ударит — тот сразу наземь, и дух вон. Зная, что это за лихой человек, связал я его крепко-накрепко, бросил на пол, да и дверь еще подпер хорошенько. Лишь такой безумец, как он, мог перегрызть веревку, привязать ее к решетке, протиснуться в окно и спуститься с башни. Бросился он на стражника, отобрал ятаган и пистолеты, нашел где-то коня и ускакал. Где теперь искать его, господин Костя, и что с ним поделаешь?

Но Костя Кэрунту разбушевался, метался туда и сюда и рычал, словно лев, так что арнауты помчались за беглецом во все стороны, даже не оседлав коней. Видя, что все пустились в погоню, господарев слуга немного успокоился и только отдувался, словно воздуха ему не хватало или чем-то дурно пахло. Своему слуге, что стоял рядом с ним, приказал он принести оружие и оседлать лошадь.

Тут я решился — подошел к нему и спросил с великим удивлением:

— Господин Костя, никак я в толк не возьму, как это могло случиться, ведь в крепости Голия такие высокие стены и такая башня? Да кроме стен и башен, есть там еще ружья, цепи и стражники. А этот злодей, что дерзнул опозорить честный боярский дом, сумел так легко убежать.

— Хоть спрашивай, хоть не спрашивай, Енаке, ответить я тебе не могу! — снова фыркнул Костя.— Теперь вся вина на меня свалится, а его светлость ворник Бобейкэ будет смотреть на меня косо. Теперь и служба моя и удача — все пошло прахом. Зашел бы в святой монастырь — заплатить отцу Никанору, чтобы отслужил он молебен во спасение от злой напасти,— да времени терять нельзя, иначе настигнет меня боярский гнев и арапник. Надо мне поторапливаться разбойника поймать да скорее возвращаться: приказ получил — как солнце взойдет, отправить в дорогу боярышню Варвару. Я вместе с другими слугами должен сопровождать ее до самого монастыря Агапии. По дороге, глядишь, еще какая-нибудь беда стрясется, не знаю, право, что и делать. Сердце мое, Енаке, словно раскаленное железо на наковальне, чует, что молот ударит по нему.

— И чего тебе, сударь, так тревожиться? — попробовал я его успокоить.— Злодея поймаешь, боярышню отвезешь в святой монастырь, а господарь да боярин успокоятся и за верность отблагодарят тебя.

Оставил я его в большом волнении около башни Голия, а сам стал спускаться в долину по дороге Пэкурару, чтобы солнце не застало меня еще в городе. Вот иду я и думаю о том, что авось и на этот раз власти одолеют смутьяна. На окраине города повстречались мне господаревы солдаты — возвращались они назад на взмыленных лошадях шажком. Были они сердиты и глядели хмуро. Не нашли они, не поймали рэзеша. Тут-то и смекнул я, почему Костя Кэрунту погнал солдат в эту сторону: ведь по этой дороге должна была ехать в монастырь коляска боярышни Варвары. А такой отчаянный молодец, как Тодирицэ Катанэ, непременно должен был попытаться отбить боярышню по дороге. Понял я, что этого-то и боится больше всего господин Костя.

Вот прошел я уже немалый путь. Когда солнышко поднялось и короба стали мне тяжелы, я остановился у колодца отдохнуть и утолить жажду. Так и сидел я на солнцепеке, поджидая честного попутчика, который посадил бы меня с собой в телегу на сено. Как и раньше бывало, господь бог пришел мне на помощь — показался на дороге человек в телеге. Остановился он у колодца напоить лошадей, я сказал доброе слово, и он мне ответил по-дружески. Уложил я как следует короба, сам сел на сено и поехали мы через села и пустоши до самого Тыргу-Фрумос. Там человек повернул телегу в другую сторону, а я с коробами за плечами вошел в лес Струнга и шел так по холодку, пока солнце не спустилось в Серет и на востоке не взошла луна.

Тут я снова снял с плеч короба возле другого колодца и ждал, пока бог не послал мне проезжих с другой стороны. Показалась легкая бричка, которую мчали две быстрых лошадки. Человек остановил коней и спросил меня:

— Откуда идешь, православный?

— Из самого города Яссы, хозяин. Великое одолженье ты сделаешь, если облегчишь мне путь, ведь я коробейник, людям друг, никому зла не делаю.

— Коли из Ясс идешь, так садись рядом, да поскорее...— сказал тот человек.

Сел я рядом с ним, и мы мигом переехали через Серет. У деревянного моста лунный свет в воде отражается, совсем светло стало. Повернулся я к спутнику, чтобы сказать ему спасибо и добрым словом отплатить, да сразу же понял, что рядом со мной Тодирицэ-рэзеш,— узнал я его.

Он осклабился, блеснул зубами, и я испугался,— а что если он меня тоже узнал!

— Ты тот купец,— сказал он,— что вчера ухмылялся у караван-сарая.

— Я улыбался,— отвечаю ему,— потому, что мне понравилось твое лицо. Не серчай, я человек бедный, беззащитный.

— Ты овца из стада,— отрезал он.— А пасет тебя волк. Вот какой ты.

— Ладно, такой. Только не гневайся на меня.

Снова он засмеялся. Потом лихо засвистел, и лошади, почуя власть хозяина, припустили во весь дух по дороге.

Тодирицэ снова обернулся ко мне:

— Что слышно в Яссах?

— Да что слыхать? — говорю.— Знаю, не скажи я тебе правду, снесешь с меня голову. Костя Кэрунту, с господарева двора, послал за тобой в погоню множество солдат. А сам везет боярышню Варвару в монастырь Агапии. Выехал, думается мне, после завтрака.

— Это хорошо,— пробормотал рэзеш.

— Так-то так,— говорю я снова.— Только знай: известно ему, что ты тоже эту дорогу выбрал, и потому взял он с собой много людей, и должен ты их бояться, ведь ты один...

А рэзеш опять смеется.

— Послушай, человече,— говорит,— я могу сложить голову, но бояться — я не боюсь. А теперь слушай мои слова и выполни все по моему приказу. Сейчас мы еще немного проедем по дороге, до места, что зовется постоялым двором Анкуцы. Там я хочу остановиться и дожидаться господина Кости со всем его войском. Когда он приедет, я буду близко, да он не найдет меня и не увидит. Я буду рядом с вами и глаз не спущу с вас. И все, что ты ему скажешь, я услышу. Он станет расспрашивать, а ты отвечай, что поехал я вперед по дороге в Тимишешть и бежал от него в великом страхе... Скажи ему по правде, что видел ты меня и узнал, не как-нибудь иначе — не то, смотри, мы с тобой можем еще встретиться в этой жизни и на этом свете.

На такие его слова склонил я голову и смиренно обещал все выполнить, а про себя подумал, что, может, и вправду злодей боится и бежит от господаревой руки. Но от гнева великих мира сего никто не убежит.

Вот так-то, благородный капитан Некулай и конюший Ионицэ, желая злодею наказанья, а людям покоя, доехал я в скором времени до этого места, до постоялого двора прежней Анкуцы.

Постоялый двор был заперт, все словно вымерло, только луна светила.

Катанэ стучит в ворота, просыпаются злые собаки, слышится изнутри голос Анкуцы.

Рэзеш кричит:

— Леле Анкуца, приехал я за советом и дружбой твоей. Я Тодирицэ Катанэ, и если ты меня не помнишь, то узнаешь сейчас про мои беды.

Анкуца сразу же замолчала, потом ласково сказала что-то собакам, отодвинула засов и отомкнула железные замки. Открыла она дверь, посветила нам по очереди в лицо восковой свечкой и сказала Катанэ:

— Входи. Ты и есть тот самый безумный рэзеш. Слышала я нынче, что́ ты натворил в Яссах.

Тут Тодирицэ Катанэ выпрямился и посмотрел на нее.

Прежняя Анкуца была такая же красавица, как и нынешняя. Смотрит она на него большими глазами, а в глазах ее два огонька светятся. Долго глядел на нее рэзеш, а потом бросил на лавку пистолеты с ятаганом. Повернулся он и взял Анкуцу за правую руку, что была свободна. Засмеялась Анкуца.

— Погоди, поставлю свечу в сторону и ворота закрою,— сказала она,— а потом говори, что хочешь сказать. Я знаю, рехнулся ты, раз против власти пошел, да, видно, и совсем ты без рассудка, коли боярскую дочку полюбил. Опасная это любовь. Еще известно мне, что больших дел натворил ты в Яссах у башни Голия. С ног сбились теперь господаревы арнауты и стражники, ищут тебя по всем дорогам. Найдут они тебя и прикончат.

— Леле Анкуца,— ответил Тодирицэ Катанэ,— уж если мне на роду написано умереть — я умру. За любовь свою отдам я и жизнь и молодость. Знай же, что этой ночью, может, через час, а может, через два, и вправду нагрянут сюда к твоим воротам господаревы солдаты. С ними будет Костя Кэрунту, дорогая Анкуца, везет он боярышню Варвару в пу́стынь, в монастырь Агапии. А я хочу попытаться вырвать у них из рук мою любовь; либо отобью, либо костьми лягу.

Тут-то, при этих словах, вижу я, испугалась Анкуца. Закрыла она глаза, сжала ладонями щеки и крикнула тоненьким голоском:

— Безумец ты, Тодирицэ Катанэ, правду люди говорят!

Только сразу же после этого придвинулась она вплотную к нему и стала второпях расспрашивать, как он думает

исполнить то, что задумал. Отошли они в другой угол комнаты, к печке, стали перешептываться, и, как показалось мне, все больше Анкуца говорила, с жаром и страстью.

Как кончили они разговаривать, подошел Тодирицэ Катанэ и стал против меня, стоит и смотрит, нахмурив брови. И такие были у него глаза, что и хотел бы я свой взгляд отвести, да не мог. И сказать ничего не посмел я ему. Понял я, что повенчался он со смертью, а такого человека надо мне опасаться.

— Иди, а то опоздаешь,— сказала ему Анкуца, когда брал он оружие.

Положила она ему руку на плечо и тотчас же сняла. И только ее рука прикоснулась к Катанэ, как он обернулся, обнял Анкуцу и поцеловал.

— Вот проснется мой муж да увидит тебя,— сказала она, смеясь,— то хоть он и старик, а рассердиться может...

Потом застыла она неподвижно у двери, слушая, как рэзеш говорил с лошадьми, как тронул их и поехал. Стук колес постепенно затих в отдаленье, а она стояла и прислушивалась.

Я же сидел, сгорбившись, около своих коробов и ничего не понимал. Каким тайным ветром разносятся вести так быстро из Ясс по всему свету? И как это могут сойтись и так понять друг друга два чужих человека? Поднял я взгляд: Анкуца сидит на лавке, и огоньки играют в ее глазах, смотрит она на меня и не видит. Словно все еще прислушивается и ничего не замечает. Так и сидели мы, пока не раздался шум на дороге: с громкими криками и хлопаньем бичей остановилась перед домом погоня из Ясс. И сейчас же услышал я, как орет господин Костя Кэрунту, а хозяйка постоялого двора встала, отперла дверь и подняла свечу над головой. Потом, словно вспомнила и про меня, кивнула слегка головой и шепнула мне через плечо:

— А ты, коробейник, знаешь, что тебе нужно говорить.

Ввалились господаревы слуги и потребовали себе вина. Но господин Костя преградил им дорогу, разбранил их и выпроводил к лошадям и повозке. Там, при свете луны, увидел я: сидит под полостью боярышня Варвара; голову опустила, лицо в колени уткнула. Она была словно тень и, верно, все время плакала.

Господин Костя, громыхая саблей по полу, подошел ко мне и узнал меня.

— Как это, Енаке,— говорит он,— ты так быстро попал сюда? Говори, не узнал ли чего по дороге о негодяе, которого мы ищем.

— Господин Костя,— говорю,— узнал я о Тодирицэ Катанэ, которого ты ищешь, и даже видел его...

— Как так, Енаке? — закричал господарев слуга; а Анкуца повернулась ко мне и глаз с меня не сводит.

— Видел,— прибавила и она.— Он проезжал тут.

— Ну да, он проезжал мимо,— подтвердил я,— и приметно было, что он в превеликом страхе свернул к броду на Тимишешть...

Снаружи слышались крики солдат, и мне показалось, что господин Костя обрадовался.

— От нас он не уйдет! — заорал он во всю глотку...

А Анкуца улыбается и говорит ласково:

— Слыхать, собрал он товарищей — других душегубов и безумцев — и хочет отбить добро, что вы в повозке везете.

— Что? Как? — закричал в гневе господарев человек.— Башку ему конем растопчу!

— Молдова разлилась после дождей,— снова говорит хозяйка,— бродом в Тимишешть теперь трудно пройти.

— Как так? И другой дороги нет?

— Есть дорога через Тупилаць. На пароме переправитесь.

— Тогда мои люди поскачут за ним и настигнут его там, в Тимишешть, а я перевезу повозку с боярским товаром на пароме. Сразу сделаем два добрых дела — и хозяева довольны будут, и мы от беды убережемся...

Господаревы люди пробыли здесь с четверть часа, и все это время водила меня Анкуца за собой в погреб, и носили мы при лунном свете кувшины с вином. Люди выпили, подняли галдеж, стали куражиться, поклялись, что убьют подлого беглеца, и ускакали вперед по шляху. А господин Костя с несколькими слугами повезли повозку в другую сторону, чтобы выйти к парому у Тупилаць. Анкуца провела их кратчайшей дорогой, а меня все время держала подле себя. Как добрались мы до берега, господин Костя заорал во всю глотку — зовет паромщика. Вылез откуда-то старик глухой, косматый, волосы на глаза лезут.

— Перевези нас на ту сторону! — закричал на него Кэрунту и саблей на другой берег показывает.

— Перевезу вас, бояре,— бормочет старик, заикаясь со страху.— Только вода-то поднялась, тяжело перевезти зараз столько народу, и лошадей, и повозку, да еще ночью...

— Ничего, дедушка Быра,— завизжала ему на ухо Анкуца.— Перевезешь по очереди. Сначала старшего ихнего и вот боярышню, что в повозке. За ними лошади переедут, а потом остальные. Я, господин Костя, не мешаюсь, так только слово сказала. Все будет исполнено, как ты прикажешь.

— Веди паром как следует и, смотри у меня, по сторонам не зевай! — повернулся господин Костя к старику.— Перевезешь сначала меня и сестру его светлости ворника Бобейкэ. А не исполнишь все как следует — башку оторву, слышишь!

Старик втянул голову в плечи и потащился к лодкам. А господин Костя, ласково приговаривая, снял с повозки боярышню Варвару, хрупкую, дрожащую от страха. Шагнула она к парому, а тут Анкуца подошла к ней, наклонилась и заглянула ей в глаза. Ворот заскрипел, наматывая канат, и вода зарябила, стала переливаться чешуйками света.

Паром тихо пристал к тому берегу и застыл неподвижно, в полной тишине. Не слышно было оттуда ни звука, ни шороха. Только Анкуца, видел я, прислушивалась напряженно, а лунный свет блестел в ее глазах. Так я стоял, смотрел на нее и ждал, а потом отвернулся в страхе. Никто не уразумел, что там случилось, хотя потом долго кричали и звали и Анкуца и все наши. Уж потом, на заре, крестьяне из Тупилаць снова перегнали паром на этот берег. В одной лодке мы нашли связанного старика. А в другой лодке — господина Костю, до крови затянутого веревкой, с просмоленным кляпом во рту. Когда освободили мы его от пут и вытащили кляп, закачался он из стороны в сторону словно пьяный и выплюнул на песок передние зубы вместе со сгустками крови. Уж так он был слаб, что пришлось людям уложить его на телегу, чтобы везти обратно. Очень я дивился этому происшествию и понял, что Анкуца, когда она глядела на луну, слышала все, что делалось на том берегу. А я так и не узнал, что там случилось, и господин Костя никогда не рассказывал. Не думаю, чтоб это было колдовство Анкуцы, хотя она и слышала все.

Верней всего, злодей этот, Тодирицэ Катанэ, подстерег там и искалечил господарева человека. Советоваться-то они советовались с Анкуцей там, около печи, да только не под силу женщине замыслить такое. От Анкуцы узнал я потом, что будто бы укрылся этот негодяй с боярышней Варварой на венгерской земле. Тогда я снова подумал, что все это с ее ведома сталось.

И долго капитан Некулай и конюший Ионицэ все думали с грустью о тех бесчинствах, что случились в городе Яссах и на берегу Молдовы.

СУД ОБЕЗДОЛЕННЫХ

Большой неуклюжий человек поднялся с кожуха, брошенного возле тележного дышла, и вразвалку подошел к костру.

Уже по одному тому, как он медленно передвигал ноги, словно сгребая ими траву, в нем сразу можно было узнать чабана. Об этом свидетельствовала и его сермяга, и шапка из цельной овечьей шкуры, и широкий блестящий пояс, и в особенности рубаха, задубевшая от стирки в молочной сыворотке. В руках у него был длинный посох, который он держал за самый конец. Маленькие глазки едва виднелись из-под нависшего лба и густых бровей. Курчавые длинные волосы были смазаны маслом, а подбородок выскоблен обломком косы.

— Все я выслушал, и все это были занятные истории,— заговорил он густым басом.— Теперь одного мне хочется: узнать историю вон того — высокого, сухопарого путника. После таких слов, обращенных к конюшему, всем стало ясно, что человек этот явился из глухих краев.

До этой минуты мы его даже не замечали; а он-то все время сидел рядом с нами и молчал. Молча прихлебывал вино, и вот теперь у него развязался язык, и ему захотелось повеселиться. Левой рукой он швырнул кружку прямо через пламя костра. Посудина зазвенела в темноте и разбилась, в груде черепков окончив свою жизнь.

— Теперь уже эта кружка не отведает больше вина! — ухмыляясь, снова заговорил чабан.— И мы с ней встретимся не раньше, чем я сам рассыплюсь прахом. Ну, тем, кто меня не знает, я скажу: живу я далеко, на Рарэу[1], и есть там у нас с товарищами овчарня и землянки, полные кадок с творогом и кислым молоком, да другие землянки, с попонами и кожухами. А зовут меня Констандин Моцок. Хотите знать больше, так скажу вам, что иду я в село на берегу Серета разыскивать, осталась ли еще у меня на свете кровная родня — сестра, которую я не видел с молодых лет. Коли она умерла, вернусь обратно, к овцам и товарищам, к своей печали,— туда, на самую макушку горы, где ветер никогда не знает покоя, словно дума человеческая.

[1] Гора в Румынии.

А смеялся я потому, что вспомнил одного своего приятеля. Так вот, он наказывал мне, коль попаду на постоялый двор Анкуцы, чтобы выпил я там кружку вина, а за ней другую — и так до тех пор, пока в глазах не помутится, и тогда я уж никому не смогу рассказать, что когда-то с ним случилось в этих местах. Мне-то он говорил, как он настрадался, да ведь я столько выпил, да еще из этакой посудины, что уже теперь и не вспомню толком тот случай.

— Какой случай? — спросил, по своему обыкновению, конюший Ионицэ.

— Да уж такой случай, почтенный, такое происшествие было с человеком, который для меня все равно, что брат. Эй, музыканты, подыграйте-ка мне на струнах удалую песню разбойника Василе, прозванного Большим. А потом, коли люди того захотят, расскажу им, как было, а не захотят — помолчу.

И неожиданно он запел, как-то в нос, тонким голосом — совсем не под стать его огромному телу.

— Эй, слушайте!

Тот, кто молод и удал,
Выйдет с тем, что бог послал,
На тропинку между скал.
Не с арканом, не с ружьем,
Выйдет просто с кулаком...

Я слушал, как тоненько выводит он слова, и меня разбирал смех. Мне было весело, я не против того, когда человек под хмельком. Чабан замолк и усмехнулся, скорее злобно, чем добродушно.

— А теперь пусть эти вороны замолчат,— сказал он громким басом,— и спрячут свои скрипки под крылья. Хочу поведать вам, ежели желаете, историю, о которой только что поминал. И я не я буду, если она не придется вам по душе.

Он вгляделся во тьму постоялого двора, поправил под мышкой посох, на который опирался по пастушьей привычке, потом повернулся к нам, насупился и обвел всех невидящим взором — казалось, весь он ушел в далекое прошлое.

Из нас один только конюший Ионицэ смотрел на него нетерпеливо и презрительно. Помилуйте, мол, вдруг ни с того ни с сего его заставил замолчать самый обыкновенный простолюдин, а ведь его чести самому хотелось рассказать о великих событиях.

Но чабану не было стыдно, да и где уж ему знать такие тонкости обращения!

— Что это я хотел сказать? — спросил он нас, улыбаясь как бы издалека, из своего одиночества.— По правде говоря, чем рассказывать, лучше бы я на дудке сыграл — только не умею. Значит, приходится говорить, уж как выйдет. Жил этот мой приятель в селе Фьербинцы на Серете, а владел селом в те времена боярин, известный богатей, по имени Рэдукан Кривой. Боярин был человек пожилой и вдовец. Нет-нет да и приглянется ему какая-нибудь крестьянская женка, и мы, бывало, сами над этим лишь посмеивались да пошучивали. А вот как стряслась такая штука с самим приятелем, тут уж стало ему не до смеха. Дошло до него через каких-то кумушек, что его Илинку тоже позвал боярин к себе домой.

— Да может ли такое статься? — вскипел мой приятель.

А вот и может! И вернулась она домой с новой шалью, красной, как огонь.

Тогда этот мой приятель ощетинился, словно бешеная собака. Оставил он свои сани с мешками на дороге возле корчмы, швырнул на рога волам кнут и схватил топор. Глаза ему будто кровавый туман застлал. Бросился он домой, вышиб плечом дверь, схватил жену за горло и закричал на нее:

— Где была? Говори сейчас же, где была, а то топором искрошу!

— Нигде я не была, человече! Что с тобой стряслось? Спятил ты, что ли?

— Сказывай, куда ходила, не то зарублю! Где красная шаль?

— Какая еще шаль? Видать, ты выпил да заснул в санях, вот тебе и привиделось!

Он на нее кричит, а она отпирается, рвется от него, руками отмахивается и клянется без умолку. Схватил ее муж за косы и ну колошматить головой об угол печи. Да так ничего от нее и не добился.

— Режь меня, убивай, ни в чем я не виновата!

А приятель мой уж и бить ее устал. Опустились руки. Поглядел он, как жена плачет, и стало ему тяжко.

— Ой, Илинка,— говорит он,— будь она проклята, наша несчастная жизнь! Ведь мы только четыре года как поженились. Когда женились, деревья цвели возле нашего дома, а нынче цветы их осыпались, и сердце мое льдом покрылось. А уж как я тебя любил и верил тебе, да вижу, что горько обманулся.

Тогда жена поклялась светом очей своих и могилой матери, что ума не приложит, о чем речь идет. Вытерла свой рот, разбитый в кровь, поцеловала мужа, успокоила его и послала за санями с волами. А только он ушел, накинула она на голову красную шаль, вышла садом в проулок — и прямехонько на боярский двор.

Подъехал парень на санях к амбару, снес туда мешки, а потом тоже пошел на боярский двор, чтобы приказчик записал все в свою книгу. Да вместо приказчика на крыльцо вышел сам боярин. Поманил этак моего приятеля пальцем, посмеивается и цедит сквозь зубы:

— А ну, подойди-ка сюда, хозяин.

— Сейчас иду! Чего изволите, барин?

— Ах ты нехристь,— говорит помещик.— Что у тебя с женой? За что ты ее бьешь и истязаешь?

Приятель мой даже сразу в толк не взял его слов:

— Ничего не было, барин. Не пойму, откуда ваша милость про это знает и мешается промеж мужа и жены?

Не успел он договорить, как Кривой Рэдукан — раз ему кулаком в зубы!

Приятель мой только зажмурился, сначала ему невдомек было, а когда открыл глаза и увидел в окне Илинку в красной шали, все понял. Заревел он зверем, и таково ему стало, что хоть в колодец головой. Только не тут-то было! Схватил боярин арапник, что висел за дверью в сенях, и огрел беднягу по шее да еще концом резанул по глазам, будто огнем ожег. Мечется приятель мой то вправо, то влево, захлебывается кровью, наконец кое-как вывернулся и скатился с лестницы, бежать хочет, да внизу его боярские холопы схватили.

Отбился он от них кулаками и с воем кинулся на хозяина. А Рэдукан Кривой снова как обожжет его хлыстом да еще подмаргивает с насмешкой здоровым глазом:

— Не пускайте его, ребята,— говорит,— видите, бешеный! Чуть жену свою не убил.

Слуги набросились на него и схватили. Колотили они его, пока сами из сил не выбились, а потом отпустили.

После того он три дня провалялся больной; всю скамью от злости изгрыз, а потом поднялся и перелез ночью через забор во двор к боярину, чтобы жену разыскать. Долго подстерегал он ее возле людской — и все же дождался. Зарычал он от ярости и кинулся на нее, готовый разодрать ей глотку ногтями. Услыхал боярин из дома крик и вышел с кинжалом.

Рассвирепел Рэдукан Кривой, увидев такую дерзость,— ведь он-то хозяин! — и приказал слугам схватить моего приятеля и расправиться с ним за все как положено. Перво-наперво связали они ему руки за спиной и рот заткнули, чтобы не кричал. Да на всю ночь и привязали за шею к плетню, втиснув голову между кольями.

Его рвали собаки, а под утро больно искусал крещенский мороз. Даже не пойму, как это он не помер.

Когда рассвело, боярин Рэдукан увидел, что парень все еще смотрит на него волком, приказал снять его с плетня и гнать арапником до самой мельницы. Там слуги его разули, завернув ему до колен порты, и сунули ногами в воду — пускай, мол, почувствует ее ледяные зубы, чтобы впредь не смел он бунтовать и грозить честному боярину.

Много еще пришлось моему приятелю вытерпеть,— прошел он через все муки, как тогда при боярских дворах заведено было. Бросили его в землянку поближе к огню — пусть поджарится. А чтобы не сбежал, забили ему ноги в колодки с пудовым замком. Дым из землянки не выпускали, да еще на уголья насыпали молотого перцу. Лежал он там, кашлял, кровью харкал, только господь бог захотел, чтобы он не погиб, а уже на этом свете настрадался, словно в геенне огненной.

Дело это, добрые люди, случилось лет тридцать тому назад. Но приятель мой не покорился, хоть, может, так к лучшему было бы. Долго оставался он калекой, и злость кипела в его сердце, а когда он сил набрался, бежал из села. Перешел он реку Молдову, перешел Бистрицу и поднялся на высокие горы под Рарэу.

Там, в горах, под елями, сидел он, глядел перед собой, как безумный, и снова видел то, что с ним случилось. Видел он все в пламени и крови, а сердце ему рвали стальные когти. Покинули его силы, стонал он только да корчился. Много лет пробыл он в работниках у чабанов, пока не пообвыкся в тех пустынных местах и не обзавелся овцами и баранами.

И вот однажды весенним вечером услышал мой приятель голос Василе Большого, как тот распевал в лесу песню, которую нынче спел вам я.

Когда Василе подошел к хижине, приятель мой сразу понял, что человек этот ушел от людей и скрывается в пустынных местах.

Стоял перед ним Василе, статный и гордый, брови насупил, и встретил его мой приятель ласково, потому что

песня пришлась ему по душе. А когда узнал, что это Василе, еще пуще обрадовался, потому что по всему краю знали его имя и все трепетало перед ним там, в долинах. В те времена Василе Большой грабил на дорогах и переправах и собирал большую пошлину.

— Пожалуй, брат Василе, к моему костру,— сказал мой приятель.— Слыхал я о тебе и приму с радостью. Угощу чем бог послал и твоему гнедому подброшу доброго сенца. Найдется и попона — сделать тебе мягкую постель на ночь.

Обрадовался и гайдук. Он остался в хижине, и оба вскоре стали добрыми друзьями.

Все рассказал про себя Василе, а приятель мой поведал ему, что вышло у него с женой и боярином.

Услыхав его рассказ, Василе разгневался: сорвал шапку с головы и ударил ею оземь.

— Ну,— сказал он,— после этой твоей истории не зовись ты больше моим другом. Потому что вскормлен ты зайчихой и остался навсегда трусом!

— А что же мне было делать, брат Василе? — спросил бедняга.

— Я тебя научу, приятель.

Так сказал Василе и тут же у костра за кувшином черничной водки подал ему добрый совет.

— Вот что, парень,— сказал гайдук,— знай, что верности у женщин не найдешь. С тех пор как я стал гайдуком, я узнал им цену. Из-за такой, как твоя, ранили меня однажды стражники в левую ногу, и, как видишь, с тех пор я на нее припадаю. Что ж, коли бог создал женщину изменчивой, как вода, и слабой, как цветы, то хоть я браню ее, но прощаю ей. Зато никогда уж не забываю отомстить тому, кто меня не пожалел, кто глумился надо мной. Сделай и ты так, а не то задушит тебя ядовитая злоба, которой ты полон.

— Правда твоя, душит меня злоба! — вскричал мой приятель.— Буду я тебе слугой, брат Василе. Только научи, как быть, чтобы стало мне легче!

Рассказывая это, чабан совсем разошелся и теперь, в отсветах огня, то и дело встряхивал головой и размахивал руками. Даже другим голосом заговорил, кричать начал, да так, словно он был один. Однако даже конюший Ионицэ слушал его так же внимательно, как и другие,— видимо, перестал на него обижаться.

— И вот, как я вам говорил,— воскликнул Констандин Моцок,— научил Василе Большой того приятеля!



— Оставь на неделю овец на своих товарищей,— сказал он.— Оставь на чабанов и кадки с творогом, и собак. Возьми только лошадь да сунь в переметные сумы два круга сыра, чтоб нам было чего поесть. Поедем с тобой верхами, как два заправских купца, до Бистрицы и еще дальше, до Серета, чтобы и я мог повидать то село, где случилось все, о чем ты рассказываешь.

Говорит это гайдук и смеется, а приятель мой чувствует, как наполняется сердце его великой болью и великой надеждой.

Оставил он на товарищей свое добро, покинул луга и ели, прохладные ручьи и поляны, оседлал коня и спустился с гайдуком к людям на равнину.

Узнать их никто не узнал. Так и ехали они совсем как два заправских купца до самого Серета, до села Фьербинць, закусывали сыром да черствым хлебом и запивали водой из колодцев. В четверг утром, на святой праздник вознесенья, вышли они оба на дорогу, к церкви, как раз когда народ от обедни расходился.

Тут-то среди людей приятель мой и узнал Рэдукана Кривого. У него даже дыханье перехватило, да он сдержался.

— Друг Василе,— сказал он.— Вот он, хозяин мой, что так меня приголубил.

— Этот? — переспросил гайдук.— Ну, хорошо! — И, поднявшись на стременах, закричал грозным голосом: — Люди добрые, стойте!

Люди остановились.

— Православные, люди добрые,— еще громче крикнул Василе Большой,— стойте тихо и спокойно, потому что против вас я никакого зла не имею. Я разбойник, Василе Большой. Имя мое вы знаете и о делах моих слышали. При нас пистолеты, и мы никого не боимся, да еще и другие мои товарищи стоят недалеко на страже.

Люди зашептались между собой и покорно подались в сторону. А боярин выпростал бороду из-под воротника шубы, и в здоровом его глазу вспыхнул смертельный испуг: видать, узнал он моего приятеля.

— Приехали мы сюда суд вершить по старому обычаю,— снова заговорил гайдук.— До самого Страшного божьего суда не находим мы правды ни у исправников, ни у дивана. Так будем сами, своими руками творить суд и расправу. За женщину, мы тебя прощаем, светлейший боярин, но мы дрогли на морозе, с головой втиснутой между кольями плетня,

мы стояли по щиколотку в ледяной воде, наши ноги были забиты в колодки, глаза наши выедал дым от перца, и кашляли мы так, что душу выворачивало. Ты сек нас арапником, вырывал нам ногти. Ты отравил всю нашу жизнь, и каждый день мы вспоминаем об этом, не находя себе ни утешенья, ни избавления! Мы здесь, боярин, чтобы за все отплатить тебе сполна!

Рэдукан Кривой, уразумев, в чем дело, выпучил глаз и заорал на своих прислужников и всех, кто тут был. Заметался он во все стороны, убежать хотел, но гайдук и мой приятель зажали его между своими лошадьми, повалили наземь, соскочили с седла и всадили в боярина ножи. Приятель мой стоял над ним до тех пор, пока не запенилась в пыли лужа крови. А когда боярин перестал хрипеть и испустил последний вздох, он пнул его ногой и перевернул лицом вверх, открытым глазом к небу. И никто из людей не сказал ни слова, все стояли в страхе, свидетелями на этом суде.

Вот как оно было. Оставили они возле мертвого, на помин души, свой кошель, а в нем восемь золотых, все, что у них имелось. А затем снова сели на коней и при весеннем солнышке в этот погожий день покинули они село и поехали тайными тропами, пока снова не поднялись к своему зеленому лесу.

Окончил чабан рассказывать и вздохнул над костром, словно хотел излить из души все остатки горечи. Посмотрел на нас угрюмо, увидел, что мы молчим, и засмеялся суровым смехом. Потом шагнул в сторону, к своему кожуху и снова, как и прежде, погрузился в свою печаль, словно в горный туман, без радости и без света.

КУПЕЦ С КРАСНЫМ ТОВАРОМ

Наконец настал долгожданный час, когда мне предстояло великое удовольствие — выслушать рассказ уважаемого конюшего Ионицэ из Дрэгэнешть, как вдруг сквозь вечернюю мглу послышались крики и шум на Сучавской дороге. Все мы, сидевшие у костров, сразу повернули головы в одну и ту же сторону. И первым, кто оставил кружку и поднялся на ноги, был конюший.

— Это что там такое? — в недоумении обратился он к нам.

Мы сами не знали, что бы там могло быть, и ничего не ответили.

Конюший шагнул поближе к дороге. Из своей комнаты показалась с большим фонарем Анкуца. Она держала фонарь на высоте груди, и его свет румянил ей лицо. При этом розоватом свете глаза ее казались еще больше и чернее. Спустившись по ступенькам, она поспешила к дороге. Видно было над темной фигурой только ее освещенное лицо, словно плывущее в воздухе.

— Должно быть, это какие-нибудь возчики, друг Ионицэ,— предположил капитан Исак.— Будешь возвращаться на свое место, смотри, не опрокинь кружку, вино вещь хорошая, хоть и недорогая.

— Да, возчики, должно быть,— подтвердил рэзеш.

И впрямь, это были возчики. Послышались грубые голоса, останавливающие волов: ахо-ахо! И фонарь, блеснув в темноте, внезапно осветил повозки с поднятым верхом, словно появившиеся из-под земли. Люди, одетые в белое, двигались, то появляясь, то исчезая. Кто-то ласково воскликнул:

— Здравствуй, хозяюшка Анкуца!

— Добро пожаловать,— ответила хозяйка тем нежным голосом, к которому мы так привыкли. Подняв фонарь обеими руками над головой, она наклонилась, чтобы получше рассмотреть гостей. Тут показался при свете сальной свечи бородатый мужчина в шапке и в широком кафтане и пошел навстречу хозяйке. Округлая борода его была аккуратно подстрижена; полное, пухлое лицо дородного человека расплывалось в улыбке.

— По-моему, он купец,— решил капитан Некулай Исак.

Хозяйка узнала гостя, и голос ее ласково журчал то громче, то тише.

— Никак это ты, господин Дэмиан? Уж тебе-то я особенно рада,— прошу под нашу крышу. Прикажи возчикам, пусть переедут через мостик, да осторожней, чтобы не провалились. Пусть располагаются под навесом,— сам знаешь, там можно запереть ворота, словно в крепости, и ни о чем не беспокоиться, будь в тюках хоть золото.

— Нет у меня золота, хозяюшка дорогая,— рассмеялся купец.

— Знаю, господин Дэмиан: у тебя, наверно, подороже вещи, да и о них не беспокойся. У знакомых тебе ворот сидят, отдыхают у огня добрые люди, молодое вино пробуют. Зарезала я жирных цыплят и сегодня вынула из печи свежий хлеб. Все тебе будет по сердцу, я же знаю, что любишь ты хорошую компанию.

Тут возвысил голос рэзеш Ионицэ.

— Коли он такой человек, то мы с великим удовольствием освободим ему место и с радостью попросим к нашему огоньку.

— Это конюший Ионицэ из Дрэгэнешть,— проворковала Анкуца, словно голубка.

Купец поклонился конюшему и темным фигурам у огня.

— Это для меня большая честь,— проговорил он,— прошу считать меня вашим покорным слугой. Только сперва надо мне устроить товар и присмотреть, чтобы люди и волы были сыты. А потом уж с превеликой радостью разделю с вами трапезу и выпью кружку молодого вина. Ибо, как в книгах пишется, вино смягчает сердце человека и укрепляет тело его.

Конюший повернулся к нашему костру и от чистого сердца сказал:

— Нравится мне этот купец.

— Твоя правда, уважаемый конюший,— подтвердил дед Леонте.— Если человек при первой же встрече так словоохотлив и весел — значит, нет в нем ни лукавства, ни скрытности. А особенно если бог сподобил его родиться под знаком Солнца, под созвездием Льва, то нет ему препятствий в достижении богатства и благоволения высших. Дела его достойны и приносят ему удачу, и хотя он будет гордо выступать в сапогах со скрипом, но сам всегда останется ласков и дружелюбен.

— Что ж, дед Леонте, вот мы и спросим его, под каким знаком зодиака он родился,— весело решил конюший.

— Ежели воля твоей милости такова, чтобы спросить его, я не противлюсь...— согласился звездочет.

При свете фонаря Анкуцы возы и возчики перебрались через мостик. Мы насчитали три огромных, тяжелых, скрипучих воза, покрытых дерюгой. Крестьяне подгоняли волов: гей-гей! Негромко хлопали веревочные бичи. Вот проехали возы и исчезли под черным навесом постоялого двора. Еще доносились неясные голоса, упало одно ярмо за другим, потом зазвенел тонкий веселый голосок хозяйки. После этого подошел к нам, шагая вразвалку, купец, высокий и толстый, в своем широком кафтане и в сапогах со скрипом.

— Желаю всем доброго вечера и благополучия! — сказал он.

— Спасибо твоей милости,— ответил ему конюший.— Присаживайся, почтенный господин Дэмиан.

— Зовут меня Дэмиан Кристишор, купец я, держу лавку в Яссах на главной улице.

— Вот и славно. Так что попрошу я тебя, почтенный господин Дэмиан, присаживайся сюда, на бревно, рядом со мной; при свете костра посмотрим мы на тебя, а ты на нас, чтобы лучше познакомиться. Вот этот мой старый и мудрый приятель, дед Леонте, звездочет, говорит, почтенный господин Дэмиан, что родился ты под созвездием Льва, и нам очень хочется услышать, правда ли это.

Купец поморгал глазами, словно огонь ослепил его, и с удивлением посмотрел вокруг.

— Правда, так оно и есть,— признался он.— По воле божьей, день рожденья моего — восемнадцатого июля.

— Будь добр, скажи нам еще, не под знаком ли Солнца был год, когда ты родился?

— Не смею скрывать, это так,— подтвердил изумленно почтенный купец.— Родился я в год от рождества Христова тысяча восемьсот четырнадцатый. Как и откуда могли вы все это узнать?

— Ты недаром удивляешься, приятель,— улыбнулся конюший,— а мы-то еще больше дивимся; ведь совсем не зная тебя, только тень твою увидав, поведал дед Леонте всю правду. И мало того — он сказал, что выйдешь ты к нам, скрипя сапогами, и так оно сразу и сбылось.

Увидев, что все мы широко раскрыли глаза, дед Леонте встал со своего места с кружкой в руке.

— Почтеннейший конюший,— сказал он твердо,— и ты, господин Дэмиан, удивление ваше передо мной будет много меньше, если я вам скажу, что только господь бог и книга, которую ношу я в сумке, просветили меня во всех моих предсказаниях. Ибо от бога и от этой мудрой книги ничто не укроется. Я, как человек, могу ошибиться. Книга же моя не ошибается. И говорит книга, каков с виду человек, родившийся под таким-то знаком, под такой-то звездою, а я по виду человека узнаю, под какой планидой родила его мать. Открыв книгу, могу рассказать я и о многом другом: о супружеской жизни, о богатстве и чести, о здоровье и сроках жизни, но знание мое не может проникнуть повсюду. И мог бы я, почтенный господин Дэмиан, сказать еще, что понравится тебе вино и наша компания, но вот если б спросил ты меня, откуда едешь ты, из Львова или Лейпцига, с товарами из немецкой стороны,— этого я бы уже не мог сказать.

— Везу товары из Лейпцига,— охотно объяснил купец.

— Ну и хорошо. Будь здоров и дай тебе господь всякого прибытка. Осуши с нами кружку вина.

Перестав удивляться, господин Дэмиан Кристишор выпил за наше здоровье и показал себя веселым и дружелюбным человеком. Потом он получил от Анкуцы на глиняной тарелке жареного цыпленка и свежий хлеб. Не понадобилось много времени, чтобы увидеть в этом проезжем купце доброго товарища в тех занятиях, которым мы предавались.

Когда под навесом затихло всякое движение и возчики, завернувшись в кожухи, улеглись под телегами между колес, купец, словно запрятав все заботы в глубокие карманы своего кафтана, разошелся вовсю и осушил новую кружку в честь капитана Некулая. Казалось, что больше всех понравился ему однодворец из Бэлэбэнешть.

— Если хочешь, капитан Некулай,— сказал он,— я расскажу тебе обо всем, что видел в чужих странах. Будучи приписанным, по воле всевышнего, к такому почтенному сословию, как мое, я мало-помалу вот уже несколько лет как достиг благополучия и даже некоторого богатства. И подумал я тогда, что настало время подняться мне своими силами еще выше, как это делали и другие бывалые купцы, и решил, что надо и мне поехать в Лейпциг. До этого ездил я по ярмаркам и скупал товары у немецких и еврейских купцов. Но потом я сообразил, что лучше мне самому получать их прибыток. И вот два года тому назад попробовал я съездить во Львов. И, вернувшись с прибылью, задумал я в нынешнем году отправиться еще дальше — в Лейпциг. Так вот, в день приснодевы Марии поставил я четыре больших свечи чистого воску перед образом святой Параскевы в храме Трех святителей. Заказал я отцу Мардаре прочитать на дорогу молитву от опасностей и болезней. Опустился и я на колени перед гробом святой, моля ее о помощи. Обнял я Григорицэ, своего младшего брата, оставил его в лавке, а сам сел в повозку и отправился в Хушь. Там переехал я Прут и представил русским начальникам свои бумаги. Около Тигины на Днестре повстречался я с одним купцом-армянином, русским подданным, с которым еще раньше вел я дела. Посоветовавшись и сговорившись друг с другом, купили мы там же, в Тигине, пятьсот баранов — славный, добрый товар. Платили мы по рублю за голову. И сразу же, не мешкая, взяв четырех работников, погнали мы своих баранов вверх по Днестру. Безо всякой помехи перешли мы немецкую границу и направились в Черновицы. Оттуда во Львов. Во Львове погрузили наш товар на поезд, и через несколько дней достигли мы Страсбурга и

продали там баранов по золотому за голову: перекупили их другие купцы, чтобы отправить в город, который зовется Париж.

— Гуртом или поездом? — спросил капитан Исак.

— Поездом, почтенный капитан. По этим странам — у немцев, да и у французов — ездят теперь на поездах. Сегодня здесь, а завтра — бог знает где.

— Как это — поездом? — спросил кто-то сердитым басом.

Я повернулся и увидел пастуха с Рарэу. Смотрел он хмуро, исподлобья. По правде сказать, и я и все остальные очень хотели узнать, что это за машина, о которой говорит купец. Только конюший и капитан Исак, казалось, знали, о чем идет речь. Но и они не прочь были выслушать объяснение, которого мы ожидали.

— Не знаете, что такое поезд? — спросил, смеясь, господин Дэмиан.

— Знаем,— неуверенно произнес конюший.

— А я не знаю! — упрямо сказал пастух.— Кто знает, что за немецкая мерзость может это быть!

— Настоящая мерзость и чертовщина...— добродушно расхохотался купец.— Это вроде домиков на колесах, а колеса катятся по железным брусьям. Так вот, по этим железным брусьям как ни в чем не бывало их тащит машина, и только диву даешься, как это она со свистом и пыхтеньем движется своей силою — огнем.

— Без лошадей? — спросил дел Леонте.

— Без.

— Этому я уж не поверю! — буркнул пастух. А дед Леонте перекрестился.

— Почему не поверите? — примирительно сказал конюший.— Я об этом уже слышал, и приходится верить. Правда, видеть не видел.

— А я, говорю вам, сам видел,— весело настаивал купец.— Машина сама движется, огнем — и тащит за собой домики. А в этих домиках люди или товары. И баранов из Тигины погрузили мы тоже в такие домики. Катят они себе плавно, без тряски, без заботы, только шум такой, что при разговоре люди должны кричать друг другу, как глухие.

— Гм,— пробормотал чабан.— И ты ездил на этой огненной повозке?

— Ездил. А чему тут дивиться, если я видел вещи еще удивительнее.

— Какие такие вещи еще удивительнее?

— Послушайте только. Там, в немецкой стороне, в городах жилье стоит над жильем в четыре, а то и в пять ярусов.

— Значит, один дом на другом? Слыхал я об этом, да не верилось.

— Почему не верить, когда там и вправду так. Но это что! Видел я и другое, еще удивительней: есть там улицы, цельным камнем покрытые.

При этих словах мы молча переглянулись.

— Да. А немцы со своими барынями выходят и прогуливаются по краям улицы. На всех барынях шляпы, а у мужчин у всех — часы. Не только у господ, но и у бедных мастеровых.

— Часы мне не диво...— прервал дед Леонте.— А вот женщины в шляпах, по правде сказать, это мне не нравится.

— Да что поделаешь? — сказал конюший.— Такие уж там порядки. А еще что видел ты, господин Дэмиан?

— Ну, другого я ничего не видел, кроме большой ярмарки, там, в Лейпциге. Преогромная ярмарка, и все на свете там есть: и комедианты, и музыканты, и всякие там немцы кишмя кишат, пиво пьют. Кто не пробовал, добрые люди, этого, пусть не жалеет. Вроде горького щелока.

— Вот как? — развеселился конюший.— А вина они и не знают?

— Может быть, знают; но я такого вина, как наше, не видывал и очень по нему соскучился.

— Вот как? А что ты там ел? Думается мне, господин Дэмиан, что приходилось остерегаться и кошек, и лягушек, и крыс.

Чабан изо всех сил сплюнул в сторону и вытер рот, сначала одним рукавом кожуха, затем другим.

— Уж я не так и остерегался,— сказал купец,— потому что этой живности я и не видел. Одна картошка, с вареной свининой или говядиной.

— Вареное мясо? — удивился капитан Исак.

— Да, вареное мясо. И пиво, то самое, про которое я вам говорил.

— Значит,— продолжал однодворец,— цыпленка на вертеле ты не видал?

— Да нет.

— Ни барашка, жаренного «по-разбойничьи», с чесноком?

— Совсем нет.

— Ни голубцов?

— Ни голубцов, ни борща, ни карпа на вертеле.

— Господи, спаси и помилуй! — перекрестился дед Леонте.

— Коли так, коли у них ничего этого нету,— продолжал капитан Исак,— то их чудеса не очень уж мне любопытны. Пусть остаются со своими поездами, а мы со сторонкой молдовской.

Развеселившись при этих словах, подняли мы кружки за господина Дэмиана Кристишора с его кафтаном, бородой и пухлыми щеками. И кричали мы во всю глотку, каждый на свой лад.

— Но у этих немцев есть и кое-что хорошее,— одобрительно заметил купец,— перво-наперво у них ученье в большой чести.

— Вот это неплохо,— подтвердил конюший.

— В каждом городе, в каждом селе, почтенный конюший Ионицэ,— в каждом городе, в каждом селе — школа и учителя. И все учатся.

— Тогда кто же овец-то пасет? — пробурчал чабан, а мы снова рассмеялись.

— Все учатся: и мальчики и девчонки.

Конюший нахмурился:

— Как, и девчонки? Ну, этот обычай тоже при них пускай остается.

Все мы, понятно, были заодно с конюшим. И мы снова закричали так, что, пожалуй, было слышно и в немецкой стороне.

Купец, сохранявший больше спокойствия, улыбался и ожидал, когда мы замолчим. После того как мы утихли, он продолжал:

— Есть еще у этих немцев, почтенный капитан, хороший порядок и закон. Познакомился я там с одним мельником, который судился из-за клочка земли с самим императором. А потому как правда была на стороне мельника, то судьи и присудили землю ему, а не императору.

— В это я опять не поверю, как и в огненную телегу! — вновь закричал пастух Констандин.

— А я верю, и это мне нравится,— откликнулся рэзеш.

— Пробыл я там, почтенный конюший, три недели и на многое насмотрелся, и не понравилось мне, что они еретики. Хотя верят-то они тоже в господа нашего Иисуса Христа.

— Почему же они еретики?

— Еретики,— так сказал мне отец Мардаре из храма Трех святителей.

— Раз так, то значит еретики, ничего не поделаешь! — согласился конюший.

Подосадовали мы на этот изъян у немцев и продолжали слушать рассказ купца о его странствиях.

— Ездил я у немцев,— говорил он,— по дорогам и по городам, и никто не чинил мне убытка; ни простой человек, ни императорский чиновник. На огненной телеге, как говорит этот недоверчивый человек, повез я свой товар во Львов. А во Львове погрузил его на немецкие телеги. В Сучаве же перегрузил его на эти повозки кордунские.

В Корну-Лунчай с радостью въехал я в молдовскую страну. Заплатил я господареву пошлину, а таможенники спрашивают меня, не привез ли я им какие-нибудь подарки от этих немецких негодников и еретиков. Тогда сунул я руку в правый карман кафтана и вытащил для обоих таможенников по красному платку. Я уж заранее припас, чтобы мне тюков не вспарывать. Удовольствовавшись платками, пропустили они меня. И ехал я спокойно почти до самой Бороая. А там выехал из долины Молдовы всадник, красивый человек, статный, и рукой подает мне знак остановиться. Я понял, что если не остановлюсь, то подаст он знак из пистолетов. Стою, поджидаю его, подъехал он к моим возам и спрашивает, кто я, откуда еду и что за товар везу. Я ему все рассказываю, словно судье, и его спрашиваю, кто он такой. Он мне ответил: «Погляди на меня. Я разбойник и состою при этой большой дороге. Выкладывай деньги, что есть при тебе».

— Добрый человек,— говорю я ему,— дам я тебе товаром, потому что денег у меня нет. Что оставалось у меня, роздал я возчикам, а до моего дома еще два дня пути.

— Вот как? Тогда скажи, что за товар у тебя.

— Что у меня за товар? Товар у меня из Лейпцига, из немецкой страны. Всякие кружева, бисер, серьги и ткани для женских надобностей.

— А к чему мне все это? — говорит разбойник.— Что же, не нашел ты ничего у тех поганцев для такого молодца, как я?

— Да если не прогневаешься и понравится тебе, припас я и для тебя кое-что, добрый человек,— говорю я ему.— Пожалуйста, вот тебе красный платок индийской шерсти, какого во всей стране ни у кого не найдешь. Особенно всаднику он к лицу!

— Покажи! — требует разбойник.

Я тут же вынимаю из кармана кафтана третий платок и протягиваю ему. Очень обрадовался молодец. Взял он платок, сказал спасибо и поехал.

Довольный, что так отделался, доехал я до села Дрэгушень, тоже на берегу Молдовы. Остановился я с возами на привал, а людям приказал развести костер и сварить на скорую руку мамалыгу. Пока доставал я брынзу и они вываливали из котла мамалыгу, является вдруг стражник и от имени начальства требует бумаги.

Что ж вам сказать? Уж у меня хорошие бумаги были, особенно письмо от моего крестного, боярина Фемистокла Букшана. Вытаскиваю и показываю бумаги и, главное, письмо под нос сую.

А в этом письме так говорится:

«По повелению его высочества господаря, исправники, стражники, таможенные досмотрщики и сельские старосты, кто бы ни были, да не смеют нанести ущерб этому купцу и пропустят его с миром куда нужно. Быть по сему!»

Вытаращил стражник глаза на печати и на подпись и крутит носом.

Говорит:

— Ты, господин, едешь из немецкой страны?

Отвечаю:

— Да, еду из Лейпцига.

— А что за товар везешь?

— Да что за товар? Разные кружева, да бисер, да серьги, да полотна, да ситцы — все для женщин.

— Только и всего? — говорит он.— А что делать с подобными вещами такому холостяку, как я?

— Ничего,— отвечаю я ему, улыбаясь,— если ты не прогневаешься, почтенный стражник, припас я кое-что и для тебя, только бы понравилось. Есть при мне, кроме женских безделушек, красный платок из индийской шерсти, лучше его и на свете нет.

— Покажи,— торопит меня стражник.

Я вытащил четвертый платок и отдал ему. Ушел он и даже спасибо мне не сказал.

— Так-то вот, друзья мои,— добродушно закончил купец.— Заплатил я подати и пошлину, и теперь путь для меня свободен до самых Ясс. А там еще нужно будет поднести дар святой Параскеве и отцу Мардаре. Нужно будет найти что-нибудь подходящее и крестному моему, боярину Букшану. А потом можно будет отдохнуть в своем доме и в лавке, пожиная плоды от трудов своих и дожидаясь того времени, когда суждено будет мне жениться, потому что, доложу я вам, я еще холост.

Мы снова закричали хором, сдвинув кружки перед самой бородой почтенного купца. На этот шум вышла Анкуца — казалось бы в испуге, но исподтишка улыбаясь. На деревянном блюде принесла она пироги с творогом. Тут мы еще больше развеселились и зашумели. Дэмиан Кристишор, торговец, повеселев от молодого вина почти так же, как мы, поднялся, запустил левую руку в глубокий карман своего кафтана и вытащил нитку бус. Подойдя к хозяйке, он надел бусы ей на шею и застегнул на затылке. Потом, сделав шаг назад, посмотрел на нее с восхищением.

— Хозяюшка Анкуца,— сказал он,— пусть тебе все твои гости сами скажут. Пускай ответят, видали ли они когда-нибудь более славные бусы на более красивой женщине!

Взяв ее за голову, он расцеловал ее в обе щеки. Но Анкуца, поставив блюдо, выскользнула из объятий купца и бегом бросилась к дому.

НИЩИЙ СЛЕПЕЦ

Из-за возов лейпцигского купца вышли на свет старуха и старик. Женщина шла впереди, старик, подняв чуть-чуть голову, словно прислушиваясь к громкому разговору у нашего костра, шел немного сзади.

Старик был слеп, это я сразу понял, как только взглянул на него. Казалось, что старуха тянула его за собой на веревочке. Но он, следуя за ней, шел совершенно безошибочно на запах жареного мяса и на гомон людских голосов.

Голова у старухи была повязана белым платком. Одета она была в шерстяную домотканую юбку и кацавейку. Слепой тоже был одет, как горец: на нем была черная маленькая шляпа, белые штаны и рубаха, а на плечи наброшен кожушок. Под кожушком он придерживал левой рукой волынку, рожок, который свисал вниз...

Почувствовав, что он уже близко к костру, слепой остановился, старуха же продвинулась еще немного вперед. Старик застыл на месте, и огонь освещал его неподвижное лицо, обрамленное белой бородой.

Никто из моих приятелей даже внимания на них не обратил. Только почтенный купец из Лейпцига, узнав их, рассмеялся:

— Тетушка Саломия,— обратился он к старухе,— ты все еще не избавилась от слепого деда? Как я погляжу, он ходит за тобой, как привязанный.

— Правда, правда, ваше степенство,— живо откликнулась она, но ее пронзительный голос прозвучал доброжелательно.— С той поры, как я вышла из Рэдэуць, он, словно тень, за мной увязался. Требует довести его до Ясс и там оставить. Вы можете подумать,— обратилась она ко всем собравшимся,— что он мне муж или брат. Но я уже давным-давно забыла и про мирскую суету и про родственников. Только и дум у меня, что о своих заботах. Я вот пристала к обозу господина купца, чтобы добраться до святой Параскевы — в стольном городе, положить ей на гроб серебряную денежку и поведать ей о моем горе. А он, убогий, потащился за мной... Вон, даже храбрости набрался подойти поближе к вашему костру. Он старик хитрый и надеется, что вы прикажете ему сыграть что-нибудь на волынке. Я его уговаривала укутаться с головой в кожушок да и завалиться спать под телегой, но он и слышать не хочет.

Старик ухмыльнулся, обратив к огню слепые белки глаз.

— Люблю я, когда веселые люди собираются,— заговорил он низким приятным голосом.— Люблю я и молодое вино и цыпленка, жаренного на углях. А больше всего люблю я слушать разные истории. Да и сам могу кое-что рассказать про минувшие времена. Господь бог решил меня наказать и лишил при жизни света очей моих, вынудив протягивать руку, чтобы у добрых христиан просить себе на пропитание. Уж такова воля господня, но и обо мне он заботится, как о земляном черве. И потому, я понял, что грех мне жаловаться, а нужно принимать все, как оно есть.

Конюший Ионицэ повернулся к слепому. Окинув его взглядом, он с удивлением спросил:

— Ты жалкий нищий, а говоришь, что любишь цыплят, жаренных на углях.

— Люблю, господин и брат мой,— раздался в ответ добродушный голос слепого.

— И вино любишь?

— И молодое вино, которое и теперь мне щекочет ноздри, тоже люблю.

— А истории всякие сказывать можешь?

— Могу, как и всякий другой человек. Что ж тут такого?

— Думается мне, что ты только хвастаешь, потому что таких историй, как я да мой друг капитан Некулай Исак, никто во всей Молдове не знает.

— В этом я вам перечить не буду, хозяин.

— Тогда молчи, а я вот расскажу самую интересную и самую чудесную историю, какую только можно услышать.

— Расскажи, хозяин, а я послушаю и буду прихлебывать молодое вино, которое ты теперь наливаешь в свою кружку. Тебе хозяйка другую кружку принесет, и ты ее наполнишь. А если будет что-нибудь другое, что полагается к вину, так я даже с еще большим удовольствием буду слушать. А потом, если ты соблаговолишь послушать меня, то я сыграю на волынке и спою песню.

— Значит, ты, слепой и убогий, не только есть и пить можешь, но еще и песни петь?

— Божьей милостью и это умею, хозяин. И еще кое-что могу.

— Ишь ты? А волынка твоя хорошо играет?

— Хорошо, господа и братья мои. Прямо, как человеческим голосом.

— И так бывает. Ладно, ты мне сыграешь. Что-то захотелось мне здесь, у Анкуцы, песню послушать. Время уже позднее, вон Большая Медведица высоко поднялась в небе. Слышу еще, как и петухи у Анкуцы хлопают крыльями и горланят. А того, у которого голос похуже, я хотел бы завтра утром в горшке со щами получить.

— Петухи поют,— назидательно произнес слепой,— чтобы отогнать злых духов и всякую нечисть, что бродит вокруг.

Общий разговор на минуту смолк, все прислушались, как хлопают крыльями и кричат петухи. Сначала они кукарекали только поблизости, во дворе у Анкуцы, потом петушиный крик послышался издалека, откуда-то из-за реки.

Анкуца принесла конюшему новую кружку.

— Брат Ионицэ,— произнес капитан Исак.— Тебе Анкуца подала новую кружку, а мне подарила улыбку. Значит, мне больше повезло, чем тебе.

Польщенная Анкуца засмеялась.

— Тогда прежнюю кружку,— решил конюший,— нужно отдать слепому, пусть он сыграет мне песню.

— Обязательно сыграю, хозяин.

Старуха, которая привела с собой нищего, казалось, рассердилась без всякого повода, когда старик, вытянув руки вперед, шагнул поближе к нам.

— Просто в толк не возьму, как это всякие увечные и нищие могут мешать людям, которые веселятся!

— Не сердись, сестра Саломия,— повернулся к ней слепой.— Всякая злость, она от нечистого.

— Никакая я тебе не сестра,— оборвала его старуха, поджав губы и отворачиваясь в сторону.

— Что ты мне не сестра, это правда, потому что сам я в этом мире всего лишь бедный странник. Красив он, этот мир, но я его уже не вижу. Цветет он, но я уже ничего не чувствую. Припомни лучше, Саломия, те времена, когда ты носила жемчужное ожерелье, будь доброй, как и тогда, и не сердись на меня.

Старуха замолчала, а Анкуца рассмеялась.

— Как? Разве ты знаешь, каким бывает жемчуг? — удивился конюший Ионицэ.

— Знаю. И мне довелось один раз увидеть, как блестит жемчуг, хозяин. Это драгоценный камень, который находят в море, в раковинах. Вот в такую же тихую осеннюю ночь, как и теперь, выползают раковины на берег и раскрываются при лунном свете. Та, в которую попадает капелька росы, захлопнется и уйдет в глубину. Из этой-то росинки и родится жемчужина.

— Да этот слепой мудрец, как я погляжу! — проговорил купец, расправляя свою бороду и склоняясь над кружкой.

Все заерзали, словно хотели придвинуться поближе к огню. Слепой отвернулся и хлебнул вина. Потом он снова обернулся к нам, и бесконечная ночь, в которой он пребывал, осветилась улыбкой. Он поставил кружку на землю и уселся по-турецки рядом с ней. Подтянув к себе ближе волынку, он глубоко вздохнул и стал надувать ее мехи. Прижав инструмент левым локтем, он надавил на него, и волынка издала короткий стон, словно ей стало больно. Потом старик что-то забормотал и стал напевать старинную песню.

— Это песня про овечку,— проговорил слепой, поворачивая к нам свое улыбающееся лицо.— Если желаете какую-нибудь другую, хозяин, эту я могу спеть потом.

— Пой эту! — решительно и мрачно произнес чабан. Капитан Исак, усмехнувшись, посмотрел куда-то поверх наших голов.

Музыкант еще туже надул мехи, и пальцы его быстро забегали по отверстиям дудки, извлекая из нее старинную печальную песню. Подняв невидящие глаза к звездам и выпустив рожок волынки, старик запел. Он пел про трех



чабанов, которые гнали свои отары с гор. Двое из них задумали недоброе против самого молодого:

Среди гор, высоко,
Слышно издалека —
Чабаны гуторят,
Словно громко спорят.
Слышно шум и гомон —
Овцы идут к дому...

Волынка издала старинный призыв. У меня было такое ощущение, что во мне бьется сердце людей, которые некогда жили, а теперь исчезли с этой нашей земли. Я впервые в жизни слышал эту пастушескую песню. Я слушал про овечку, которая жалобным человеческим голосом предупреждала хозяина о его смерти...

Тайно меж собою
Сговорились двое:
Только тьма настанет,
Как тебя не станет.
Ляжет тень на кручи,
Соберутся тучи
Над горой, над речкой
И заснут овечки...

Остальные стихи я слышал, как бы сквозь плотный туман, среди которого раздавался жалобный голос волынки. Я все еще прислушивался, хотя сморщившиеся мехи волынки, словно никому не нужный зверек, лежали уже у ног слепого, а он сам жадно отрывал зубами мясо от куриной ножки и заглатывал большие куски. Невидящие белки, казалось, стали еще больше в его темных глазницах. Опорожнив до конца и кружку, он затих, повернувшись к нам лицом.

И мрачный, простодушный чабан из-под Рарэу, и монах, который направлялся к святому Хараламбию, плакали, не стыдясь своих слез. Значит, и я могу без стеснения рассказывать об этом событии, когда и у меня чужие вымыслы вызвали слезы.

— Если желаете, хозяин, я могу спеть и другие песни, получше этой,— заговорил нищий.

— Если знаешь, такие, что лучше этой, так зачем же ты тогда эту пел? — прозвучал сердитый голос конюшего Ионицэ из Дрэгэнешть.

— А вот почему, братцы мои и господа,— ответил старик.— Ведь я ослеп, когда был совсем мальчонкой. Пришлось

мне покинуть родное село и пойти по людям. Случилось мне как-то зимой наткнуться на берегу Прута на огромную отару. Пригрелся я возле старых пастухов, около их огня, который никогда не потухал. Эти старые пастухи в степи, сидя у костра, и научили меня этой песне. Но они с меня взяли клятву, чтобы я ее никогда не забывал и всегда, как стану играть на волынке, перво-наперво играл эту песню.

Когда я расстался, дорогие мои братья и хозяева, с теми пастухами, перешел я на другой берег Прута, вместе со стариком нищим, к которому попал я в услуженье. Он не был настоящим слепым, но разжалобить мог хоть кого и песни пел крещеным людям такие, что те навзрыд плакали. Он хорошо умел притворяться слепым, а когда мы оставались вдвоем, он над этим только смеялся. Но господь бог прощал ему это, потому что в церковь он ходил исправно и бил поклоны перед святыми иконами. Правда, он так же кланялся и крестился, когда за околицей села собирался утащить курицу или ягненка. И потому, что и молился, и верил он истово, господь-бог всегда ему помогал. С этим старым нищим мы прошли через страну, где живут москали, и никто нас ни разу не остановил, ни старый, ни малый, потому что и у них убогих считают божьими людьми и никаких бумаг с печатями не требуют. Ходили мы, где только душе угодно: и по городам, и по селам, были на больших ярмарках, и везде православные подавали нам щедрой рукой. Из того, что бывало насобираем, оставалось у нас и на продажу или корчмарям-евреям, или бедным мастеровым. А Ерофей, так звали моего товарища, как только заведутся денежки, никогда не забывал купить восковую свечку, чтобы поставить перед иконой. Святые и рады подарочку,— сколько стоит свечка, им невдомек, а что у нас еще карбованцы имеются, откуда им знать про это. Деньги Ерофей хорошенько припрятывал в поясе. Так мы дошли до великого города Киева. Там мы перезимовали и порастратили карбованцы, что удалось скопить.

Пока мы там были, жили мы хорошо и даже прекрасно в нашем братстве нищих слепых, одни из которых и вправду были слепые, а другие и вовсе нет. Обучился я там, словно в школе какой, разным наукам, которых раньше не знал. Научился я и песни жалобные петь, и как побираться нужно. А потом как-то ночью была попойка, и в драке убили Ерофея. Тогда я убежал из Киева и стал бродить по белу свету с другими товарищами, пока не дошел до моря, где услыхал татарскую речь. Среди неверных мне тоже жилось хорошо,

пока не взяла меня тоска: как-то раз по весне так мне захотелось понюхать, как пахнет еловой смолой, что повернулся я лицом к родной Молдове, а спиной ко всем этим язычникам. Но все это время, братья мои и хозяева, я повсюду носил с собой волынку и не забывал клятвы, данной мной пастухам на берегу Прута. Вот поэтому-то вы и услыхали первой эту песню. Чтобы она мне больно нравилась, не скажу, но спеть ее надо. Ежели желаете, могу спеть и другую, и покрасивее и посмешнее.

На пути к родным местам я все спрашивал про свою деревеньку, что стояла на берегу реки Молдовы, но так и не нашел ее: опустела она, а господа да бояре перевели ее в другое место. Много лет уже прошло, все мои родные кто помер, кто погиб, Молдова при разливах размыла их могилы, а косточки разметала среди камней да по лугам. Я тогда ходил и все спрашивал про один старинный постоялый двор, который стоял во времена моего детства на столбовой дороге. Этот постоялый двор, отвечали мне православные, стоит недалеко от того места, где было сельцо Негоешть, и зовется он в наши дни подворьем Анкуцы, а люди, которые направляются в Яссы или в Роман, всегда там ночуют. Добрался я до тех мест, где еловой смолой пахло, побывал я и на том постоялом дворе. Сколько лет с той поры миновало, я даже не знаю. Но теперь вновь настало время отправиться мне в Яссы, в стольный город, и поклониться там мощам святой Параскевы во храме Трех святителей. Чувствую я, что снова мне довелось остановиться на постоялом дворе, который называют подворьем Анкуцы. Благодарю бога, что нашел я здесь доброе слово и милость к себе.

Братья мои и хозяева, когда я еще был ребенком и мог видеть своими глазами и село, которого уже нет, и кладбище, которое размыла река, слыхал я от деда моей матери доподлинную историю о чуде, которое совершила святая Параскева, к которой мы и идем с Саломией поклониться. Случилось это чудо в дальние времена, когда на этом подворье жила наша прабабка.

Тогда над Молдовским княжеством царил, как антихрист, господарь Дука. Неутолимая жажда у него была к серебру да к золоту. И стал он душить народ поборами. В те времена и поговорку придумали: «Отчего это наши хаты к земле придавило?» — «Да все из-за княжьих податей и поборов!» Слуги его рыскали на конях с копьями и факелами. Отбирали скот, отбирали колоды с пчелами, отбирали одежду, отбирали

деньги. А кому приходило в голову противиться, у того и жизнь отнимали. По всей стране шел княжеский разбой, и уберечься от него не было никакой возможности. Люди бежали в чужие края. И было так до той поры, пока как-то осенью не добрались какие-то несчастные бедняги до Ясс и не поклонились мощам святой Параскевы. Стали они жаловаться на господаря Дуку, омывая раку слезами...

После этой молитвы содрогнулась вдруг рака святой на глазах всего народа, а было это в четырнадцатый день октября месяца, в самый полдень, затмилось небо, поднялся вихрь, повалил мокрый снег, разгулялась метель. На другой день все было погребено под сугробами. Народ перепугался до ужаса.

А ночью, вместе с вихрем, прилетел на княжеский двор сам сатана и постучал когтем в окошко, давая князю знать, что пора, мол, оставлять на этом свете все награбленное добро и готовиться в путь, на котором возврата уже не бывает.

— Приспело время, светлейший князь, свести счеты и расплатиться за все, в чем сам расписался.

А дело-то в том, что князь заключил когда-то с сатаной сделку и скрепил ее подписью и печатью, чтобы он мог чинить над людьми всякое бесчинство.

Господаря Дуку аж мороз пронял в его серебряной кровати, когда он услышал эти слова. После этого он вскочил, словно его бичом обожгло, и крикнул слугам, чтобы запрягали коней в карету. Так он сбежал, прихватив с собой все, что мог, и добрался до одного села. Но там его, вместе с метелью, застигли ляшские воины, схватили они его и отобрали все денежки. И сатана там тоже был — хохочет, надрывается. Он-то и предал князя во вражеские руки. Схватили ляхи князя за шиворот и повезли с собой.

А на пути его одни сугробы да заносы, ехать нету никакой возможности, и кони от натуги пали. Тогда князь достал из-за пазухи последние три припрятанных золотых и отдал одному подлому мужичонке за плетеную кошовку да белую кобылу. В этой простой кошовке и добрался князь Дука до этого постоялого двора. Из всего богатства, что было у князя, ни одной полушки не осталось. Попросил он у старухи, которая тогда всем на подворье заправляла, милостыни — кринку молока. А та его не признала и в ответ только жаловалась, что нет у нее молока.

— Нету молока, и коровы нет, батюшка! Ничего нету,

потому что все сожрал князь Дука, провались он в преисподнюю, чтоб сожрали его там ненасытные черви адские!

Замолчал князь, понурил голову, сел в сани и уехал. Только потом люди дознались, кто это такой был. Довезли его ляхи до самой границы, но до польского короля он так и не добрался. Заблудился он с своей белой кобылой в дремучем лесу, свалился в овраг, и оказался на том свете, в аду, где все проклятые богом собираются. А история об этом чуде от одного старика к другому переходила и дошла до наших времен.

Братья мои и хозяева, все это дело прошлое. Но для вашего теперешнего удовольствия, если вы хотите и прикажете, я могу спеть другую песню!

Но тут случилось такое, чего не ожидал никто из собравшихся вокруг костра, ни рэзеши, ни купцы, ни возчики, ни простые крестьяне. Конюший Ионицэ стал кричать, что он желает слушать песню, но молодая Анкуца подошла к слепцу, взяла его за руку и сказала:

— Слыхала я от своей матери про это дело. Ну-ка повернись ко мне лицом. Уж не ты ли будешь тем, кого зовут Костандином, про которого мать сказывала, что он затерялся на белом свете.

— Я буду,— ответил старик.— Так меня и зовут.

Он улыбнулся окружавшей его ночи и стал осторожными пальцами ощупывать лицо Анкуцы.

Анкуца взяла его руку, повернула ладонью вниз и поцеловала. Потом в ту же руку она положила ему ломоть хлеба и кусок жареного мяса. Бедняга снова впился в мясо своими зубами, которые у него были словно железные.

Он будто забыл, где находится, и не промолвил больше ни слова. С великим удивлением смотрели мы на него, но с еще большим удивлением, покачивая головой при вспышках костра, смотрел конюший, и не столько на голодного нищего, сколько на волынку, которая, словно мертвый зверек, лежала у его ног, недвижная и бездыханная.

РАССКАЗ КОЛОДЕЗНИКА ЗАХАРИИ

Слепой нищий еще не кончил своего рассказа, а тетушка Саломия уже начала ерзать от нетерпения, покусывая губы и ломая пальцы. А после того как Анкуца поцеловала этому бездомному бродяге руку, оделив, кроме того, ломтем хлеба и

мясом, она и вовсе не смогла сдержаться и стала жаловаться тем, кто сидел поближе к ней:

— Вот так и живут некоторые, не зная ни забот, ни труда, хотя сами и убогие. Ходят, держась за чужую руку, потому как сами и двух шагов не могут сделать. А уж если начнут всякие байки сказывать, то все только рты разевают.

— Какие байки, тетушка Саломия? — спросил я ее.— Он только и рассказал, что несколько случаев из своей жизни и историю про господаря Дуку, которая нам известна.

— Я и сама знаю, что эта история доподлинная, не вчера ведь родилась, и наслышалась, и навидалась на своем веку достаточно. Но вы-то слыхали, как он рассказывает, как все выворачивает, как приукрашивает, чтобы люди только его и слушали? Разве черепок на что-нибудь годится? Ни на что он не годен! Просто тошно делается, когда я это слышу, а еще пуще, когда вижу.

— Тетушка Саломия, очень тебя прошу, не сердись. Разве ты не знаешь, каковы они, люди? В свое время была ты красавицей, носила жемчужное ожерелье, как говорит дед Костандин. А иначе, из-за чего же вились вокруг тебя мужчины, улыбались и всячески улещали тебя? На других женщин они и не глядели, потому что никто не мог сравниться с тобой. И люди, что собрались здесь, чтобы поразвлечься разными историями, такие же: кто краше расскажет, тому и похвал больше. Этот старик и слеп, и немощен, но зато он и рассказывать, и петь умеет, на это у него дар божий. Если ты радуешься цветочку, что он и красивый, и пахнет хорошо, то не обижайся на другой из-за того, что он невзрачный и запаха никакого не имеет,— он в этом не виноват.

— Зато он для лечения хорош! — отрезала тетушка Саломия.

— Твоя правда, он хорош для лечения, так оно и есть. Но здесь мы собрались не ради лекарского искусства. Прежде чем ты здесь появилась, другие тоже, как и этот слепой, рассказывали разные истории, от которых у меня даже кровь леденела и которые я не забуду до самой смерти. А теперь послушаем, что конюший Ионицэ расскажет. Он все сулит такое, чего никто не слыхивал.

— Это ты про тощего рэзеша говоришь?

— Про него, тетушка Саломия.

— Да я вроде бы его уже видела, и, сдается мне, что и слышала как-то раз. Он и правда кажется недюжинным

человеком. Вот я гляжу на всех, кое-кого я даже знаю, приходилось встречать здесь же, на постоялом дворе, и могу поверить, что каждый из них может поведать про разные случаи. Но какая вера может быть самому распоследнему нищему? Я его привела, я его перед всеми выставила, я сижу себе в сторонке, а ему полный почет и уважение!

— Но теперь речь не про меня,— продолжала Саломия, пронзив меня взглядом.— Вот я сижу здесь, среди вас, но гляжу я на человека, который на своем веку чего только не пережил. Пусть он расскажет чего-нибудь, тогда мы посмотрим, на что годится слепой со своими байками. Или послушаем конюшего Ионицэ, наверное, это будет занятнее.

— Тетушка Саломия,— спросил я,— что это за человек, о котором ты говоришь, будто он многое пережил на своем веку?

— Да ты его знаешь. Вот он сидит между монахом и чабаном.

— Да это же дед Захария, колодезник. Пока он тут сидит, он даже рта не раскрыл. Слепые тебе не нравятся, видать, нравятся немые.

— Не бойся, никакой он не немой. Выпить он любит, поэтому ему не до разговоров. Но если он расскажет, что с ним приключилось, ты ушам своим не поверишь!

— А что же с ним приключилось?

— Что приключилось? — вмешался и рэзеш, не зная, о чем идет речь.— С кем приключилось?

— Да вон с тем человеком, достопочтенный конюший,— ответил я,— с Захарией, колодезником. Это мне тетка Саломия поведала, что с ним приключился небывалый случай.

— Где же это?

— А пусть он сам расскажет,— предложила Саломия, и голос ее прозвучал неожиданно мягко.— Попросите его, чтобы он рассказал, что с ним случилось в лесу за рекой. Дядюшка Захария! — звонко окликнула она.

Колодезник повернул свою лохматую голову с всклоченной бородой.

— Чего? — отозвался он, словно из глубины колодца.

— Дядя Захария, почтенные гости хотели бы услышать, что приключилось с тобой в лесу за рекой, когда ты еще был парнем.

— В Пэстрэвень, значит.

— Там, там, дядя Захария, на поляне, да ты сам знаешь...

— На поляне, которая была и которой нету, потому что весь лес давно вырубили. Называли ее поляной Влэдики Сас.

— Слыхали? — произнесла Саломия, расплываясь в улыбке и отстраняя кружку, которую ей протягивал рэзеш.— Премного вам благодарна, достопочтенный конюший. Но потому как хромаю я, то вина в рот не беру. Вот ракию я пью. Могу и пирога откушать из того, что помягче, потому что не те у меня зубы стали, как раньше, и не могу я кусать все подряд, как бывало в молодости. Хороши пироги, ничего не скажешь, такие и я пекла. А теперь я, пожалуй, осмелюсь хоть губы обмочить в вине, особливо если оно не очень старое. Расскажи же, дядюшка Захария, что с тобой приключилось на поляне Влэдики Сас.

— А что там случилось? — нехотя переспросил колодезник.

— Расскажи про то, как тебя призвал к себе на двор боярин из Пэстрэвень и приказал найти воду на той поляне.

— Так, так,— подтвердил старик.— Призвал он меня и велел: «Найди мне воду и выкопай на поляне колодец. Этой осенью будет там большая княжеская охота, расположатся они на поляне отдыхать, потому и вода нужна».

Колодезник Захария умолк.

— Ну и что? — заинтересовался конюший.

— Вот и все.

— Как это все? — тряхнула головой Саломия.— Очнись, дядюшка Захария, расскажи все, как было: как ты пришел с боярином на ту поляну, как ты топал ногами по земле то в одном месте, то в другом, как высматривал приметы, ведомые только тебе. Потом ты вынул из-за пояса свой отвес, который никогда тебя не подводил, установил его на землю и стал смотреть...

— Стал я смотреть,— подхватил Захария,— а боярин этот, Димаки Мырза, тоже вроде бы смотрит на отвес, только ничего не понимает. Вот с этим самым отвесом нашел я воду на поляне Влэдики Сас.

Дед Захария вытащил с левого бока из-за широкого пояса две круглые соединенные между собой деревянные палочки, которые от старости блестели, словно специально отполиро-

ванные, и стал сматывать с них какие-то невидимые нити. При мерцающем свете костра блеснул серебряный шарик.

— Отвес этот сделан из кизилового дерева,— пояснил он.— Э-хе-хе! Кто знает, кем он сделан и когда! Достался он мне от стариков, которые тоже занимались колодезным делом. Много с его помощью нашел я ключей и вырыл колодцев. И тогда на глазах боярина Димаки Мырза я нашел воду на поляне. Вот так!

— Что же потом было?

— Да расскажи ты, человече,— вновь принялась понукать его Саломия, поворачивая лицо в сторону Захарии и хмуря брови.— Расскажи им, как топнул ты постолом и сказал: «Вот здесь, боярин, вода!» — «В этом месте?» — «В этом самом, боярин. Дай мне цыган с кирками и лопатами, распорядись привезти сюда двадцать возов камня и сложить его рядышком, выдели мне помощников, какие понадобятся, и напиши корчмарю, чтобы вина было вволю, а потом, глядишь, много времени не пройдет, как я позову тебя сюда с хрустальным бокалом, чтобы ты испил слезы земли».

— Все так и было,— подтвердил Захария.

— После этого боярин и говорит: «Быть по-твоему, копай мне колодец!» Пошел он с колодезником во двор и кликнул писаря, чтобы тот принес гусиное перо. Когда принесли гусиное перо, он потребовал чернил, столик и лист бумаги. Написал он корчмарю записку, которую просил у него Захария. А потом вызвал слуг и распорядился, чего каждому делать, сколько цыган отрядить землю копать, сколько человек послать камень возить, что нужно приготовить, чтобы мастер мог колодец выложить. Слуги все выслушали, поклонились до земли и стали пятиться задом, чтобы разбежаться в разные стороны выполнять приказания.

— Все так и было,— подтвердил Захария.— Боярин только прикрикнул на них: «Цыц!» — такая уж у него привычка была, и хмуро так посмотрел. Слуги в страхе божьем. разбежались, кто куда.

— Разбежались они,— подхватила Саломия,— а потом все сошлись в одном месте и в один час. Цыгане принялись кирками да лопатами землю копать, возчики возить камень и складывать его на лугу, а дядюшка Захария устроил подстилку из листьев, полеживает себе, смотрит на них да из кружки прихлебывает.

— Дрожжевую ракию из Котнарь,— уточнил колодезник.

— Верно, верно. Лежит он себе в шалашике на подстилке, а цыгане кирками и лопатами сначала землю черную выкопали, потом стали глину наверх выбрасывать, потом дошли до песка и мелкого камня. А вот, когда земля размокшая пошла, тут Захария встал и подошел к краю ямы и сказал: «Эй, цыгане, если вам пить хочется, то погодите немного, скоро появится вода».

Как он сказал, так и случилось на том самом месте, где отвес указал. Появилась вода, люди добрые, а цыгане стали копать дальше, поднимая бадьями наверх жидкую грязь. Копали так, что пот с лица вытирать не успевали. И все спрашивали: «Много еще осталось, мастер Захария? А то, глядишь, дыру на тот свет прокопаем».— «Копайте, копайте! — отвечал им колодезник.— Пока не скажу: хватит».

Так оно и было. Встал он в один прекрасный день и сказал: «Довольно! Теперь выложим края, заложим добрые подпорки и примемся возводить стены».

Так они и сделали. Спустился он в колодец вместе с каменщиками и стал выкладывать стены. А когда над поляной закружились желтые листья, приехал боярин с хрустальным стаканом отведать, какова вода, как и приглашал его Захария.

— Так все и было! — подтвердил старый колодезник.— Боярин Димаки сказал: «Цыц! Добрая вода, Захария!» И правда, вода была добрая. Но только вино я пью с большим удовольствием, вино мне куда больше на пользу.

— Ну, а что потом? — спросил конюший.

— А потом ничего. Делу конец. Колодец я выкопал, и живите себе с миром.

— Погоди, дядюшка Захария, не все уж так просто,— усмехнулась Саломия.— Уж лучше я все расскажу этим людям, что ты там видел, что с тобой было. Уж лучше я за тебя похвалюсь. Так вот, после того как покончили они с колодцем, приехал из стольного города гонец от господаря, чтобы известить о княжеской охоте. Прискакал гонец, боярин Димаки вновь сзывает всех слуг и распоряжается, чтобы расчистить на поляне место и поставить шалаши для княжеской охотничьей свиты. А когда господарь сойдет с коня, то Захария должен подать ему в кувшине воды, а из кувшина налить ее в стакан, а рядом должен стоять цыган с подносом, а на нем блюдце с вареньем и серебряная ложечка.

Все так и сладили. Вот и приехал в Пэстрэвень господарь с преогромной свитой.

— Господарь Калимах,— заметил колодезник.— Борода у него длинная-длинная... Он все ее пальцами расчесывал.

— Приехал господарь с огромной свитой, и вышел ему навстречу боярин Димаки с женой и с дочкой, потому как у него дочка была тоненькая и красивая. Поклонились они князю, поцеловали ему руку, а девушка все вздыхает и плачет.

— Что случилось? — спрашивает тогда его величество князь Калимах.— Почему эта девица вздыхает?

— От великой робости, ваше величество,— отвечает боярин, а сам брови нахмурил и волком глянул на дочку. А с девушкой той...

— Аглэицей,— подсказал Захария.

— А с девушкой той, Аглэицей, ничего не случилось, просто она влюбилась в одного парня, сына однодворца из Рэзбоень. Звали его Илиеш Урсаки. Боярин Димаки Мырза прикрикнул на него: «Цыц! Сгинь с моих глаз, подлец, и так девке голову заморочил!» И вот теперь девушка все плакала, потеряв надежду на любовь. Боярин больно схватил ее за плечо и затолкал обратно в комнату, чтобы не портила празднества и чтобы князь не прознал про такой позор.

Повернувшись опять к бороде его величества, боярин снова предстал лицом чист и весел. Тут он велел призвать лесников, чтобы они при господаре поведали, какие косули и кабаны водятся в известных им чащобах и оврагах.

После этого был устроен большой пир, но господарь соизволил отойти спать пораньше, чтобы встать на рассвете. И правда, первым на коня сел господарь, а боярин Димаки был рядом с ним, распоряжаясь охотниками и загонщиками. Поехали они в лес. Чтобы не пропустить ни густых зарослей, ни овражка, люди растянулись цепью, улюлюкали и в рога трубили. А Захария в это время торопился к своему колодцу.

— Так оно и было! — подтвердил колодезник.

— По дороге к колодцу увидел он на тропинке дочку боярина Димаки: бежит она, ничего не видя, между деревьями, голову ладонями сжала и плачет.

— Целую ручку, боярышня Аглэица,— поздоровался с ней Захария.— С чего ты плачешь, отчего рыдаешь, словно по покойнику?

— Ой, Захария! — воскликнула она, остановившись.— Как мне не плакать, Захария, если я поклялась умереть? Преклонила я колени перед иконой божьей матери, молила ее о чуде, чтобы умягчила она каменные сердца. Поняв, что и князю я не могу пасть в ноги, чтобы рассказать ему все, и что все меня покинули, даже родная матушка, решила я своим умом и сердцем, что ничего мне не осталось, как только порешить свою жизнь. Я, Захария, без Илиеша Урсаки жить не могу. Так что бегу я, чтобы броситься в колодец. Когда приедет светлейший князь и захочет испить водицы, ты не сможешь его угостить, а скажешь: «Светлейший господарь, так, мол, и так, бросилась в колодец боярская дочка».

— Разве сможешь ты совершить, боярышня Аглэица, такое богопротивное дело?

— Смогу, Захария,— отвечает ему девушка.— Перво-наперво я послала свою служанку к Илиешу, чтобы он пришел сюда и провели мы с ним мой последний час беззаботно, как настоящие любовники. А потом уж я брошусь в колодец.

— Но он тебе не позволит этого, боярышня Аглэица. Я же знаю, что он парень достойный. Уж лучше пусть он украдет тебя и увезет с собой.

— Тогда я не буду бросаться в колодец, Захария,— ответила девушка и улыбнулась.

— Не бросайся, боярышня. Лучше послушайся меня. После того, как встретишь ты своего возлюбленного, приходите ко мне к колодцу, и я вас спрячу в большом шалаше из листвы, который приготовлен для князя. В полдень вся княжеская охота будет отдыхать и соберется здесь, на поляне Влэдики Сас. Я поднесу князю кувшин и стакан, а цыган поднос с вареньем и ложечку. После того, как князь похвалит: «Кхе-кхе! Добрая водица! Отличная вода!» — я сделаю шаг в сторону, а он войдет в шалаш. Там он и увидит, как вы стоите на коленях, склонив головы и просите у него прощения... Тогда его величество возьмет вас за руки, прикажет встать, потом возложит свои длани вам на головы и кликнет боярина, чтобы он пришел и обнял своих детей.

Я думаю, боярышня, что так будет лучше. Иначе и быть не может, как я полагаю, так все и должно случиться.

В первую очередь потому, что люди должны прощать влюбленных. Тут уж ничего не поделаешь!

Захария стал смеяться в свою всклокоченную бороду. Казалось, что рассказанная история поразила его больше, чем всех остальных. Не переставая смеяться, он вытянул шею, поднял голову и выпучил глаза, словно ждал: а что же будет дальше. Знать-то он знал, но звучит история лучше, когда ее рассказывает кто-то другой.

— Гм! — пробормотал он.— Сдается мне, что и впрямь ничего с ними не смогли поделать.

— Куда тут деваться! — подхватила тетушка Саломия и, осмелев, подцепила двумя пальцами еще одну ватрушку.— Спряталась влюбленная пара в чащобе и навострила уши, словно дикие звери, прислушиваясь к крикам загонщиков и рогам егерей. Потом они пробрались к колодцу, и Захария спрятал их в шалаше. А в это время князь уже знал от одного из своих преданных бояр, почему девушка проливала слезы, целуя ему руку. Ведь шила в мешке не утаишь! Так вот, отведав варенья из горькой черешни и выпив стакан воды, князь прочистил горло: ха-ха! — и расчесал бороду пальцами. Улыбнувшись, он повернулся к придворным и к простому люду, что запрудил поляну, словно разыскивая кого-то.

— А где же мой верный Димаки Мырза? — спросил князь.

— Здесь я, ваше величество.

— Хотел бы я знать, чем ты опечален, боярин, почему ты не находишь себе места? Великим бы удовольствием для меня было, мой верный слуга, если бы за нашим охотничьим столом дочка твоей светлости... как ее зовут?

— Аглэица, ваше величество.

— ...если бы дочка твоей светлости Аглэица поднесла бы серебряный кубок старого вина своему господарю.

Боярин очень перепугался, потому что жена его успела ему сообщить, что дочка их сбежала из родительского дома, решив покончить с собой.

— Ваше величество,— набрался он смелости,— не ко времени это. Стол уже накрыт, да и охота ждет.

— Я бы хотел знать, где находится сейчас твоя дочь,— усмехнулся князь.

Тут колодезник Захария, проявив небывалую отвагу, как и должно быть на княжеской охоте, вынул из-за пояса отвес, который вы уже видели, зажал его руками и держит непод-

вижно. А серебряный шарик, словно огонек, метнулся в сторону. Никто не понимает, что это значит. И боярин не знает, что ему отвечать своему господарю.

— Это Захария, твой колодезник? — спросил князь, поджимая губы и глядя свысока.

— Да, ваше величество.

— Чего же он хочет?

— Не знаю, ваше величество.

Князь нахмурился и спросил Захарию:

— Чего тебе надобно, отвечай!

Захария не осмелился ответить, но, следуя указанию своего отвеса, распахнул дверь в княжеский шалаш. Тут господарь увидел коленопреклоненную пару, как они ждут, опустив книзу головы.

Никто не понимал, как это все случилось, но больше всех удивлялся князь мудрости отвеса. Ну, а потом в стольном граде, в Яссах, князь и княгиня стали этим молодым посажеными отцом и матерью. Все помирились, развеселились и сразу после охоты справили свадьбу. На пути в стольный город первый пир был здесь, на постоялом дворе Анкуцы.

— Гм! — буркнул Захария, качая головой и закрыв рот, словно подтверждая.— Так оно и было.

— Я же вам говорила,— закончила старуха,— что этот колодезник пережил и повидал такое, что не каждому удается.

— Что правда, то правда. Прекрасную историю поведал нам Захария,— подтвердил конюший Ионицэ из Дрэгэнешть.— Но другие тоже знают прекрасные и чудесные истории еще похлеще. Но и его хороша. Тут ты права.

На лице конюшего застыла улыбка, и сам он, слегка покачиваясь, глядел на нас затуманенным взором. Час был поздний, и Большая Медведица стала уже спускаться к горизонту. Костер потух. Почти все собравшиеся поставили свои кружки на землю, сон смыкал им глаза.

Из-за постоялого двора вдруг послышалось ржанье тощей кобылы рэзеша. Лошадь словно вскрикнула, так что я, испугавшись, даже вскочил с места. Тетушка Саломия, усмехнувшись, шепнула:

— Недобрый этот час. Все ночные приметы мне ведомы, особливо те, когда нечистый начинает бродить. Вот и лошадь его почуяла и знак подала.

Казалось, весь постоялый двор почувствовал нечистую силу: вдоль стен словно пробежала дрожь, где-то внутри хлопнула дверь. Все, сидевшие у костра, замолчали, но, глядя друг на друга, уже не различали лиц.

Тетушка Саломия трижды плюнула в золу: тьфу! тьфу! тьфу! — и перекрестилась. Только тогда мы почувствовали, что проходит наше оцепенение. Нечистая сила словно растворилась в глубокой воде и пустынном лесу, потому что мы ее больше не ощущали. Но, разбредаясь по укромным местам и готовясь ко сну, все мы еле двигались и чувствовали себя так, словно целый день тяжко трудились. Кое-кто заснул там, где сидел. Даже сам конюший Ионицэ, обняв и расцеловав капитана Никулае, совсем забыл, что обещал нам рассказать историю, какой никто из нас еще не слыхал.

1928

МИТРЯ КОКОР

Глава первая

КАК ОСТАЛСЯ СИРОТОЙ МИТРЯ КОКОР ИЗ МАЛУ СУРПАТ

На краю пустоши над рекою Лисой поселились крестьяне,— давно это было, тому уже лет сто. Назвали они село «Малу Сурпат» [1], потому что Лиса прорыла там обрывистое русло и в бурное половодье обваливала крестьянскую землю, подмывая берег, на котором стояло село.

А пустошь мужики назвали «Дрофы».

Они говорили:

— Там у барина самая лучшая пшеница растет.

Часто со стороны степи в вышине плыли по ветру стаи тех птиц, от которых получила она свое название.

— Ну, какая это пустыня? Сколько сел можно бы понастроить; да старый Мавромати оставил сыновьям заклятье — никому не позволять там селиться. Дрофы — это золотое дно, да все богатство гребут господа, а мы живем в тесноте, гнием в бедности.

Летом выезжали крестьяне в поля, перебираясь через Лису по хлипкому мостику, висевшему между обрывистыми берегами. Приближаясь к Воловьему колодцу, уже можно было почувствовать запах спелой пшеницы, доносившийся из Дроф.

— Как хлебушка белого хочется,— скажет, бывало, кто-нибудь.

Остальные смеются. Однажды кто-то посулил:

— Подожди, запашем мы пустошь, когда наступит второе пришествие!

Слова эти, еще неясные ему, услышал Митря Кокор, когда было ему лишь одиннадцать лет от роду. Засмеялся и он.

[1] Обвалившийся берег *(рум.)*.

— А ты чего смеешься? — спросила мать, обминая поудобнее солому рядом с ним в телеге.

— Да просто так смеюсь.

— Когда не понимаешь, нечего скалиться.

— А я понимаю.

Отец правил парой караковых лошадей. Он повернул голову и ухмыльнулся:

— Митря башковитый, надо его в ученье отдать.

— По зубам ему лучше дать, чтоб не встревал, когда старшие говорят.— И она хлопнула его по губам. Митря проглотил слезы и замолк.

— Больше ничего не скажешь?

Митря упрямо наклонил голову и отвел в сторону черные злые глаза.

Женщина снова ударила его.

— Что ты бьешь его, Агапия? — опять обернулся отец.

— А ты смотри, как он глядит на меня, сущий разбойник.

— Агапия, оставь парнишку.

— Не оставлю! Ты, Иордан, не мешайся, я над ним хозяйка. Попробует еще разок так на меня посмотреть — шкуру спущу. Такими глазами и ты поглядывал когда-то, да я тебя обломала. Обломаю и Митрю.

Мужики из Малу Сурпата, щедрые на всякие прозвища, Агапию Лунгу звали Скурта[1], потому что эта приземистая сварливая толстуха была Иордану только по плечо. А Иордана, из рода Лунгу, прозвали Кокор[2] за длинный с горбинкою нос и за то, что ходил Иордан ссутулившись. Был он человек добрый и тихий. Жена допекала его, помыкала им и в будни и праздники. Даже на стул взбиралась, чтобы поближе пялить на него глаза. Он давно смирился, но Митря, с виду вылитый отец, унаследовал норов матери. В примэрии[3] его записали по отцовскому прозвищу, так что звался он не Митря Лунгу, а Митря Кокор. А еще унаследовал он от отца привычку мрачно молчать и поглядывать на всех искоса. Иордан любил его, но Агапия измывалась над Митрей. Она говаривала:

— Лучше бы мне его жеребенком родить, чтобы волки его заели.

«Агапия» по-гречески означает любовь. Но от ее материнской любви Митря порою готов был бежать куда глаза глядят, лишь бы домой никогда не возвращаться.

---

[1] Коротышка (*рум.*).

[2] Журавль (*рум.*).

[3] Сельское управление, городская управа (*рум.*).

Агапия любила старшего сына. Он во всем походил на нее. Был он низкоросл и толст — даже в солдаты его не взяли. Зато уж по части обмана и темных делишек — прямо мастак. Вступил он в товарищество с одним купцом, потом отделился от него и на том краю села, что подальше от Лисы, сам открыл мельницу с бензиновым двигателем. Этого низенького, жирного, пухлого мельника так и звали Гицэ Лунгу[1]. Другого прозвания ему не дали. Фамилия мельника звучала самою злою насмешкой над ним.

С пятнадцати лет, с тех пор как Агапия Скурту вышла замуж, у нее рождались и рождались дети. Каждые два года по ребенку. Но в живых остались только эти двое. Первенца Гицэ она кормила грудью три месяца. Хотя Агапия очень любила его, но после трех месяцев отняла от груди, и не будь мягкосердной свекрови Констандии, которая пристроила его к козе, отправился бы и Гицэ туда, откуда не возвращаются. Поступила так Агапия не со зла, а потому, что была еще девчонкой. Бабки на селе жалели Агапию за то, что отец, дядюшка Маноле, выдал ее замуж слишком рано. Корчмарь Маноле нежданно потерял жену: ее раздавило бочкой, и тут наступила и для него пора, как он говорил, обзавестись другой женой. Вот он и взял вдову из Адынкаты, а Агапию уже не мог держать при себе. Иордан Лунгу тоже был еще мальчишкой, но родители его позарились на невестину землю. Сделку совершили на скорую руку, и Иордан оказался хозяином в доме своей жены, еще не отбыв солдатчины. Ему бы и забрили лоб в рекрутском присутствии, не выкупи его корчмарь. Но и дома оставаться было несладко — Агапия задавала ему такого перца, что так и першило у него в глотке.

Другие шестеро ребятишек, которых даровала миру дочь Маноле, все перемерли,— кто от лихорадки, кто от чирьев, кто от родимчика, кто от макового отвара,— кому как «на роду было написано». Агапия и совсем не кормила их грудью. Старухи учили ее эти утраты не принимать близко к сердцу.

Восьмым был Митря. Этот выжил. Он одолел и пустышку с жеваным хлебом, и мак, и лихорадку, и ветрянку. Не ошпарился он, когда опрокинулась бадья с кипятком. Не сожрали его и свиньи, когда наткнулись на него за хатой в корытце, где он шевелил, словно жучок, ножонками и ручонками и лопотал что-то по-своему. Не погиб он ни от варева из незрелых плодов, ни от конского навоза, что пихали

---

[1] Длинный (*рум.*).

ему в рот деревенские бабки, когда болел он коклюшем. Наперекор всему остался он в этом грешном мире.

Митря рос высоким, в отца. У него был ястребиный нос, глаза быстрые, черные, словно две ласточки. Отец любил его, узнавая в подростке самого себя. Агапия же не выносила мальчика. Стоило ему появиться, как она находила предлог, чтобы огреть его палкой. Митря скоро научился спасаться от нее. У него были длинные и быстрые ноги, и он удирал с дьявольским смехом, оборачивая к ней на бегу свою лохматую голову. Мать всюду подстерегала его, в особенности когда он прокрадывался в сад позади дома, к поспевающим вишням и сливам.

— Скачи, скачи через заборы, цапля этакая! — кричала она ему.— Вот погоди, напорешься на кол.

Он скрывался в зарослях и пролезал сквозь дыры в заборе, она вслед ему прыгала через изгородь и гналась за ним до самой улицы. Митря останавливался только на берегу реки и удивлялся, почему мать сама не боится наткнуться на кол, как сулила ему.

«Напорется когда-нибудь,— думал он усмехаясь,— вот и избавлюсь от нее».

Когда, голодный, Митря возвращался вечером, Агапия палкой выбивала из него пыль и потом совала под нос плошку с едой. Напрасно ребенок жаловался Иордану. Усталому человеку, только что пришедшему с поля, разморенному летним зноем, хотелось только одного — отдохнуть. Он молчал. А ребенок все думал, как бы украсть денег на коробок спичек, и поджечь дом, когда мать будет сидеть одна за прялкой.

Тяжелее всего было зимою. В трубе завывала вьюга. Митря хныкал в темноте, лежа на обрывке циновки. Иногда поздно ночью, когда было совсем темно, кто-то накрывал его одеялом. Митря чувствовал это.

«Это, наверно, тятька,— думал он.— Нет, не тятька, тот ступал бы тяжелее».

— Может, это ангел приходил? — сказал он как-то вслух.

Мать подняла его на смех.

— Какой ангел придет к такому дьяволу, как ты?

Однажды он попросил Иордана:

— Тятька, теперь зимой я все больше баклуши бью. Летом то гуси, то поросята, то козы, то в корчму беги, то к батюшке, то пригони корову с пастбища. А зимой дел меньше. Я бы, тятька, в школу пошел. Мне господин учитель говорит,

я — как пшеница в бурьяне. А вот если буду учиться, то это словно пшеницу прополют. На святых апостолов мне ведь тринадцать сравняется.

— Слышь, как меньшой говорит! — удивился Иордан.

Агапия, подслушав все под дверью, налетела на них, меча глазами молнии.

— Слышала. А сам ты, Иордан, учился грамоте? А я! На что мне эта пакость? И Гицэ не давала ротозейничать. Есть у нас другие дела, и дом, слава богу, полная чаша. Пусть твой последыш возьмется за ум, а коли нет, то как стукну его по башке — так и всажу ее аж до самого брюха. Коли думает, что зимой делать нечего, найду ему дело. Я ему покажу,— допросится плешивый ермолки с жемчугами.

А меньшой не осмелился слово вымолвить, хоть много у него и накипело. Ему так и хотелось крикнуть: «Не матка, а чума!» — но он зажал себе рот ладонью. Она же долго смотрела на него и зло улыбалась,— верно, поняла его.

Прошло и это все. Прошла зима, потом весенний разлив Лисы. Крестьяне выехали пахать. Митря взялся за ручку плуга и ходил, согнувшись, по борозде. Он гладил по голове уставших лошадей и разговаривал с ними. Позже с отцом и матерью ходил он окучивать кукурузу. Дома смотреть за хозяйством нанимали старуху.

Дул теплый ветерок, сияло солнце. Мать больше не задевала Митрю ни единым словом. Казалось, она не замечает его. Все это тоже прошло. На праздник Петра и Павла поехали Иордан с Агапией на телеге в город купить кое-чего.

Мать наказывала Митре:

— Смотри, сиди дома. Приглядывай за всем. Слушай, что тебе говорю, а то прокляну. Коль мать проклянет, праха твоего не соберут.

Накануне лил дождь, и Лиса катила мутные волны. Дождь лил и всю ночь. Утром на несколько часов прояснилось, пока крестьяне добирались до города. Потом снова заклубились облака, и опять на целый день зарядил дождь. Митря сидел один и смотрел в серую даль. По дороге шли люди, покрыв головы мешками, и рассказывали друг другу, как вздулась река.

— Только бы не снесло мост,— сказал кто-то,— а то отрежет нас от полей.

Беда случилась сразу же после обеда. По мосту торопливо ехали несколько телег, возвращаясь из города. В устои моста колотились волны и большие бревна, принесенные потоком.

Шаткий мост скрипел по всем швам. Люди в телегах хлестали лошадей, спеша добраться до берега. Три телеги проскочили, а телега Иордана и Агапии отстала.

— Погоняй! — завопила женщина.

Иордан подхлестнул лошадей. Они рванулись, но тут же мост рассыпался, словно игрушечный. Бревна, люди, телега, лошади — все смешалось. Крестьяне, те, что успели выбраться на берег, в ужасе закричали, выскочили из телег и бросились к обрыву. Прибежали и другие; кто-то тащил багор, отчаянно им размахивая, словно хотел проткнуть низко нависшее небо.

Утонувших вытащили. Голова Иордана была разбита, вся в крови. Его опустили на высокий берег и рядом положили жену. У Агапии были переломаны ноги, она едва дышала.

Вдруг веки ее приподнялись, и она неожиданно увидела возле себя Митрю. Мальчик, широко открыв от ужаса глаза, дрожал, лязгая зубами.

Агапия, казалось, что-то шептала ему. Он наклонился к ней и разрыдался.

Мать сунула левую руку за пазуху и вытащила сладкий пряник в виде сердца. Пшенично-медовое сердце, украшенное красным сахаром, казалось окровавленным. Все произошло в одно мгновение. Агапия умерла, и на лице ее застыла гримаса, похожая на улыбку. Рядом с нею Иордан черными остекленевшими глазами уставился в беспощадное небо.

Глава вторая

ЗДЕСЬ МЫ ЗНАКОМИМСЯ С ГИЦЭ-МЕЛЬНИКОМ

Мельнику Гицэ было немногим более тридцати лет, но казался он гораздо старше. «От забот и огорчений»,— жаловался он.

Безбородый и с воспаленными веками, был он низкоросл и заплыл жиром. Нос его от цуйки[1] преждевременно покраснел. Гицэ любил выпить и пил аккуратно, по четвертинке каждое утро. «В мельничной пыли,— говорил он,— нельзя без капли горючего, а то зачихаю и я, словно мотор».

Жена Гицэ, белесая и веснушчатая Станка, была чуть повыше его. Он скажет слово — она десять. Уже на похоронах родителей она косо посматривала на своего деверя Митрю;

---

[1] Сливовая водка (*рум.*).

потом она все поворачивалась к Гицэ и что-то вдалбливала ему в ухо своим клювом. Глаза у нее были студенистые, рыбьи. Митря, заметив, что она сразу же его невзлюбила, про себя обругал ее.

Поминки справляли в родительском доме. Соседи пили и ели. Митря так и не нашел себе за столом места. Когда он, подцепив со стола какой-то кусок, укрылся в сторонке, чтобы незаметно проглотить его, Станка тут же отыскала мальчика своими белесыми глазами и сморщила нос.

«С этой жизнь будет еще труднее»,— подумал Митря.

Священник прочитал молитву, потом начал рассказывать людям про ад и про рай. Кто, мол, добр на этом свете, тот попадет в лоно Авраамово. Кто зол, тот осужден попасть в ад, чтоб мучили его черти веки вечные. Только дарами и молитвами можно заслужить милосердие божие. Да раскается грешник, да смирится непокорный.

«И в раю места за деньги продаются»,— с усмешкой подумал Митря.

— Видел ты, как ухмылялся этот поганец,— сказала Станка, надвигаясь на мельника лбом, словно боднуть его хотела.— Батюшка про святое рассказывает, а чертенок обгладывает кость, калачом закусывает да зубы скалит. Попадешь ты, Митря, к самому сатане в лапы.

— А я себе проездной билет в рай куплю.

— На какие же это деньги?

— Твоя правда. Туда только богатеи на самолете полетят. Ну, коли нельзя мне в рай, пойду туда, куда ты меня посылаешь. Там, говорят, и музыканты есть и выпивка каждую неделю.

Невестка всплеснула руками:

— Слышишь, Гицэ, что он говорит?

— Слышу. Да что он про это знает? — И вдруг окрысился, топнув ногой.— Знаешь ты иль не знаешь?

— Не знаю, я ведь там не бывал. Вы вот, видно, были и знаете.

— Да и мы не были, умник ты этакий.

— Тогда откуда про рай знаете?

— Ну, с ним не столкуешься, Гицэ! — закричала Станка.

— Ты ему слово, а он тебе снова. Ты ему — белое, а он тебе — черное.

— Я говорю — брито, а ты — стрижено,— пробормотал Митря.

— Так-то ты мне отвечаешь, сопляк?

— С горя я, ведь сиротой остался.

— Вон как ты разговариваешь, щенок, а еще хочешь, чтобы я тебя обмывала, одевала да кормила? У меня своих хватает, не нужен ты мне. У нас дочки тебе ровесницы, не могу я тебя к ним взять. Еще сестренка моя младшая. И без тебя за столом тесно.

Митря вздохнул.

— Послушай-ка,— заговорил мельник, потирая нос.— Жалко мне тебя, все-таки брат родной. Ты, жена, молчи, слушай мое решенье.

— Хорошего решенья послушаюсь, а нехорошего — не буду.

— Нет, будешь слушаться!

Мельник топнул ногой.

— Ладно, Гицэ. Ты знаешь, я из твоей воли не выхожу, только делай по-моему.

— Сделаю как лучше.

— Верю.

— Сделаю по совести, а ты помолчи.

— Молчу. Когда муж говорит, жена да убоится. Постой, Гицэ, ведь я еще не все сказала. Теснимся мы в домишке при мельнице, а нам бы что-нибудь попросторней надо. Жить там больше невозможно. Переедем-ка в родительский дом. Здесь и стойла хорошие. И сад. Все жаловалась бедная свекровушка Агапия, что дармоед этот черешни да сливы у нее пообрывал.

— Замолчишь ты или нет? — осмелел после цуйки мельник.— Сам я так, стало быть, обмозговал, совета у тебя не спрашивал. Значит, мы сюда переезжаем — вот мое решенье. На мельницу его не можем принять — нам чересчур тесно будет. Сюда принять не можем, потому сами переедем. Посмотрим, стало быть, что делать.

Митря мрачно взглянул на него и решительно сказал:

— А ведь есть и моя доля родительской земли.

— Хе-хе! — засмеялся мельник.— Доля, верно, твоя, да что ты с ней сделаешь? Нет у тебя ничего, чтобы землю обрабатывать, да и сам ты еще мал. Вот отбудешь солдатчину, получишь свою долю. А до той поры я, стало быть, на ней сам работать буду.

— Но ведь земля, что мне полагается, урожай дает. Значит, и в нем моя доля есть.

— Вижу, считать ты умеешь.

— Не умею. Но из той доли, что мне полагается, я бы мог на ученье деньги брать.

Станка вскочила как ошпаренная.



— Да парень разорить нас хочет!

— Погоди, погоди. Молчи, жена. Дай я скажу.

Он повернулся к мальчику.

— Слушай ты, бестолковый! И отец грамотеем не был, и меня в школу не отдавали, а он был честным хозяином, да и я, стало быть, не хуже. Откуда взять еду, питье, одежу, книжки и всякое другое, что для школы надобно?

— Так что же мне делать? По дорогам побираться?

— Эй, братишка, не смотри волком, есть у тебя такая привычка, как, бывало, и бедная матушка говаривала. Слушайся меня, ведь я старший брат и хозяин. Я подумаю, там посмотрим.

Митря замолчал и заплакал. Слезы текли двумя ручьями и капали на рубашку.

Он рывком уткнулся лицом в стену, шмыгнул носом и проглотил рыданья. Затем обернулся и глянул исподлобья.

— Жалко мне тебя, бедненький! — вздохнула женщина.

Он злобно проскрежетал.

— Значит, из-за брата быть мне разбойником на большой дороге!

— Ах, вот ты как! — накинулся на него мельник.— Погоди, я тебе покажу! Сдеру с тебя шкуру! — яростно орал Гицэ, дергая себя за волосы и злобно выпучив глаза.

Мальчик выскочил за порог и заложил за собой щеколду. Гицэ стукнулся лбом о дверь, словно баран.

— Подлая твоя душа! На куски разорву! Граблями собирать будут!

Он рванул дверь, так что она грохнула об стенку. Пригнув голову, Гицэ бросился вперед. Бежал он тяжело дыша, потирая левой рукой шишку, вскочившую от удара. В правой была прихваченная в сенях палка. Рядом никого не было, чтобы удержать его — все уже разошлись.

Митря стоял на дворе у навеса возле лошадей. Длинными железными вилами он подгребал свежескошенную траву. Когда показался запыхавшийся Гицэ, он бросил работу, чуть поднял вилы и в упор посмотрел на него с притворным удивленьем.

Мельник остановился, храпя, как взнузданный жеребец. Он смерил Митрю с головы до ног, потом с ног до головы, посмотрел на блестящие вилы. Конечно, мальчишка был сильней его — широкогрудый и плечистый.

— Бросим, братишка, шутки да глупости,— пробормотал он уже другим голосом. Потом ухмыльнулся, обнажив черные зубы.

Растрепав на бегу волосы, выскочила на двор и Станка. Она сразу же вцепилась в палку, которую держал муж.

— Гицэ, Гицэ,— завопила она,— оставь мальчишку в покое, прости ему.

— Ладно... Только пусть он меня больше не злит,— забубнил мельник.— У меня больное сердце, печень больная, и, когда меня донимают, вся желчь у меня разливается.

— Пускай Митря живет здесь, пока все наладится,— просила жена,— пускай присматривает за скотиной и за птицей. Я буду ему с мельницы еду посылать — вот и довольно с него. Ведь правда, Митря?

Митря молчал, не спуская с них глаз. Тут и Станку пронял страх. Она шепнула:

— Что делать, Гицэ?

— Поглядим,— пробормотал мельник.— Справлю ему сапоги и одежу. Пойду поговорю с господином Кристей, чтобы взял его работать в именье.

Мальчик кивнул головой. Гицэ сипло засмеялся:

— Ну что, так будет хорошо?

— Хорошо.

Возвращаясь домой, Гицэ сказал жене:

— Избавимся от него. Сдам его старому черту, туда, в именье. Боярин Кристя пристрелит его из ружья.

— И напугалась же я,— заохала Станка.

— Чего пугаться? Видела, чем его можно взять? Он так же прост, как и отец, а горяч — не хуже матери. Теперь я знаю, какая нужна бычку веревочка. Наобещаю ему с три короба. Одену его. Заключим с барином контракт на пять лет. Промается парень там лет пять, а тут его, понимаешь, и в солдаты заберут. Уж тогда — точка.

Станка забормотала, крестясь:

— Дай, господи, избавиться от него. Матерь пречистая, спаси нас от лукавого.

Глава третья

МЫ ЗНАКОМИМСЯ И С ХОЗЯИНОМ ПУСТОШИ ДРОФЫ — БОЯРИНОМ КРИСТЕЙ ТРЕХНОСЫМ

Усадьба Хаджиу была расположена в четырех километрах от Малу Сурпат, среди редких старых акаций, на холме, раскинувшемся у края пустоши Дрофы — пустоши, потому что не

селился на этой земле ни один крестьянин. Только дикие звери рыскали по равнине, присоединяя свой вой и рев к завываниям ветра, да в воздухе плавно кружились орлы-стервятники, высматривая падаль поблизости от коровьих стад и овечьих отар. На всю степь только и было что три глубоких колодца с журавлями, один от другого на большом расстоянии, да еще ручей, похожий больше на болотистую низинку. После пятнадцатого декабря зима выпускала здесь на свободу дикий табун метелей. Весна выступала раньше времени. Расцветали цветы и быстро увядали. В разгар лета под белесоватым небом стояла немилосердная жара. Между хлебами время от времени появлялся, словно вырастал из-под земли, всадник — господский приказчик. По укромным местам бродили осторожные дрофы. На юге поднималось марево.

Старый помещик Мавромати, вооружившись подзорной трубой, имел обыкновение рассматривать с вышки усадьбы свое богатое поместье. Особенно внимательно смотрел он во время пахоты и жатвы. Иногда что-нибудь ему не нравилось, тогда он вздрагивал, как змеей ужаленный, бросал подзорную трубу и кричал:

— Вот я пойду к ним! Покажу этим голодранцам, как надо господскую землю обрабатывать. Я плачу деньги за жатву и молотьбу, а не за то, чтоб они в Адынкате угрей ловили. Вот пойду и пальну в них из ружья.

Никуда он не шел. Не под силу ему это было: он едва передвигал ноги.

Так же, бывало, обрушивался Мавромати и на своих сыновей за то, что они сорили золотом за границей. Он и им угрожал ружьем в ответ на бесконечные письменные просьбы о деньгах и опять о деньгах. Даже несколько раз в луну стрелял, но все напрасно: сыновья как уехали, так больше не возвращались.

Нынешний владелец имения, Кристя, купил поместье у наследников старика. Он их даже и не видел. Купчая была совершена их поверенным, и Кристя через банк выслал деньги в Париж, все равно что на луну. Об этих барчуках-наследниках больше никто и не слыхал. Жили они, пока не промотали то, что получили за землю в Дрофах, политую потом и кровью тружеников.

Всем, что было в Хаджиу, стал пользоваться Кристя — и вышкой и подзорной трубой. Но он-то не шутки шутил, когда угрожал ружьем. Он и вправду заряжал его мелкой дробью или солью.

Кристя был жесток и неутомим. Взгромоздившись на беговые дрожки, разъезжал он по своему поместью, имея всегда при себе ружье. Возил его размашистой рысью вороной жеребец. Еще издалека Кристя начинал орать и угрожать хриплым голосом, выбрасывая вверх руки, будто поршень. Был он уродливым и старым, безбородым и жирным. Из-за того, что между щек торчала у него какая-то картошка нелепой формы, люди из Малу Сурпат прозвали его Трехносым. Иначе его и не называли, даже фамилию забыли. Счастье, что он передвигался с трудом и быстро задыхался, так что люди могли спасаться бегством от его гнева. Он смотрел, как они удирали, осыпал их бранью и оставлял в покое, зная, что рано или поздно он их настигнет, а то и сами они придут к нему. Настигал он их с помощью старосты и жандармов. Приводила их к нему нищета и нужда.

К Кристе Трехносому и повел Гицэ своего младшего брата. Застали они его на вышке, откуда через открытые окна осматривал он в подзорную трубу свои владения.

— Подождите немножко,— приказал он им.— Вон там, я вижу, новый кучер ударил жеребца. Нет, это уж никуда не годится! Я ему вышибу зубы, бездельнику!

Они стояли и слушали, как он ворчит. Митря тайком поглядывал на него своими быстрыми глазами.

Он удивлялся. Трехносый с мельником были похожи друг на друга, как родные братья. Только помещик был жирнее и выше, а мельник едва доходил ему до плеча. Трехносый казался старшим братом, а Гицэ — младшим.

— Чего тебе, Лунгу? — вдруг обернулся к Гицэ хозяин именья.

— Привел меньшого брата, барин, как докладывали вам...

— Да, мне говорил управляющий. Погибли, значит, старики. А тебе самому он не нужен?

— Нет, барин, и других хватает на мою шею. Я хотел бы отдать его сюда — пускай поучится работать, чтоб вышел из него дельный хозяин, получше меня. Уж будьте милостивы, возьмите его к себе лет на пять, пока не подойдет время солдатской службы. А потом посмотрим. Может, и своим домом заживет.

Трехносый с сомнением покачал головой и долго смотрел на подростка.

— С виду паренек не плох,— заговорил он.— Если у него и голова на плечах есть, из него что-нибудь может и выйти. Только работников у меня и так довольно.

— Мы многого не просим.

— Знаю. Про это и речи нет. По работе и плата. Потом посмотрим, чего он заслуживает. На первый год хватит ему одежи да стола. Для детей у меня такой порядок. Только я ведь тебе сказал, нет у меня надобности в работнике. Слуг у меня больше чем нужно.

Мельник с досадою почесал затылок, а Митря обрадовался.

Помещик снова взял трубу и навел ее на конюшню, затем, опустив ее, приказал Гицэ:

— Когда спустишься, скажи внизу, чтоб прислали ко мне Чорню. Кучера Чорню.

— Слушаюсь, барин,— подобострастно поспешил ответить мельник.

Он вздохнул и снова полез в затылок.

— Барин, прошу, не оставьте нас.

— Что же тебе ответить, Лунгу? — сказал Трехносый.— Слышал ведь — мне не нужно. Разве только ради тебя, ты, я знаю, человек исправный.

Лицо у мельника просветлело. Митря смотрел в потолок.

— От души вас благодарим...— поклонился Гицэ.— Целуем ручку и я и братец.

— Хорошо! Хорошо!

Барин улыбнулся.

«Видно, сговорились...— подумал мальчик.— Будь что будет, не помру».

С этого же дня Митря остался в Хаджиу. Гицэ вернулся в Малу Сурпат.

«Что и говорить, славно быть слугой у барина,— вскоре после этого стал размышлять Митря.— Знай, гни спину и работай как вол. Будят еще до света. А замешкаешься, так приказчик хлыстом подгонит. Утром и сухой корки не успеешь проглотить. Зато в обед, наоборот, в фасолевой похлебке и боба не найдешь, огурцы вялые, мамалыга из гнилой муки. Скажешь:

— Ей-богу, прогоркла!

— Не нравится? — спросят со смехом.

— Да нет, нравится. Еще получше барского калача.

— Как бы живодер не услышал,— предупредят,— а то услышит, вырежет у тебя из спины ремень, чтобы было ему чем подпоясываться.

Другой спросит:

— Может, тебе, постреленку, и вина хочется?

— Да нет,— скажу,— есть для меня вода в реке, а иной раз и луковица. С меня хватит.

— Ишь ты какой, черт тебя подери.

— Так оно и есть, он и дерет!

Засмеются работники на мои слова.

— Эй, Митря, как бы не услышал Ницэ, управляющий, что ты про хозяина говоришь.

— Ай-яй-яй, если скажет, ведь я службы лишусь!

И снова все захохочут.

— Не так службы лишусь, как порку заработаю!»

«И правда»,— думал Митря, припоминая все, что видел,— хлыст приказчика по утрам казался легким дуновением, лаской по сравнению с расправой Трехносого. Митря видел, как производили экзекуцию над Чорней. Это был тщедушный, чахоточный цыган. Трехносый дал ему пощечину, и тот повалился влево, помещик тут же трахнул его справа, а когда сунул ему кулаком в лицо, кучер рухнул на спину. Трехносый топтал его ногами, пока не почувствовал, что скользит в крови. Тогда ему стало противно, и он дал цыгану уйти.

Больше всего и боится этого Митря. Поэтому он и вертится волчком. Он везде старается, где бы ни был: пашет ли, сеет, молотит — везде первый. Трехносый наблюдает за ним издалека. Сначала все смотрит через подзорную трубу. Потом спускается и останавливается где-то рядом. Митре не до разговоров. Он уходит. По небу бегут осенние облака, подгоняемые ветром. У него дела в конюшне: нужно законопатить щели, чтобы не дуло, а то зимой будет еще холодней. Ему жалко скотину, что же ей мучиться! Еще больше жалко самого себя, ведь и он спит вместе с волами на охапке соломы. Даже прикрыться нечем. Вот была бы у него теплая одежда... Будет, дожидайся, ведь здесь живется как у Христа за пазухой. Но пока он носит какие-то лохмотья.

Как-то повстречался он с госпожой помещицей. Это молодая барынька, третья жена Трехносого. Она обратила внимание на мальчика с живыми черными глазами, высокого, складного. Что это он все сторонится? Ему неловко, он старается закутаться поплотнее.

— Как тебя зовут?

— Митря.

— Что это ты все прячешь?

У него заколотилось сердце. Он ответил с ненавистью, чувствуя, однако, что может быть дерзким, на это поощряла улыбка барыни.

— Что есть, то и прячу!

Она вздрогнула удивленно. Потом рассмеялась и не рассердилась. И вот на следующий день Митря получил новую одежду, а барыня пришла снова посмотреть на него.

— Что скажешь, Митря, так лучше?

— Лучше.

— Только это и можешь сказать?

— А что говорить?

— Скажи: «Целую ручку».

Митря отвел глаза в сторону, еще более смущенный, чем накануне.

— Целую ручку.

— Вот так. Учись не быть таким медведем. И когда разговариваешь, гляди на меня.

Она ушла, светловолосая, в большой соломенной шляпе с голубою лентой.

Разное говорилось про госпожу Дидину между людьми в имении.

«Бывает!» — думал про себя Митря, охваченный горячим волнением.

Потом все прошло. Он больше не думал об этом происшествии.

Глава четвертая

ЛИШЬ НА МГНОВЕНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАСТАСИЯ

Как-то в дождливую пору Митря отпросился у старшого к своему брату мельнику.

Работать в поле было невозможно, выгонять скот на пастбище тоже нельзя было, и работники, толкавшиеся возле хозяина, гудели как ленивый рой.

Старшой — дедушка Тригля наказывал ему:

— Можешь идти, Митря, часика на два, на три,— только, смотри, не опаздывай, а то взбредет мироеду в голову собрать всех нас да устроить перекличку. Случается это. Кого нету, тому куска хлеба не даст, пока солнце не выглянет и поля не просохнут. Есть у него такое поверье, что коли кто отлучится, так из туч будет лить и лить.

Митря кивнул головой, злобно усмехнувшись:

— На дожди обижается, что ли?

— Как не обижаться, коли от них, вот как сейчас, одно разоренье!

— Поди, он из ружья и в небо по святым палит? — засмеялся Митря.

— Все может быть, ему ведь все нипочем. Только ты этак-то не болтай, парень, как бы он тебя не услышал.

— Ну и услышит, дедушка Тригля, не велика беда. Почему бы не пальнуть в того,— кто бы там ни был,— кто напускает на нас гнилые дожди, град да вьюги? И голод еще напускает, и болезни, и напасти... Позволяет богатеям поедом есть бедняков...

— Ах ты чертенок,— накинулся старик,— довольно тебе стоять и болтать что в голову взбредет, а не то ожгу вот хлыстом. Подумаешь, какой грамотей нашелся.

— На мое счастье, брат не отдал меня в ученье. Не ругайся, дедушка Тригля. Я мигом слетаю — огня из кресала не успеешь высечь.

— Набрось мешок на голову,— посоветовал ему старик, поблескивая красным носом из зарослей белой бороды.— Возьми клячу какую-нибудь. Там на мельнице дашь ей пригоршню отрубей.

— Разве только украсть их, а то брат не жалеет ни человека, ни скотину. Весь налился отравой скупости, того и гляди, кожа лопнет. И на что ему столько денег? Коль живет как последний нищий, то значит он бедней, чем мы.

— Ну-ну, иди уж,— заворчал на него старик.— А теперь-то будто из евангелья читаешь, словно поп.

С мешком на голове, верхом на неоседланной низенькой гнедой лошадке Митря мигом доехал до мельницы Гицэ Лунгу. Под навесом стояло семь-восемь подвод. С десяток людей сновало вокруг под дождем в вывернутых наизнанку шапках.

Митря привязал лошадь под навесом. Он потрепал ее за ушами, ласково похлопал по морде и заспешил к дверям мельницы. Мотор пыхтел и плевался из трубы прямо в облака. Только он вошел — тут как тут на пороге брюхо Гицэ. Мельник выпучил глаза с воспаленными веками:

— И ты тут? Голова идет кругом от забот. Видишь, сколько народу ждет, пока смелю кукурузу.

Митря остановился, смело поглядев на него сверху вниз.

— Тогда я пошел. Приеду через годок.

— Хо! Погоди, что так?

— Уж если ты меня и за брата не считаешь, то я пойду. У нас маленькая передышка из-за этих дождей, вот я и заглянул. Пока мельница смелет пару мешков, мы бы и перебросились парой словечек.

— Ну ладно, входи.

— Невестка Станка дома?

Мельник вздрогнул:

— А что? Голоден, поди?

— Нет. Повидаться хочу, как-никак она мне вроде сестры.

Гицэ замотал головой, словно отмахивался от шмеля.

— Смеешься ты над ней. Дел у нее, дел — страх сколько. Давай зайдем в эту каморку. Там у меня окошечко: видно все, что делается. Люди злы, братишка. Не приглядывай за ними, так крадут напропалую.

Митря удивился:

— А они говорят, что ты их обворовываешь. У них счет не сходится, когда ты за помол берешь, они понять не могут, как это выходит.

— Кто это говорит? — засмеялся мельник.— Не верь дуракам.

— Да мне что? Послушай-ка, Гицэ, из своего прибытка дай-ка мне пригоршню отрубей для лошади.

— Как, ты верхом приехал? Нету! Не дам! Пусть ее твой хозяин кормит, у него есть чем.

— Не скаредничай,— ласковым голосом попросил младший брат.— Ведь и лошадь — живая тварь, работает наравне со мной. Хоть она не моя, да жалко мне ее.

— Тебе-то жалко, да отруби денег стоят.

Мельник подошел к застекленному глазку и взглянул в него.

— Садись туда на лавку. Ну, что нового в Хаджиу? Эх, дождь не перестает. Напасть, а не дождь.

— Что делать, брат? Поперек ему не встанешь.

Мельник засмеялся:

— А что барин скажет на то, что вместо слуги нанял мудреца?

— Мудреца он не знает,— ответил мальчик.— Уж его-то, верно, не честил бы так, как меня честит. Разговаривал бы по-человечески.

— А я слыхал, он тобой доволен.

— Он-то доволен, да я не доволен ни платой, ни едой.

— Эй, Митря,— выпучил глаза мельник,— не гневи бога. Хозяин у тебя хороший, держись за него.

Мальчик метнул на него суровый взгляд. Гицэ отвел глаза в сторону и пробурчал:

— А я вижу, одежа на тебе порядочная.

— М-да. Подарили какую-то рвань.

— Кто?

Митря не ответил.

— Слыхал я кое-что,— пробормотал мельник.— Только бы ты умным был.

— Куда уж мне!

— Глупостью, парень, не укроешься, не оденешься и сыт не будешь.

— Может быть.

— А от женщин, парень, могут быть всякие милости.

— Нет, брат, как ни горька мамалыга, что дают мне, в грязь ронять ее не хочу. Спать мне негде, зимой холодно. Еда совсем как у нищих — не по моей работе и не по силе. Думается мне, что в Хаджиу ничего не делается по справедливости. Ушел бы куда глаза глядят.

Мельник испугался, подскочил:

— Нельзя. У тебя контракт. Еще три года должен отслужить. Меня к ответу потянут. Я за тебя ручался. Еще неустойку могут с меня стребовать.

— Уйти бы куда глаза глядят...— продолжал Митря, словно не слыша причитаний Гицэ.— Хочу я тебя спросить, везде ли такие порядки по именьям. Здесь осенью крестьяне получают гроши под тяжелую работу будущим летом. Из долгов никак не вылезают. Барская мельница людей все мелет, в порошок стирает. А кто на издольщине, тот сдает две-три части из пяти, а пока дождешься дележки, волосы сквозь шапку прорастут. Вот тут и работай! А сгниет кукуруза в буртах, мироед скупает ее задарма для винокуренного завода.

Мельник слушал с великим беспокойством и морщил нос.

— Откуда это ты знаешь про такие дела?

— Видал.

— А коли видал, так забудь.

— Не могу, да и не хочу!

— Забудь, говорю тебе! Бедняку не годится судить богатых. Раз ты бедняк — держись за хлеб насущный. Мало его, горький он, а все хлеб. Не то пропадешь, парень, раздавят тебя ногтем, словно вошь. Вот так в тысяча девятьсот седьмом году осмелились люди возроптать. Пулями им рот заткнули. Снарядами дома с землей сровняли. Плохо пришлось этим людям. Помалкивай, чтобы и с тобой не стряслась беда. Я ведь

тоже едва-едва оперился. Как бы и на меня твоя беда не свалилась.

Гицэ еще раз глянул в застекленный глазок, потом обернулся и как-то странно, совсем по-новому, посмотрел на Митрю.

— Сейчас не уходи. Подожди немножко. Станка даст тебе закусить.

Он быстро вышел, не дожидаясь ответа. Парень остался один. Мельница вдруг перестала шуметь. Послышалась ругань мельника, сердитые голоса людей. «Верно, поспорил с мотористом»,— подумал Митря. Все стихло. Через некоторое время из глубины, где было жилое помещение, послышался возмущенный визг, сразу же заглушенный бормотанием мельника.

Сердце у Митри окаменело, он подумал: «Это из-за ломтя хлеба. А мне не надо. Отдам лошади».

Открылась низенькая дверца. Вошел Гицэ. За ним тоненькая, словно стебелек, девушка с карими глазами, в синей ситцевой юбке с красной каймой. Она несла блюдо с орехами и хлебом.

— Ставь сюда, Настасия,— приказал мельник.

Настасия была сестрой Станки. Она поставила блюдо на стол, уставившись на Митрю широко раскрытыми, удивленными глазами. Она бы не узнала его, так он вырос и возмужал — словно яблоня, впервые расцветшая по весне. Уши у нее покраснели, как лепестки шиповника. Ей вспомнились пересуды женщин, их подозрение, что там, в имении, у этого паренька завелись уже любовные шашни. Ее утешали только слова мельника, сказанные как-то Станке: «Повезло бы этому Митре, да он — ротозей, проморгает счастье».

Митря улыбнулся Настасии. Он отложил в сторону ломоть хлеба, а орехи высыпал с блюда за пазуху. Откусил от ломтя разок-другой. Остальное приберег для лошади.

— Счастливо оставаться,— сказал он.

Мельник притворился удивленным:

— Уже уходишь?

Митря только кивнул головой и вышел. Настасия вернулась к Станке, чему-то улыбаясь. За ней вошел ворча и мельник. Он ругал брата. Жена даже не повернула головы. Ее радовала эта ругань, и она шептала над полотном, которое ткала: «А что я говорила? Из собачьего хвоста не сплетешь шелкового сита».

Глава пятая

МИЛОСЕРДИЕ МЕЛЬНИКОВ, ГОСПОД И ЖАНДАРМОВ

Через несколько дней, в начале сентября, дожди прекратились, похолодало. Некоторые из работников имения, среди них и Митря, начали работать на самых отдаленных полях, у Воловьего колодца. Они сеяли пшеницу и торопились, потому что из-за продолжительных дождей осенние работы задержались.

Ночи теперь были ясные, и на аметистовом куполе неба сверкали бесчисленные маленькие звездочки, а большие горели, как огненные цветы.

Люди спали у лениво дымящих костров из бурьяна и навоза. Некоторые, постарше, рассказывали о давних временах, когда в Джурджу была райя[1] и турецкие конники совершали из-за Дуная набеги на бедных христиан.

Митря слушал, опершись на локоть, завернувшись в старую сермягу. Время от времени он опускал голову на кочку, которая служила ему изголовьем.

«На бедняков все напасти,— размышлял он.— То турки, хуже чумы, то мироеды, хуже турок. После них теперь еще и мельники объявились: нет для них ни родителей, ни братьев, только деньги да деньги».

Сквозь полуприкрытые ресницы проникали мерцающие лучи звезд, наводя дремоту. Он засыпал.

Проснулся он задолго до рассвета. Некоторое время прислушивался, как волы пережевывали жвачку. Потом до его слуха начали доходить и другие степные звуки. Высоко летели черные птицы, и с далекого Дуная доносился легкий ветерок. На самом горизонте обозначилась пурпурная полоска. Стали подниматься и его товарищи батраки; разминая натруженные, налитые свинцом руки и ноги, они собирались у колодца. Чтобы заглушить голод, они глотали пахнущую тиной воду.

В то время когда Митри не было в имении, к господину Кристе явился мельник. Грохоча сапогами по ступеням, он поднялся на вышку. Барин подождал, пока тот снимет шапку и поклонится. Он внимательно смотрел на него, спрашивая себя и пытаясь угадать по его лицу, с какими делишками мог к нему прийти Гицэ Лунгу.

---

[1] Отдельные города или области, находившиеся под властью или контролем турок *(турецк.)*.

— Что тебе?

— Барин,— сказал мельник,— несколько дней я раздумывал, а сегодня решил доложить. И жена моя Станка понукает. Пойди, говорит, скажи.

— Ну, говори, довольно мяться!

— Тут поневоле замнешься — ведь речь-то про брата моего Митрю. Жалко мне его.

— Оно и видно.

— Поучить бы его, барин. После как бы не было поздно!

Трехносый нахмурился, надув толстые губы:

— Да о чем речь-то?

— Барин,— набравшись храбрости, сказал мельник,— брат мой меньшой похвалялся, будто на него чьи-то жены ласково поглядывают.

— Это меня не интересует,— поморщился помещик.

— Правда ваша. Только не в этом все дело,— заторопился объяснить Гицэ,— что нам до этого? А вот зачем он плетет напраслину про то, как именье управляется?

— Какую напраслину? Говори, если есть что сказать, не ходи вокруг да около. Ты не волк, я не овчарня. Говори яснее.

— Скажу, скажу, коли приказываете. Не знаю, кто ему напел в уши, что при обмере земли обманывают людей, что поздно делят заработанную кукурузу, что на работников столько поборов всяких. Будто он не знает, как тяжело достается хозяину с этими голодранцами?

Барин призадумался. Казалось, он совсем спокоен.

— Когда же он тебе это говорил?

— Да во время дождей. На мельницу ко мне приезжал. И еще верхом на лошади, я ей еще тогда немного овса насыпал.

— Вот уж не поверил бы,— рассмеялся Трехносый.

— Ей-богу, барин, честное слово даю!

— Ладно, брось. Скажи, как это ты из него выпытал?

— Сейчас скажу. «Брат, говорю, я вижу, ты приоделся. Кто же тебе подарил такую одежу?»

— Да брось ты. Дидина пожалела его и дала парнишке эти тряпки. Я им доволен. Он работящий и с головой.

— Только бы он дело знал, барин, и не болтал глупостей.

— Пока я за ним этого не замечал,— сказал Кристя.

— Язык у него длинный, барин.

Трехносый пристально посмотрел на мельника.

— Тогда, Гицэ, мы его укоротим.

— И больно уж он дерзкий парень!

— Если больно дерзкий — обломаем.

Господин Кристя в раздумье покачал головой.

— Жалко было бы его лишиться. Но и так этого дела не могу оставить. Я расследую. Быть может, обнаружится еще кто другой, о ком мы и не подозреваем. Какой-нибудь подстрекатель. Говоришь, он одеждой хвастается?

— Хвастается и смеется...

Мельник отправился восвояси, думая про себя, что хитрость его удалась.

— Не мне его бить, я не могу,— бормотал Гицэ,— пусть другие поколотят!

Мельник был в имении в среду. А в четверг, в обед, жандармский унтер-офицер Гырняцэ прикатил к Воловьему колодцу на паре вороных, запряженных в желтую двуколку, и позвал к себе Митрю. Он приказал ему сесть рядом с ним.

— Зачем? — спросил Митря, поднимая внимательный взгляд на представителя власти.

— Там увидишь.

— Письмо мне откуда-нибудь пришло?

— Половину угадал. Вторую половину узнаешь, когда приедешь в участок.

Глаза Митри потускнели. Он чувствовал, что такому бедняку, как он, не приходится ждать ничего хорошего.

— Господин старшина Гырняцэ,— заговорил Митря,— разрешили бы хоть перехватить чего-нибудь, а то голоден, как собака. Как говорит наш молдованин с первой сеялки, у меня в брюхе мыши заночевали.

— Поешь в Малу Сурпат.

— Да ведь тут-то у нас жареная индейка и холодец,— засмеялся Митря.

Жандарм усмехнулся и хлопнул его по плечу.

— Ну ладно, садись в двуколку. У меня и других дел много.

По дороге Митря несколько раз пробовал выпытать хоть что-нибудь у своего спутника. Но усатый старшина отмалчивался. Митря заговорил о дрофах. Гырняцэ не был охотником, но все же поинтересовался, с каким ружьем ходят на этих птиц. Митря стал расхваливать барина из Хаджиу. Старшина слегка улыбался, но языка не распускал.

Приехав в Малу Сурпат и войдя в помещение жандармского участка, старшина крикнул солдату, чтобы тот открыл «гостиную». Не говоря дурного слова и ничем не угрожая, господин старшина жестом пригласил Митрю войти, словно дорогого гостя. Митря стиснул зубы так, что у него в мозгах отдалось, но сдержался.

Он вошел в «гостиную». Несколько голых скамеек, на стене повешен календарь и в тонкой черной рамке — изображение господаря Влада Цепеша[1].

— Теперь уж больше так не делают, как в его времена,— пошутил старшина.— Теперь у нас другие способы. Ты стой здесь у двери, внутри,— приказал он солдату.— Никого не впускать и особенно никого не выпускать.

— Что вам от меня надо? — угрюмо спросил Митря.— Где письмо?

— Нет никакого письма, парнишка. А дело такое, что ты повиниться должен.

— Это в чем же повиниться? Не в чем мне.

— Послушай, Митря, будь благоразумен. Так не отвечают, нехорошо. Смотри, недосчитаешься зубов во рту. А не будешь запираться, отделаешься легко. По-братски тебе советую.

Митря Кокор вздохнул, сверкнув глазами:

— Да что мне говорить-то?

— Полегче, полегче, парнишка, говори со мной по-хорошему.

— Что ж говорить? — раздраженно спросил Митря.

— Скажи мне, малец, где ружье?

Митря вздрогнул. Жандарм заметил, как он широко открыл глаза и усмехнулся, потом лицо его завяло, будто от безысходной печали.

«Ну, что тут отвечать? — тревожно думал Митря.— Признаешь, что украл ружье,— так нужно ведь показать, где его спрятал. А скажешь, что ничего не знаешь и ничего не брал — все равно один конец: надают пощечин, будут бить кулаками, палками, шомполом или мокрой веревкой».

Он выкрикнул яростно:

— Ничего не знаю ни при какое ружье. Не нужно мне оно, некого мне убивать. Пустите меня!

— Если признаешься, меньше попадет.

Митря Кокор заметался в гневе:

— Чье ружье?

— Боярина Кристи. С ним на дроф можно ходить.

— То, из которого он дробью по мальчишкам стрелял, когда они сливы воровали?

---

[1] Господарь Мунтении (1456—1462). Расправлялся со своими врагами, сажая их на кол, откуда и получил название «Цепеш» — сажатель на кол.

— Э, поганец, да ты меня хочешь допрашивать! В господа бога и панихиду! Признавайся, где ружье. А то я с тобой иначе поговорю.

— Не знаю. Оставьте меня! — упрямо закричал парень.

Старшина спокойно приказал:

— Арон, свяжи его. Этот младенец выводит меня из себя.

Его связали.

— Ну, что скажешь?

— Нечего мне говорить.

Его били кулаками, пока сами не устали. Митря скорчился, уткнувшись подбородком в грудь, и вздрагивал с тихим стоном, идущим как бы из самой глубины его существа.

— Гляди, не хочет признаваться,— удивился старшина Гырняцэ.— Раздень-ка его да подай мне мокрую веревку.

Жандарм развязал Митрю и стянул с него рубаху. Митря лежал тихо, словно в забытьи. Жандарм вытащил из шкафа веревки и открыл дверь, собираясь идти к колодцу намочить их. Тут Митря неожиданно вскочил, молниеносно ударил его головой в живот, перепрыгнул через него и помчался прочь. Старшина Гырняцэ кинулся за ним, споткнувшись на пороге.

Когда Митря Кокор прыгал через канаву, чтобы выбраться на шоссе, прямо перед ним остановилась высокая двуколка из имения, с дедом Триглей на козлах. В кузове поднялся с сиденья господин Кристя, чтобы посмотреть, кто это перепрыгнул через канаву, что это за человек: волосы всклокочены, глаза налиты кровью, по голому до пояса телу — кровоподтеки.

Помещик закричал:

— Стой! Оставь его, Гырняцэ. Хватит!

— Я дознанье проводил, барин,— пропыхтел Гырняцэ.— Не хочет признаваться.

— В чем признаваться-то? Ружья не крали, его механик почистить взял. Отдай ему рубашку и одежонку. Пусть садится возле Тригли.

Митря застыдился своей наготы. В двуколке сидела и госпожа Дидина. Ей показалась забавной вся эта комедия, и она пыталась теперь прочесть в глазах стройного подростка хотя некоторую радость, что он спасся.

Мурашки пробежали у нее по спине, когда она увидела в его красиво очерченных глазах яростную ненависть.

Все же Митря пробормотал благодарность, стараясь не встречаться с ней взглядом. Потом он сплюнул кровью прямо в пыль, натянул на себя одежонку и пристроился рядом с Триглей.

Глава шестая

МИЛОСЕРДИЕ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ГОРЕСТЯХ

Барин вызвал его на вышку.

— Иди,— напутствовал его Тригля,—посмотришь, что он тебе скажет. Будь умным.

Митря глубоко вздохнул и пошел.

Хозяин сидел в мягком кресле, подзорная труба—на столике, ружье—в стороне, прислонено к подоконнику. Пристально посмотрел он на парня, но тот отвел глаза.

— Эй, Митря, посмотри-ка на меня. Не слышишь?

— Как не слышать, слышу.

— Смотри на меня!

— Смотрю.

— Скажи, как это с тобой приключилось?

— А откуда я знаю?

— Больно тебе было?

— Чего там больно. Рад был радешенек!

Трехносый нахмурился.

— Эй, как ты со мной разговариваешь? Не смотри в угол. Подыми глаза.

— ...рад радешенек был, что еще хуже не случилось...

— Ах, вот оно что! — ухмыльнулся барин. — Ты умен и хитер, как черт.

— Ведь я, барин, человек бедный...

Хозяин заговорил другим тоном:

— Послушай-ка, Митря. И я рад, что все добром кончилось. Мне бы жалко было потерять такого работника, как ты, да и барыня слово замолвила.

Митря молчал, потупив взгляд.

— Можешь идти,—приказал барин.—Эй, погоди-ка минутку. Говорят, язык распустил, болтаешь всякую всячину.

— А что мне болтать, барин? Я ни с кем и не говорю. Мне только и дела, что до своей работы да заботы.

— Хорошо, парень. Помни, что написано в святом евангелии.

— Не знаю я,—пробормотал парень.

— Молчи, когда говорит хозяин. В святом евангелии есть слова: «Имеющий уши слышать да слышит». Понял?

Митря Кокор нерешительно кивнул головой.

— Вбей себе эти слова в голову, слышишь?

— Слышу.

— Ну, хорошо. Я тебе жалованье прибавлю.

Митря молчал.

— Вот, возьми двадцать лей. Купишь себе табаку и цуйки. Надо и тебе погулять.

Скрипя зубами, спустился Митря с вышки, зажимая в руке ассигнацию.

Добравшись до конюшни, к деду Тригле, Митря бросил деньги на землю, плюнул на них, затоптал сапогом и грубо выругался.

— Что это ты, а?—удивился старик.

Митря застонал от обиды.

— Крепись, парень,—увещевал его Тригля.—О чем он тебя спрашивал? Что тебе сказал?

— Провались он к чертовой матери,—пробормотал сквозь зубы Кокор.

Тригля огляделся вокруг. Поблизости никого не было.

— А посмотрел он твою спину?

Митря отрицательно покачал головой.

— Я и не дивлюсь,—вздохнул Тригля.—Им и дела нет до наших страданий. В горькие мои деньки и мне немало досталось от этих мироедов. А деньги не рви, парень. Они нам сгодятся. Вот пойду куплю кой-чего. Я скоро вернусь, тогда с тобой поговорим маленько. Будут тут к тебе подходить, спрашивать, как да что,—ты помалкивай.

Митря остался один и задумался. У него ныло все тело, как после непосильной работы, в спину будто раскаленные иглы вонзились. В сердце закипала отравленная злоба—вот-вот переплеснет через край. Так и сидел он один, уставившись в одну точку, думая о жестокой мести, еще неясной ему самому.

Конюшня была пуста. Весь скот и люди были в Дрофах, в степи. Оттуда веяло зноем. Как дымка, тихо спустились сумерки. В эту ночь Митря должен был вновь выйти на работу с другими несчастными. И он был рабом из рабов. Родителей у него не было, а брат—не был братом. Он чувствовал себя лишенным и любви и ласки в этом мире. Митря проглотил горькие слезы.

— Я замешкался,—проговорил, входя, Тригля.—Далеко до корчмы. Гляди, я цуйки немножко принес и хлебца, вылечу твои раны. Выпей малость, и я выпью за компанию. К завтрему боль и утихомирится.

Расскажу я тебе, Митря, чего ты еще не знаешь,—продолжал старик, примачивая на его спине рубцы, похожие на багровых змей.—Горька наша жизнь, пока доживешь до

старости, да и после горько до самой смерти. Я ведь застал еще то страшное время, когда села подымались жечь именья и власти послали солдат из Молдовы расстреливать и убивать наших[1]. А мне лоб забрили и послали с полком в молдовскую сторону—колоть штыками тамошних, тоже наших братьев-крестьян.

Был у меня меньшой братишка, ребенок еще. Оставался он дома за скотиной ухаживать. Вот ударили как-то в барабан, прочли приказ—всем сидеть по хатам. И чтоб никуда не выходить, а то начальство из ружья застрелит. Как-то утром вышел братишка во двор. А по дороге шел патруль с молодым офицером. Увидел офицер моего брата: «Ты чего тут?»—«Вышел скотине корму задать»,—говорит брат. «Поди-ка сюда!» Подошел мальчонка к воротам. Офицер вытащил из кобуры револьвер и—бах! Упал парнишка, как подрезанный колос, и пикнуть не успел. Этим же утром зарубили саблей Марину, жену Ницы Чортян. На сносях она была, ребеночек прямо на дорогу в пыль вывалился. Такого страху нагнали на мужиков,—думалось, век не опомнятся. Опамятовались мы и терпим. А сами все бедней. Уж и не знаю, что и будет-то... Болит небось?

— Нет, дедушка Тригля, сердце вот ноет... Все спрашиваю себя: до каких же пор терпеть нам?

— Пока господь бог не обратит на нас очи свои.

Митря вздохнул и застонал. Потом в тишине долго слушал рассказ дедушки Тригли про старые годы. Парень немножко захмелел от цуйки и стал клевать носом.

Дед Тригля остановился. Спросил:

— Спишь?

— Нет еще,—ответил Митря.

— Хотел я тебе сказать, что третьего дня, до того как стряслось с тобой это, приходил сюда в именье брат твой Гицэ. Говорил, дело есть к боярину. Просил, верно, прибавить тебе жалованья.

Митря вскочил с подстилки и крикнул так, будто обожгло его острой болью.

— Гицэ?

— Он самый.

— Мельник?

— Он, парень, он. Твой брат, мельник.

---

[1] Подразумеваются жители Мунтении.

Точно молния пронеслась в мозгу Митри и сразу осветила все: и разговор на мельнице о делах в имении и последние слова Трехносого на вышке.

— Знай, дедушка Тригля, это мой брат предал меня барину. Мало ему, что отдал меня в рабы, еще и со свету сжить хочет.

— Ох-охо! — вздохнул старик,— ведь говорится...

— Не в святом ли евангелье? — злобно усмехнулся Митря.

— Нет, в книге страданий, паренек. «Кто тебе вырвал глаз?» — «Брат мой».— «Потому-то и захватил так глубоко!»

— Глубоко захватил, дедушка.

— Все может быть,— в нерешительности протянул дед Тригля.— Все может быть, после того что мы знаем про Гицэ. Только, слышь, ведь вы же от одной матери, и он, я знаю, ходит в церковь, исповедуется, причащается. Как же так — ведь может покарать его пречистая дева, отправить в ад, в самое пекло.

— Дедушка Тригля, какое ему дело до того света? Ему главное, чтобы здесь было хорошо, дедушка Тригля. Брать за помол, владеть моею землею... Эх, почему я тогда не проткнул его вилами...

— Когда?

— Тогда, когда хотел он стереть меня с лица земли, после того как похоронили мать с отцом.

Тригля перекрестился:

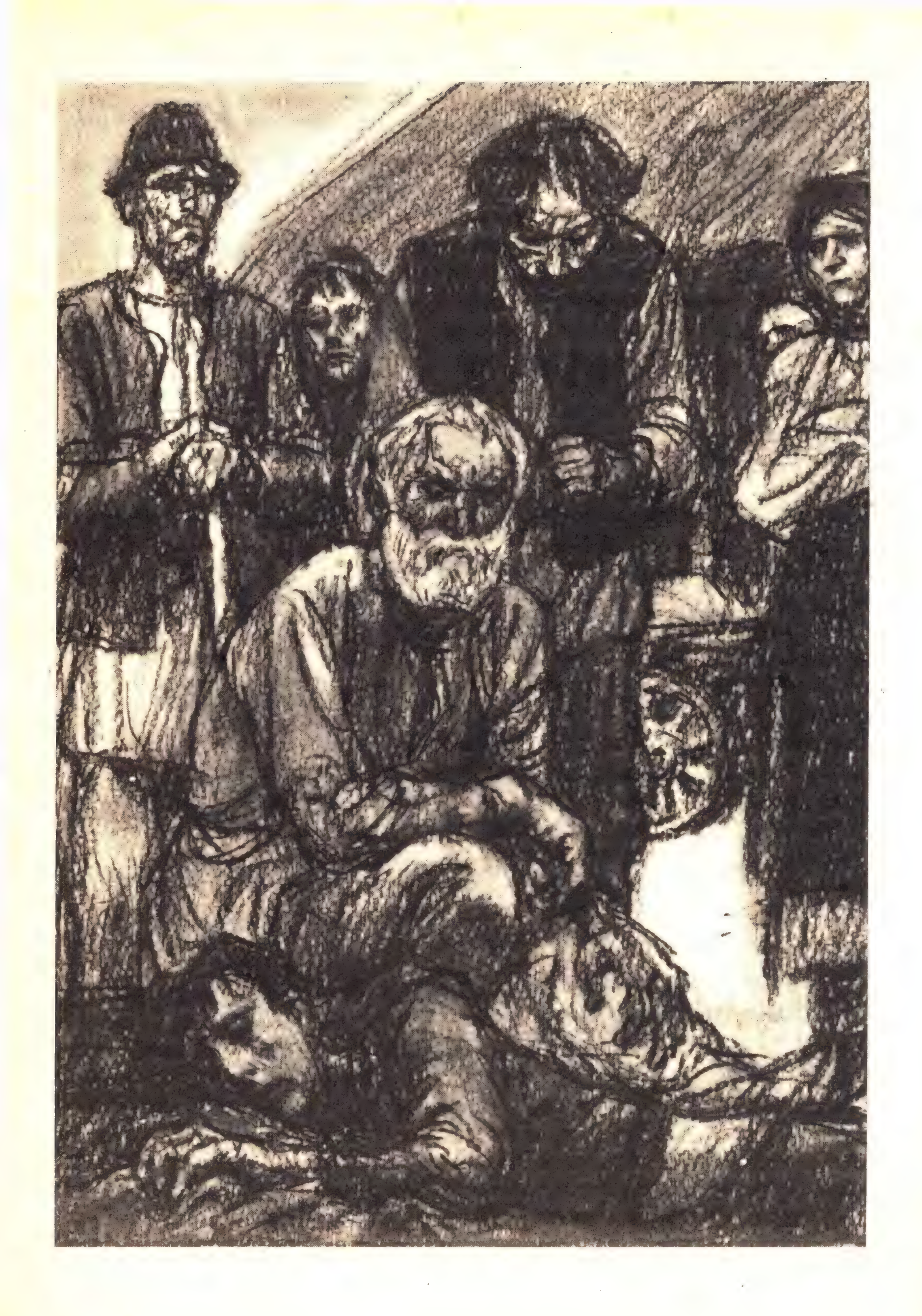
— Сохрани тебя дева пречистая от соблазнов дьявольских! Брось ты об этом думать, Митря, а то сгниют твои кости на каторге.

— Ладно, дедушка Тригля. Лучше, когда подойдет время, подам на него в суд.

— Нет, я бы и этого не делал, Митря. Вы еще поладите друг с другом.

Митря чувствовал, что его переполняет отвращение и гнев. Тригля удивлялся, видя, как он то смеется, то вдруг напрягает все силы, чтобы подавить в себе злобу. Дед поднес ему еще цуйки; после этого глаза Митри помутнели, и он упал лицом в охапку соломы. На другой день на рассвете Тригля отвез Митрю на телеге в Дрофы и оставил его среди суетившихся там работников.

Сразу никто не обратил внимания на парня. Только к обеду, когда начали собираться к колодцу и Тригля вынес из землянки пустой борщ и ячменный хлеб, Митре стали было подпускать шпильки то с одной, то с другой стороны. Он



держался вяло, как разморенный после бани, глаза были в красных жилках. В другой раз побоялись бы задевать его, зная, какой он горячий и смелый. Но теперь юнцы расхрабрились:

— Уж не возил ли старшина Гырняцэ его куда-нибудь на свадьбу?

— Может, он исповедовался и причащался у попа Нае и тот наложил на него епитимью?

— А может, его вызывал боярин Кристя, чтобы подарить ему другую пару сапог?

— Или подбить старые, потому что сносил он их, бегая за красотками.

Изнемогая от боли, Митря молча лежал на куче старых кукурузных початков. Взгляд его помутился, он ничего не слышал. Жена Тригли состряпала хороший борщ и заправила его перцем. Хлеб был не слишком черствый. Митря мог бы с ним справиться своими молодыми зубами, но ему ничего не хотелось. Жизнь ему постыла, он охотно лег бы в сырую землю, к мертвым, туда, где покой и тишина.

Все окружили Триглю. Старик чувствовал себя чем-то вроде начальства. Покуривая толстую цигарку из кукурузного листа, он рассказывал, какая напасть свалилась на бедного Митрю.

— Он знал про ружье не больше, чем мы с вами.

— Что знать-то, когда ружье и не крали.

— Будто в первый раз мироед напускает такую политику!

Все замолчали. Тело Митри сводила судорога. Потом он вытянулся на боку и как будто заснул. Тригля привел свою жену, старуху Кицу, которая почти двадцать лет тому назад принимала Митрю. Она покачала головой, почмокала губами беззубого рта, затем наклонилась, дуя на все четыре стороны. Ей было тяжело, и, выпрямляясь, она застонала. Митря ответил ей тоже стоном. Она о чем-то думала, подняв палец вверх, потом морщинистое землистое лицо ее прояснилось.

— Избили его, родненького,—жалобно заголосила она.

Тригля прервал ее:

— Это и так видно, Кица.

— Да это не все, сглазил его кто-то.

— Скорей всего, Кица, почки ему отбили.

— И это может быть, только знаю я, что его сглазили. Возьму я его к себе под навес, укутаю, хворь заговорю. Чтоб им не дожить до утра, этим носачам, этим мельникам, разжиревшим, словно откормленные свиньи, и бабам, что

заглядываются на мужиков!.. Чтоб иссушило их ветром, чтоб сгорели они в тифу—покалечили ведь парнишку.

— Молчи, старуха,—пробормотал Тригля,—еще услышит тебя кто-нибудь.

— Пускай те молчат, про кого говорю! Чтоб им и рта не открыть больше ни разу!

Перенеся и уложив Митрю в холодке под навесом, старуха Тригли прикрыла его рваным кожухом. Тригля бестолково топтался на месте, вертелся среди горшков и всякой утвари, искал уголька в золе на кострище, вытягивая длинную жилистую шею, чтобы еще раз взглянуть на Митрю, и только попозже обратился к жене:

— Управляющий Раду говорит, делай как знаешь, чтобы поставить на ноги парня. День-другой еще как-нибудь пролежит, а потом узнает Трехносый, будет беда. У Трехносого не разболеешься. Такие ему не нужны, сразу выгонит.

Старуха сердито повернулась к нему, словно взъерошенный сыч:

— Черт бы ему шею свернул: уж как он до денег жаден, жиреет, жиреет, а все мало. Ведь по его веленью избили парнишку, а теперь парень и виноват? Знаю я эти порядки,—вздыхала она.—Уж я-то знаю, на себе испытала. Пролежала я десять дней, а при расчете скостили за тридцать. Сожрал, что моим по праву было, да еще и сверх того накинул, отравиться бы ему гнилой желчью! Сходи-ка ты, Ион, этой ночью в именье, в нашу землянку, и поищи за иконой скляночку с наговорным маслом, смажу я парню раны. Много я мазала ран разным людям и вылечивала рубцы от плетей. Вылечу и этого парня, подниму его на ноги. Долго ему здесь не пробыть. Этой весной занесли его в рекрутский список, в сентябре пойдет он в свой полк. Может, хоть чужие люди его пожалеют.

— Кто уж там пожалеет!

— Все скорей, чем брат родной,—вон как разнесло его, будто через соломинку надули. И скорей, чем наш барин со своей барынькой. Этому любо, что работает за троих, а той—другое любо. Пусть-ка придут посмотрят, что сделали из красавца парня. Вот схожу в воскресенье в церковь, поставлю свечку и пожалуюсь божьей матери. Богородица всемилостивая, дева пречистая, сотвори так, чтобы раздулись они, да и лопнули, чтобы их как из ружья разорвало! Что, болезный мой? Что ты стонешь? Спина болит? Поясница?

Лежа с закрытыми глазами на своей подстилке, Митря помотал головой,— не болит, мол, у него ни спина, ни поясница.

— Знаю, знаю, сыночек, болесть твоя в сердце, от гнева и обиды.

Митря не ответил. Дед Тригля ушел. Старуха осталась одна, продолжая совещаться сама с собой и с мертвыми призраками.

Тригля принес заговоренное масло. А вместе с маслом принес и приказ боярина Кристи, чтоб немедленно дали знать, исполняет ли Митря Кокор свое дело. Если не исполняет, пусть придет мельник, посмотрит расчет своего брата, потому что тот должен за одежду и обувь и еще кое за что — там в книге записано: на конюшне и на складе есть нехватки, и спросится с того, кто привык воровать боярские ружья.

— Господи, порази громом изверга! — молилась бабка Кица на паутину, свисавшую из-под крыши сарая.

Господь бог услышал молитву бабки Кицы. Не поразил он громом и не испепелил никого, а наслал на Дрофы буйный западный ветер. Временами этот ветер приносил проливные дожди. Но когда дождь прекращался, ветер не переставал дуть, свистя и завывая.

В земляном очаге тусклым огнем горела гнилая солома. Дым кольцами выходил через дыру в крыше сарая. Бабушка Кица сидела на попоне, поджав под себя ноги, и смотрела на Митрю. Время от времени из золы поблескивали как бы два огненных глаза. Старуха плевала и открещивалась от этого призрачного видения.

Митря пристально глядел на два огонька в золе. Однако он еще был в полузабытьи. Старуха ощупала его и поняла, что его бьет озноб. По временам он погружался в тревожный сон и во сне вздрагивал; тогда отражения углей как два светляка мерцали в его полузакрытых глазах. Он вздыхал и невнятно бормотал, как будто хотел сказать что-то.

Кица внимательно слушала его, крестилась, иногда смеялась, растягивая губы провалившегося рта.

— Раны его зажили,— шепнула она Тригле, укладываясь рядом с ним на соломе. Было уже далеко за полночь, и ветер утих.— Раны его зажили, но боль в сердце все не унимается. Когда петухи пропели полночь, жар прошел, и теперь парень спит. Только боюсь, сегодня к вечеру опять начнет бредить. А может, и не будет. Верно, душа покидает его и витает где-то вокруг именья или возле мельницы. Своими глазами вижу

отсюда, как бестелесная душа его бродит словно привиденье. Подстерегает кого-то. Тех, что накликали на него эту беду и избили его. Вот-вот она схватит их и свершит свой суд.

— Парень еще болен, Кица. Но думается мне,—может, исполнится то, о чем ты говоришь. Только не в бреду это будет. А придет время, и отведут душу рабы за все свои невзгоды и беды.

Так и оставался Митря Кокор в Дрофах, поправляясь после болезни, пока под осенними облаками не потянулись к югу дикие гуси.

Глава седьмая

ДРУЖБА И ЛЮБОВЬ

В полку жизнь Митри Кокора сначала шла словно в тумане. Она как-то походила на истолкование сна, который снился ему порою по ночам, когда он лежал в лихорадке. Это был один и тот же сон. Виделось ему, что стоит он и ждет, когда откроются огромные железные ворота в неведомый ему мир. Ждет во тьме и липкой грязи, как после дождя. И много других тоже ждут по темным углам. Чувствует он это, но не видит и не знает их. Стоит он, вперив свой взор в высокие тяжелые ворота. Должен он пройти в иной мир. Было такое чувство, что расстался он с жизнью, которую вел в Малу Сурпат, и все события вспоминал разом, хотя проходили они год за годом, одно за другим. Все прошлое стояло, окаменев, позади него, и он покидал его. Митря ждал и знал, что ворота должны открыться, и вдруг заметил, что стоит он в лохмотьях, босиком, с непокрытой головой, едва поднявшийся после болезни. Бабушка Кица улыбается ему беззубыми деснами и укоризненно качает головой: «Нельзя так, милый, идти к пречистой деве...»

Когда Митря просыпался после этого горячечного сна, сердце его колотилось. Часть его жизни миновала. А он был все таким же одиноким среди чужих людей, таким же сиротой, как и в детстве. Только Тригля и его старуха отнеслись к нему ласково. Теперь и с ними его разлучили.

Со страхом он пришел в полк, готовясь к жестоким мучениям. К его радости, ничего не сбылось из того, что он смутно представлял себе.

Митря попал под команду старшины Катарамэ и решил исполнять все, как раб, для которого единственный ис-

ход—полное повиновение. Страх перед побоями подстерегал его сердце, словно зверь. Он опасался своего собственного возмущения, как натянутой пружины коварного капкана. Вот почему старшина Катарамэ считал его ловким и покладистым парнем. Кокор нравился старшине, и тот взял его под свое покровительство. Но это мало облегчило Митре то горе, что угнетало его.

Через два месяца после зачисления Митри в полк старшина, как он сам выразился, «вынес постановление».

— Эх, Кокор Думитру, жаль мне тебя! Парень ты исправный и умный, да вот—неграмотный. Если бы ты хоть немного в школе поучился, сделал бы я из тебя человека. Как я понимаю, надеяться на семейное имущество тебе не больно приходится. Вот ты, пожалуй, и мог бы занять мое место, потому у меня в сорок втором кончается третий срок сверхсрочной службы. Каков ты есть, сможешь дойти до ефрейтора,—ну, а тут уж конец твоей военной карьере.

А то, в другой раз:

— Эй, Кокор Думитру, может, ты скажешь, что и в полку грамоте выучишься. Отвечу тебе, Кокор Думитру: артиллерия—трудное оружие. Завязнешь ты в теории, как в тине, так что и не вылезешь. Не будет тебе времени грамотой заниматься.

Как-то раз поздно вечером в канцелярии перед смотром новобранцев старшина Катарамэ соизволил принять в дар два литра вина от кузнеца Кости Флори. Митря помогал Флоре в свободные часы, так как умел ходить за лошадьми и легко с ними управлялся.

— Эй, Кокор Думитру, подсаживайся и ты, выпей стаканчик. Тебя вот просит старый служака. Говорит, ты добрый товарищ и уже научился ковать лошадей. Если понатаскаешься у него и в грамоте, быть тебе через год капралом. Он демобилизуется сержантом, а ты оставайся на его месте. Я бы сказал, что на вас вся моя надежда. Флоря—моя правая рука, Кокор—моя левая. Думаю, завтрашний смотр хорошо сойдет. Вся забота и ответственность на нас. А те—что они понимают?..

О господах офицерах старшина Катарамэ отзывался малоуважительно.

— ...Что они понимают? Волочиться за барыньками, зимой бегать по балам и играть в карты. Катарамэ столько не учился, как они. У Катарамэ только четыре класса гимназии, но он свое дело знает и силен в службе. Э-ге! Не будь

старшины Катарамэ...— Он погладил длинные седые усы и засмеялся.— Не будь старшины Катарамэ, трудненько бы досталось этим господам. Что скажешь, служба?

— Так оно и есть, как вы говорите, господин старшина,— заверил его Флоря, под столом тыча Митрю пальцем в коленку.

— Если бы мне да их образованье, эге, я бы далеко пошел! Что скажешь, служба? Налей-ка еще стаканчик и скажи. Далеко бы пошел... а может, и остался бы, как они. Зажил бы хорошо, и не было бы мне ни до чего дела. Был бы у меня старшина — такой вот, как я сейчас. Старшина, сделай то, старшина, сделай это, старшина, сделай все, за это тебе государство деньги платит, на то ты и старшина. А как мне платит государство? Эх, одни слезы. Едва свожу концы с концами. Лучше бы мне быть полковником, а господину полковнику быть на моем месте. Нет, так ничего не выйдет: ведь он дела не понимает.

— Зато если бы вы были полковником, вы бы понимали.

— И я так думаю,— приосанился старшина.— Я бы в лучшем виде затянул подпруги и пришпорил. Только я так и останусь, как есть, и в сорок втором выйду на пенсию. Может, государство даст мне кусок земли. Открою я мельницу...

Митря Кокор усмехнулся:

— Как брат мой — Гицэ.

— А что, Кокор, твой брат — мельник? Тот самый, что землю у тебя отнял?

— Тот самый. Только я у него отберу свою землю, как только отбуду свой срок.

— Может, подашь на него в суд?— рассмеялся старшина.— Пока найдешь правду, вся душа из тебя вон, и сам пропадешь и последнего достояния лишишься. Подумай-ка лучше, что война не за горами и нужно нам будет всего по три аршина земли.

Старшина, видно, решил рассеять печаль, вызванную этими словами, и торопливо выпил еще стакан вина.

Костя Флоря насупился.

— Унесет нас всех, словно листья,— проговорил он.— Пропадет вся молодежь, останутся одни убогие.

— Что ты говоришь, эй, служба!— вспыхнул старшина.— Солдаты мы или не солдаты? Обязаны мы или не обязаны воевать за родину?

Служба молчал, покачивая головой и глядя на Кокора. Тот снова усмехнулся:

— Мы будем воевать за господина Кристю Трехносого и за других вроде него, которые нас, бедняков, готовы живьем съесть.

— Что это за Трехносый?

— Да есть такой у нас...—вздохнул Митря.

Вмешался Флоря:

— Он мне рассказывал, сколько ему натерпеться пришлось. Горькая у него доля! Вино остынет, господин старшина.

— С этим бы я разделался, раз-два и готово,—расхрабрился Катарамэ. Он был уже под хмельком, и глаза его подернулись влагой.—Эх, Кокор, одно жалко—блюсти порядок могу я только здесь. Там же, в твоих местах, порядки наводят власти. А если не наводят, пошлем их ко всем чертям и займемся своими делами. Завтрашний смотр пройдет хорошо—вот у нас и порядок. Это главное. А уж этих господ я обработаю как знаю.

Старшина Катарамэ славился своим особым способом увещевания. Как человек приличный и воспитанный, он остерегался, ругаясь, поминать богов, святых и пречистых дев. Он упоминал только части их тела, их одежду и украшения: бороду Саваофа, венец богородицы, сандалии святой Юлианы, суму святого Петра, пупок архангела Гавриила, все четыре Христовых евангелия...

— ...Евангелия вашей матери, мужичье!—рычал он, широко расставив ноги и вытаращив глаза на хор четвертой батареи.—Разве так поют? Шире открывай глотку, чтобы на небе было слышно! Ведь ты солдат, сестре твоей архангельский пуп!

Для того чтобы проявить свою поэтическую оригинальность, старшине необходимо было значительное количество стаканов вина или вспышка гнева. В этот поздний час он долго ругал на все корки начальников и разных судей, потом начал устало позевывать.

Полковые часы пробили половину двенадцатого, когда капрал Костя и Митря отправились спать в кузницу четвертой батареи. Все было покрыто пушистым первым снегом, который слабо светился в безлунную ночь. Не слышно было ничьих шагов. Вдалеке, по углам внешней ограды, сонными голосами перекликались часовые. Сообщали друг другу, что на их постах все в порядке.

— Смена караула—самое счастливое время на земле,—пробормотал капрал.

Митря вздохнул:

— Уж никто не вернет мне тех лет, когда я недосыпал...

В полной темноте они шли к кузнице. Вошли в каморку позади горна. Каморка была теплая, хотя и тесноватая, с маленьким окошечком, закрытым ставнями. Капрал зажег сальную свечку, стоявшую на трехногой табуретке. На полу лежали соломенные тюфяки, покрытые шерстяными попонами.

Они зажгли цигарки и некоторое время лежали, покуривая.

— Ну, слышал его?—спросил Костя Флоря.—Как тебе нравится старшина?

Митря засмеялся:

— Мне нравится, как он ругается.

— Батарея—его вотчина,—серьезно заговорил Костя Флоря. —Он отхватывает от каждой порции хлеба и от каждого куска мяса, от овса для лошадей и от солдатского сахара.

— И никто его не накроет?

— А кто станет накрывать? Начальство ведь тоже своего не упустит. Капиталистическая система.

— Как ты сказал?

— Сказал-то я правильно, только ты не знаешь, что это такое...—улыбнулся капрал.

Митря опустил голову.

— Вот у вас, в Малу Сурпат, кто-нибудь отстаивает правду всех угнетенных и обездоленных?

— Там правда бедняков перед властями давно померла и похоронена,—прошептал Митря.

— И у вас, Митря, та же система, о которой я тебе говорил.

— Это значит, такая система, волк съел—овцы виноваты, господин капрал.

— По твоим словам, Митря, вижу, понимаешь ты что к чему, как всякий, кому довелось натерпеться.

— Да, господин капрал, настрадался я, и другие настрадались еще побольше моего, да молчат и терпят. А мне порой приходит в голову, что лучше уж умереть такой жалкой пичуге, как я.

— Ну-ну. Тебе учиться надо. Тогда ты начнешь еще больше понимать.

— Может, передо мной и ворота открылись бы...

Кузнец недоуменно посмотрел на него. Он ведь не знал ничего о сне, который видел Митря.

— Так вот, Митря, я думаю купить тебе книгу и грифельную доску. На пятой батарее есть один грамотный из наших людей. Он тебе покажет...

— Ужели правда?—вздрогнул Кокор.

— Правда, только ты никому ничего не говори. Позанимается он с тобой один день часок, другой день еще часок, поговорит с тобой о том о сем...

Кокор вздохнул.

— Есть на свете люди, друг Митря, которые борются за бедняцкую правду, за то, чтобы открыть глаза темному люду...—ровным голосом продолжал рассказывать кузнец.

Митря слушал его, ощущая в сердце радость, но все еще не решаясь дать ей волю.

— Трудно поверить в этакое.

Кузнец спросил с лаской и улыбкой:

— Слышал ты, дружище Митря, про революцию у русских?

Митря встрепенулся. Да, он слышал.

— Слышать-то слышал, а ведь не знаешь, что там было. Там поднялись угнетенные и свергли царя, отняли власть у капиталистов и установили власть рабочего класса. Вот обо всем этом ты и узнаешь от учителя. Теперь—спать! Третья смена прошла.

Митря лег на солому и завернулся в попону. Капрал потушил сальную свечу. Немного погодя Костя Флоря спросил:

— Эй, Кокор, ты что не спишь, все вздыхаешь?

— Я в другой раз скажу, господин капрал. Радостно мне, господин капрал.

— Зови меня по имени. Теперь мы друзья.

— Да.

— Ну, назови по имени.

— Да, Флоря.

— Вот так.

Митрю наполняло чувство глубокой радости. Кузнец заснул. Взволнованный Кокор не спал. Ему грезилось, что он стоит перед воротами. Потом ему стало представляться все, что он пережил перед отъездом из родного села.

Вот он предстал перед помещиком, чтобы поблагодарить по обычаю «за хлеб, за соль».

— Иди с богом,—пробурчал угрюмо Кристя Трехносый.

— Я, барин, хотел бы получить расчет.

— Какой такой расчет? Вот подожди, придет твой брат, с ним и поговорю. Я все записал, что тебе выдавалось. Насколько знаю, еще ты должником остаешься.

— До конца жизни?—вспыхнул Митря.

— Нет,—вытаращил на него глаза Кристя.—Попридержи-ка лучше язык там, куда идешь, не то отправят тебя к черту на рога. Счастье твое, что я такой мягкосердечный!

Митря отвел в сторону горящий взгляд.

Барин сочувственно покачал головой:

— Как вижу, нелегко тебе будет в жизни, парень. Не благодари меня. Иди!

Кокор повернулся и ушел. Выйдя за ворота, он распрямил плечи и потопал ногами, как бы отряхая прах долгих лет рабства.

Из Хаджиу он отправился на мельницу.

Брата Гицэ он застал одного. Жена и дети ушли на хору.

— Дал тебе что-нибудь барин?—спросил мельник.

— Как же, еще к моему долгу присчитал!

— Брось, Митря, я вот сам разберусь и все выясню.

— Чего выяснять, дело ясное: я работаю—я же и плачу́.

— Не так, братишка, не так,—занудил мельник, почесывая затылок.—Ты что, не доверяешь старшему брату? По-твоему, я не думаю о твоей судьбе?

Митря яростно крикнул:

— Когда придет время возвращаться в Малу Сурпат, останется от меня одна дубленая кожа. Вот моя судьба...

— Все может быть, если не смиришься.

— А ты, брат, сшей невестке из этой кожи туфли.

— Не лезь на рожон, братишка. Невестка тебе поесть оставила. Она тебе дарит два полотенца и две рубахи.

Митря промолчал.

К вечеру Митря отправился на хору. Там собрались парни, которым предстояло разъехаться по своим полкам. Он опорожнил с ними стаканчик-другой вина и захмелел. Вместе с ними пел он песни и шумел. Поздно вечером всем им надо было уже сидеть в поезде.

Митря пошел на мельницу за узелком с бельем. Невестки там не было. Узелок с бельем был в старом родительском доме.

— Я бы проводил тебя в Алуниш, на станцию,—сказал Гицэ,—да не могу оставить мельницу. Ну, давай руку и расстанемся как добрые братья.

Руку Митря ему пожал, но добрым братом себя не почувствовал.

Идя в село, он что-то бормотал; то и дело срывал с себя шапку и тяжело дышал, раздувая ноздри. С жалостью к самому себе думал он о том, как теперь с него сдерут шкуру и выдубят ее.

Невестки не было и в родительском доме. Она с детишками уже ушла другой дорогой. Митря застал только сватью Настасию. Она так выросла, что он ее не узнал. Толстые косы спускались ей на грудь. Большие карие глаза были все так же красивы.

— Я ждала тебя, братец Митря, чтобы передать белье.

— А!

— И коли есть у тебя время, посиди маленько, хочу у тебя спросить кое-что, посоветоваться с тобою.

— Хорошо, посижу.

— Знаешь, братец Митря? Сестра моя с зятем хотят отдать меня в монастырь Цигэнешть, туда, где наша тетка живет, старая монашка.

— Зачем туда отдавать?—удивился Митря.—Нет у тебя, что ли, права жить по-своему?

— Есть-то есть, братец Митря. Только сестра моя с зятем не хотят моей доли земли лишаться. Так вот, если пошлют меня в Цигэнешть, то земля им останется.

— А что ты мне все говоришь? Я не поп, чтобы исповедь принимать.

Настасия вспыхнула:

— Знаю я, братец Митря, что не нравлюсь тебе, что есть в Алунише Вета, дочка Вамеша, которой ты нравишься. Значит, судьба моя—идти в Цигэнешть.

Девушка заплакала, подперев щеку левой рукой.

Митря взял ее за правую руку и усадил рядом с собой.

— Кто тебе сказал про Вету?

— Да так, слышала.

— Знай, Настасия,—тихо заговорил Митря,—все это выдумки.

Она успокоилась и, улыбаясь, взглянула на него сквозь жемчужинки слез:

— Значит, не идти мне в монастырь?

— Нет, не иди.

— И дожидаться, когда ты вернешься?

— Этого, Настасия, я не говорил. Делай, как тебе сердце подскажет.

Она вздохнула.

— Я буду тебя ждать.

Настасия торопливо встала, вошла в дом и вернулась с румяными грушами, с того самого дерева, на которое когда-то, еще ребенком, лазал Митря и с которого его стаскивала мать, давно уже погибшая. Митре вспомнилось забытое лицо Агапии, и сердце его смягчилось. Девушка прочла в его глазах ласку и порадовалась за себя.

Митря не знал, что еще сказать. Он наморщил лоб и засмеялся:

— Настасия, хочешь, скажу тебе загадку про мельницу и про Гицэ?

— Хочу, братец,— ответила Настасия,— скажи.

Она снова присела рядом.

Митря встал и поднял ее, держа за обе руки.

— Скажи, Настасия, что это такое:

Век в работе
И в заботе,—
Но напрасно суетится:
Жрет—она, толстеет—Гицэ!

Настасия прыснула со смеху, закрывшись ладонями.

— Смотри, не скажи на посиделках.

— Другие найдутся, скажут,— заверила его девушка.

И оба перестали смеяться.

— Ну, пора мне!—решил Митря.

Она загрустила. Он оставил ее грустить, а сам ушел. На старой вербе стрекотала сорока. Стояла тихая осень.

Девушка догнала его и шла рядом с ним по улице села, пока не показались люди.

Глава восьмая

КАК У МИТРИ ЧУТЬ НЕ ПОЯВИЛСЯ УЧИТЕЛЬ

Учитель торопливо вошел в кузницу. Это был широкоплечий, смуглый мужчина, со вздернутым носом. Митря почувствовал, как у него забилось сердце, когда тот внимательно взглянул на него глубокими зеленоватыми глазами.

Костя Флоря предупреждал Митрю: «Если улыбнется тебе, значит, взял тебя в ученики». Учитель посмотрел на парня, что-то прикинул про себя и протянул ему букварь и грифельную доску. Увидев, как обрадовался Кокор, он улыбнулся, пожал ему руку и похлопал по плечу:

— Наверно, у тебя есть девушка, которой ты хотел бы написать?

— Есть,—серьезно ответил Митря.

Митре понравился его голос с мягкими переливами.

— Так знай, через месяц, самое большее через два, я куплю тебе почтовую открытку и карандаш, и ты ей напишешь.

Черные глаза Митри мгновенно словно подернулись туманом.

— Я ей напишу. Есть у меня к ней дело.

— Понимаю.

Митря смущенно сказал:

— Не про то, что вы думаете. Не про любовь.

— Значит, письмо деловое?

— Да, вышла там закавыка с одним мельником. Он называет себя моим братом.

— Хорошо, Кокор, если ты мне доверяешь и будет у тебя желанье, ты обо всем мне расскажешь. Только не сейчас: времени нету.

— А когда же начнем?—нетерпеливо спросил Митря.

— Потерпи. Сейчас, в одиннадцать часов, я должен явиться к полковнику. Мне только что, по дороге сюда, передали приказанье.

Капрал Флоря внимательно слушал и вопросительно посмотрел на него.

А затем перевел глаза на Митрю, и в этом взгляде была глубокая озабоченность. Учитель ушел.

— Может, ничего плохого и не будет,—заметил Митря.

Флоря, погруженный в свои мысли и заботы, покачал головой. Митря допытывался:

— Разве может что случиться?

— Может.

— А что я буду тогда делать с доской и букварем?—простодушно развел руками Митря.

Капрал Флоря горько усмехнулся:

— И такого человека травят как зверя, преследуют!—зашептал он.—Что ты на меня так смотришь? Подойди-ка поближе и стань тут. Может случиться, позовут и нас на допрос, чтобы мы свидетелями были.

— Да ведь он же не злодей?

— Нынешние власти считают, что злодей. Злодей, потому что в партии.

Флоря умолк. Глаза Митри продолжали спрашивать.

— В партии рабочих,— продолжал Флоря,— в той партии, которая хочет добыть правду всем обездоленным. Опять ты так на меня смотришь?

— Так и смотрю,— ведь я дурак, ничего-то я не знаю.

— Я тебе все объясню, только если тебя спросят,— ты не слышал ничего. Понял?

— Понял.

Митря почувствовал, как у него цепенеют язык и губы.

— Да только сегодня нет у меня охоты рассказывать. Сердце у меня все почернело, словно смола. Эх, сколько так пропало людей, что стараются мир переделать.

Кузнец был как в воду опущенный, в глазах его стояла скорбь. Митря не осмелился больше ни о чем спрашивать. Он решил ждать и надеялся, что опасения капрала окажутся напрасными и зеленоглазый учитель вернется.

— Оставь меня одного, Митря.

Кокор взял доску с букварем и вышел. Ему казалось, что они мертвы в его руках и он идет хоронить их.

День был промозглый, и окоченевшие солдаты слонялись по пустому плацу, скользя по грязи. Они бродили просто так—безо всякой цели, безо всякой надобности. Вороны кружились над казармами, хриплым карканьем предвещая метель. Горнист время от времени играл сигналы. Дежурные сержанты дробно стучали ногами, вполголоса изрыгая ругательства.

— Коляска господина полковника!—выкрикнул кто-то.

Кокор остался ждать в холоде и сырости на том месте, где его застал этот выкрик. Он еще долго стоял после того, как проехал полковник. В пролетке с поднятым верхом он увидел только сапоги со шпорами. Потом прошли несколько офицеров. Они торопились, затягивая на плащах ремни. Прозвучал сигнал к обеду. Митря переминался с ноги на ногу, словно приноравливаясь к тяжести своего горя.

— Эй, чего ты здесь ждешь, паренек?

Это был кузнец; унылый, потемневший, хмурый.

— Жду, не выйдет ли он.

— Попусту ждешь. Его взяли два агента из Главного управления сигуранцы и увели. Только сейчас я стал успокаиваться. Да что там за успокоенье? Горе, а не покой!

Сам не зная что делает, Кокор показал капралу букварь и доску. Потом снова зажал их под мышкой.

С этого дня Митря Кокор испытывал непрестанное волнение, видел тяжелые сны. Его судьба казалась ему такой же горькой, как судьба того, что увели.

Только один миг были они вместе. Даже имени учителя Митря не знал. В его зеленых глазах было, казалось, все будущее Митри. Один миг — и учитель исчез, как летучие видения печальных ночей. Теперь Зеленоглазый в тюрьме. Над ним учинила суд и расправу боярская власть. За что учинила суд и расправу, Митря понял легко. Кое-что объяснил ему кузнец Флоря; другое острой болью было врезано в его сердце. Зеленоглазый был бунтарем, коммунистом, одним из тех, кто поднимал рабочий люд. Зеленоглазый был революционером, как и те, кто разрушил русскую империю. Было ясно, почему правители страны преследовали Зеленоглазого и других таких же, как он, мучая их жестокими пытками в тюрьмах.

Сердце его сжималось. Зачем эта жертва? Зачем столько жертв?

Но он сразу понял, зачем, когда в памяти перед ним встало его нищее печальное детство.

И в нем кипело возмущение; он был подобен всему народу рабов, которыми полон мир. «Весь мир насилья мы разрушим!» — кричало все его существо. «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов», — звучали в его ушах слова, которые, бывало, напевал вполголоса кузнец.

«Зеленоглазый понимает наши страдания и надежды, мои и еще сотен тысяч таких, как я, — и вот теперь он брошен в пещеру людоедов», — думал Митря Кокор. Но кузнец Костя, поборовший свою мучительную душевную боль, внушал ему, что революционная армия, бесчисленная, подобно песку, сметет в прах власть тиранов, а все, кого преследуют, все борцы за народ выйдут из мрачных тюрем на солнце свободы.

— Горько мне, — признался как-то вечером Митря Кокор кузнецу, сидя возле теплого горна, — остался я без учителя, только с грифельной доской и букварем, будто с немыми братьями, от которых ничего не узнаешь. Боюсь, как бы на всю жизнь не остаться мне в темноте.

Вот был у нас, в Малу Сурпат, мужик один, Георге Мындря. Хоть и бедняк, а работник славный, с головою. Нашел он жену под стать себе, женился по весне и слепил на скорую руку землянку. Потом, не откладывая дела, занял денег под будущую работу и построил себе домик, в котором жить бы да поживать. Смелый был. Но только кто записан в

книгу в Хаджиу,— на всю жизнь в рабство записан. Стены он деревянные возвел, а достроить дом так и не смог. Вот и остался он рабом старого боярина, а потом Кристи Трехносого. И он раб, и жена его рабыня. Я знал их уже стариками, когда они всякую надежду потеряли.

Был в Хаджиу еще Лае, по прозвищу Бедняк, которого никто иначе и не видел, как в рваных постолах да в латаной-перелатанной сермяге. Летом ли, зимой — все так ходил. И пятнадцать лет и год тому назад — все так ходил. Были у него когда-то волосы черные, глаза живые. А теперь поседел, взгляд помутился. Он так и не вылез из бедности и, хоть век живи, не вылезет никогда, так и останется каким я его знаю.

Вот и я тоже. Думал учиться. А видать, останусь на всю жизнь невеждой и дураком.

Кузнец задумался, тяжко вздохнув.

— Давай, брат,— сказал он немного погодя,— договоримся с тобой, чтобы я не видел тебя больше в таком унынии. Грамоте я немножко знаю. А тем, что знаю, с тобой поделюсь. Дай-ка сюда букварь и доску.

Так Кокор и начал учиться.

Сначала было трудно. Пальцы не сгибались, в глазах мутилось.

Митря научился различать буквы и дрожащей рукой выводить их на доске, однако не мог понять связи между знаком и звуком. Он пыхтел, как после тяжелого подъема, и там, где останавливался, все еще ничего не видел. Кузнец сам не мог ему все объяснить. Но однажды вечером при свечном огарке Митре словно молния все осветила — он понял.

— Я высиживал эти заковычки,— радостно сообщил он кузнецу,— и вдруг из них, как цыплята, слова вывелись, даже я сам удивился.

Под пасху 1942 года Митря написал карандашом на почтовой открытке, соблюдая полковой стиль, следующие строки, немного кривые и с чересчур крупными буквами:

«Дорогая сватья Настасия, желаю, чтобы мое письмецо застало тебя в счастье, и извещаю тебя, что мы, рекруты, окончив ученье, готовимся к делу, и не знаю, увидимся ли мы еще в этой жизни, но, может, бог даст, и уцелею, так что ты меня жди. Обнимаю тебя тысячу раз и остаюсь твой ефрейтор Кокор Думитру».

Глава девятая

УЖАСЫ ВОЙНЫ ВТОРГАЮТСЯ В ВЕСНУ ЛЮБВИ

По этому посланию видно начинающего грамотея, который, чтобы нанизать слова «как курица лапой», пропотел целый час, так как правительственная цензура преследовала слово «война», и он знал это. Остерегались, чтобы «шпионы» не проведали, когда и как отправляется новое пополнение на восток. Митря писал: «Мы, рекруты, окончив учение, готовимся к делу...» Между двумя папиросами, скучающий цензор скользнул глазами поверх этих невинных известий. Но сватья Настасия в Малу Сурпат была более внимательна.

Газеты тоже были абсолютно немы относительно перемещения войск по стране, как и сообщения по радио и официальные объявления, вывешенные примэриями и префектурами. По мнению тогдашнего правительства, народ не должен был ничего знать об этих секретах, предназначенных только для великих мира сего.

И все-таки народ знал. Раньше и точнее других узнавали все рекруты, когда приходила их очередь отправляться на бойню. В поле, проходя боевую подготовку, на учебной стрельбе или в казарме, на занятиях по теории офицеры говорили только о противнике и еще раз о противнике, развернувшемся на безграничных пространствах среди лесов и болот. С некоторого времени упоминались скалистые горы, например такие, как на Кавказе. Слово «Одесса», неизвестное ранее целым поколениям крестьянских тружеников, покоящимся на кладбищах, теперь часто мелькало в обычных разговорах.

Впрочем, два раза в день германские военные сводки опровергали двусмысленное молчание тогдашних правителей Румынии. Война становилась все более жестокой и требовала увеличения войск, то есть увеличения жертв. Высылка евреев и цыган за Днестр была поводом к политическим комментариям для людей, которых систематически держали вдали от подобных занятий. Бесконечные железнодорожные составы с военной добычей немцев и даже «трофеи» румынского командования, состоявшие из того, что проскальзывало у немцев между пальцами, указывали, что там, далеко на востоке, происходят события, неслыханные прежде, сколько в мире ни было войн. Неофициальная, но правдивая военная сводка составлялась ранеными, побывавшими под огнем, и самыми различными курьерами—то от дивизий, то персонально от

офицеров. Официально узаконенный грабеж, массовое уничтожение мирных сел и ни в чем не повинного населения, сотни разрушенных и сожженных городов—все это говорило о том, что мир постигло бедствие пострашнее, чем были в давние времена нашествия Атиллы и Чингисхана с их ордами.

Командующие немецкими войсками похвалялись «научной» войной, поставив на службу смерти и разрушения все достижения науки. Еще сотню лет тому назад существовал закон войны, который был, если можно так сказать, человечным,—он запрещал солдатам под страхом смерти грабить и убивать невооруженное население на территории противника. Теперь это запрещение было отменено немцами, и командиры приказывали войскам воевать безо всякого намека на человечность, еще более жестоко, чем дикие орды в старину,—так что люди теперь научились—каждый это скажет—особенно ценить ласку и милосердие.

Атилла полторы тысячи лет тому назад считался «бичом божьим», а Чингисхан в тринадцатом веке—истребителем рода человеческого. Оба, превращенные в прах, вызывают проклятия веков—и они сами и их орды. Теперь Гитлер возомнил себя чем-то вроде парового катка, дробящего в порошок все другие народы, чтобы в мире осталась одна германская нация. Конец его предначертан самим этим безумством истребления. Атилла и Чингисхан были жестокими, необузданными варварами, которые умели расписываться только мечом и пьянели, распивая вино из черепов побежденных. Они жили во времена темноты и невежества, между тем как гитлеровский «каток» появился как бы из могилы прошлого среди современного мира, слывущего цивилизованным.

Ефрейтор Кокор Думитру имел обо все этом поверхностное представление и с горечью пытался в нем разобраться. Во всяком случае он понимал, что приходит его черед идти на гибель. Ему нечего было делить со своими собратьями-людьми там, на востоке, где свирепствовала буря разрушения. Он никому не желал смерти, да и самому себе желал благополучия. И в нем накипал гнев при мысли, что после долгих лет рабства теперь у него без всякого повода и без всякой вины отнимают жизнь.

Он начал понимать, что эту войну затеяли ненасытные, что за этих вечно ненасытных гибнут вечно голодные, что помещики и капиталисты расплачиваются за войну народной кровью, пытаясь ниспровергнуть русскую революцию, чтобы

отвратить угрозу, нависшую и над ними. Такие зачатки понимания появились у Митри от разговоров с кузнецом Флорей и от брошюр, которые тот давал Митре, читавшему их до поздней ночи при свете сального огарка, пока совсем не слипались глаза.

Почтовая открытка, хотя и написанная неопытной рукой, была составлена так, что могла дойти до Малу Сурпат сквозь все препятствия. Настасия должна была понять, что ей нужно приехать к нему, «свидеться хоть еще разочек в жизни». Коли не удастся приехать, пускай, мол, все равно его ждет: может быть, он уйдет от смерти и вернется.

Это было письмо любви и тоски.

Письмо дошло до Малу Сурпат, и почтальон принес его на мельницу, вручив Настасии прямо в руки. Девушка прочла его с несказанным удивлением, вся зардевшись. Она поглядела вокруг, не угрожает ли кто ее сокровищу, и спрятала открытку на груди, рядом с веточкой чабреца, сохраняемой в память о том, на кого уже перестала надеяться. Но вот он прислал весточку.

Неизвестно, через кого — подружек или кумушек, двоюродных сестер или сватей,— но в Малу Сурпат узнали, что призывников 1942 года скоро отправляют на войну. Даже очень скоро. Жены, братья, родители должны немедленно собраться в путь, чтобы хоть еще разок повидать милых сердцу.

— И мы непременно поедем! — решительно заявила Настасия своему деверю и сестре, сурово глядя на них и оправляя дрожащими пальцами косы, уложенные короной.

— Уж и герань за ухо заткнула! — раздраженно закричала мельничиха.— Письмецо и она получила!

— Получила...— пробормотал мельник.— Мне уже в корчме почтальон говорил. От Митри.

— Господи боже мой! Получаешь письма от военных, писанные полковыми писарями, чтобы все люди знали и смеялись над тобой. Правду говорит Гицэ, не с людьми твое место, а в монастыре.

— Нет, место мое с людьми,— поджав губы, сказала Настасия,— а письмо он написал своей рукой.

— Уж не научился ли он грамоте на службе? — изумился Гицэ.

— Научился! — задорно ответила девушка.

— Ну и история, братцы-сестрицы мои! — завопил мельник.— На что это ему нужно? Что делать солдату с грамотой, а?

Солдату другое надобно. Солдат должен идти на войну и биться с врагом — вот его дело! Он идет с оружьем и стреляет в того, а тот в него. Вот так мы говорили в корчме Убивают одних, убивают других...

— А ты что, Гицэ, на родного брата смерть накликаешь?

— Ничего не накликаю, только война — она и есть война.

— А его добро тебе достанется?

— Какое добро? Нет у него ничего. Останется мне несчастный клочок земли, так его еще обработать нужно.

— А если вернется Митря?

— Пусть вернется!

Настасии хотелось вцепиться в деверя ногтями. Глаза ее округлились и обнажились зубы, похожие на лепестки ромашки.

— Вернется он, вернется!

Она пропела эти слова, как победную песню.

— Откуда ты-то знаешь?

— Знаю.

— Из письма, что ли?

— Из письма.

— Дай-ка и я посмотрю.

— Что ты увидишь, когда грамоте не знаешь?

— Дай, мне поп прочитает.

— Пусть тебе поп отпущение грехов читает. Не дам я письма.

— Эй, отдай письмо, а то поколочу.

— Колоти того, кого раньше бил, образина.

Гицэ бросился на нее, мельничиха завизжала, всплеснув руками. Настасия мигом выскочила за дверь и как ветер помчалась к своей крестной, Уце Аниняске.

Около полудня явилась мельничиха звать ее обедать:

— Пойдем, сестрица, Гицэ утихомирился.

— Не пойду я к врагу ненавистному.

Крестная Уца была вдовой, но еще женщиной в силе. Она с укоризной посмотрела на них. Глаза у нее были черные, брови срослись.

— Эх, девки, — сказала она, — попадете на язычок всему селу. Стыд-то какой!

— И правда, тетка Уца, — запричитала мельничиха. — Скажи ты Настасии, чтоб возвращалась. Пусть не боится. Гицэ тоже не хочет скандала. Такой человек, как он, не должен себя ронять. Что там споры заводить с сумасшедшей девчонкой!

— Сумасшедшая, да не я! — змейкой взвилась девушка.—Я жизнь свою защищаю.

— Пусть будет по-твоему,—смирилась мельничиха,—только пойдем. Промеж людей, что у мельницы собрались, уже пересуды пошли. Спрашивают, вправду ли мы тебя в монастырь отослали, вправду ли ты невеста ефрейтора... чего только там не болтают...

— Если мне еще скажут слово,—закричала девушка,—выбегу на улицу, все село соберу!

— Боже избавь, чтобы такое случилось. Вот беда! Что же будем делать?

— Иди, крестница, иди, Настасия, помни, я здесь,—вмешалась Уца Аниняска, погрозив пальцем мельничихе.—Сделайте так, как хочет девушка. Поезжайте в город, проводите с миром Митрю. Дайте ему, бедному, денег—дорога ведь долгая, тяжелая. Скажите доброе слово как брату.

— Правда, тетка Уца, правда, тетка Уца,—вздыхала старшая сестра. А Настасия тоненько затянула вполголоса песню и перед зеркальцем, величиной с ладонь, поправила заткнутый за ухо цветок герани.

Тетка Уца поплевала, чтобы уберечь Настасию от сглаза.

— Вот такой и я была в молодости,—вздохнула она, и на глаза ей навернулись слезы.

В следующее воскресенье на базаре в городке собралось множество крестьян со всего уезда и из более дальних мест; одни приехали поездом, другие в телегах. При них не было ни продуктов, ни скота на продажу, а только котомки со съестным и сменой белья. Весть об отправке рекрутов разными путями проникла повсюду.

Один товарищ из Малу Сурпат сообщил в казарму ефрейтору, что к нему приехали из дому.

— Уж не брат ли мой, мельник, пожаловал? — с удивленной улыбкой спросил Митря.

— Нет, кое-кто покрасивей,—ответил Тудор Гырля и подмигнул.

Батарея получила увольнение. Для господина старшины Катарамэ этот праздничный день был днем взимания пошлины, словно для попа на поминках.

— Отправляйтесь, четыре евангелия вашей теще, подарков вам навезли из ваших имений.

Митря Кокор запыхался, спеша поскорей добраться до базара. Его красивый подарок мог прибыть с мельничихой. Где же они могут быть? Нигде не видно.

Кто-то слегка потянул его за рукав. Он резко повернулся. Его горящие глаза остановились на Настасии. Косы ее были украшены бумажными цветами, купленными у торговца. Тоненькая, гибкая, она улыбалась, показывая все свои зубки.

— Вещи, что я привезла для тебя, Митря, остались в телеге у крестной.

— Ты приехала с Уцой Аниняской? Где же она?

— У нее с купцом знакомым какие-то дела. Просила пожелать тебе здоровья, коли не успеет повидаться с тобой сама. Она меня к тебе послала.

Митря сжал руку девушки.

— Передай ей от меня большое спасибо. Не за вещи, а за то, что тебя привезла.

— А это я сама приехала,— засмеялась девушка.— Ох, как мы перепугались дома! Гицэ хотел меня убить, а потом присмирел. Я тебе все расскажу. Сначала была речь, что сестра поедет, да вчера вечером схватило у нее поясницу, а Гицэ взбрело в голову, что будет, мол, ревизия на мельнице, ну я и присоседилась на телегу к крестной. Ведь нельзя, чтоб никто не приехал.

— Радость моя приехала.

Она вдруг замолчала и пристально посмотрела на него. Ее тонкие губы слегка дрожали, карие глаза наполнились слезами. Вокруг толкался базарный люд. Некоторые останавливались и минутку смотрели на них улыбаясь. Митря чувствовал, что это место совсем не для тех слов, которые он хотел сказать.

Он взял Настастию за руку, в которой она держала платок, приготовленный для него: он знал, что будет в далеких краях носить этот платок, напитанный тоскою и слезами той, что его вышивала. Девушка следовала за ним. Легкая тень неожиданно набежала на ее румяное, загорелое лицо.

Молча шли они к окраине города по улицам, среди цветущих весенних садов. Свернули на дорогу, обсаженную густой акацией, покрытой розовыми гроздьями цветов. Прошли через ворота с надписью большими золотыми буквами: «Аллея вечности». Оба вместе они прочитали тихим голосом это название, лишенное всякого смысла. По аллее они дошли до кладбища. Девушка начала рассказывать о домашних делах. Он слушал ее, ему нравился нежный звук ее певучего голоса. Время от времени они останавливались у какой-нибудь решетки, с которой свисали живые цветы и высохшие

венки. Среди кустов в бедном уголке кладбища по временам пробовал насвистывать молодой дрозд. Вокруг них был солнечный свет и безлюдье.

— Уезжаешь?—произнесла она вдруг дрожащими губами, пристально глядя на него. Она не дала ему даже ответить.— Наши сельские собрались вокруг телеги крестной, горюют. Тут и из других сел сошлись. Совсем мы осиротели, говорят. Увозят наших на чужбину, мы — бедные крестьяне, говорят, нам война не нужна, нечего нам делить ни с кем.

— Это так, да что поделаешь!

— Кому счастье, тот вернется,— сказала Настасия с печальной улыбкой.

Митря остановился.

— У меня тоже есть счастье, и я вернусь к нему.

Девушка повеселела, но по лицу ее тихо покатились слезы. Она обняла его левой рукой и склонила голову к нему на плечо, поближе к сердцу. Сильно билось это сердце. Она ждала, что ее обнимет его рука. Она ждала первого объятия из тысячи обещанных в открытке, которую носила на груди вместе с веточкой чабреца.

И действительно, пришло это счастливое, единственное мгновение в то время, когда кукушка, передразнивая свое имя, пролетела в вышине над могилами к аллее со странным названием.

Глава десятая

ВОИНСКИЙ ЭШЕЛОН ВСЕ В ПУТИ И В ПУТИ...

Капрал Костя Флоря был старшим в вагоне, в котором ехал Митря. Вместе с ними было много других товарищей.

— Каждый заботится о своем диване,— сказал Митря.

В вагоне для скота, который правительство предоставило своим «воинам», слова Митри вызвали смех и перелетели в другие вагоны.

«Не растягивайте диванов», то есть не занимайте так много места; «Выбросьте вон диваны», то есть выбросьте солому, на которой спите. «А то они сами убегут»,— зло добавлял Митря.

Шутки по поводу бегающих и летающих диванов дошли из вагона капрала и до офицеров.

— Ваши диваны тоже убегут! — говорил Митря при встрече с товарищами из других вагонов.— А на себе и вас вывезут!

Старшины приказали обозначить мелом на всех пятиде-

сяти вагонах пункты назначения. Конечно, точное направление никому не было известно. Но старшины узнали от господ офицеров, что пунктами назначения были Москва и Сталинград. Грамотеи вывели на серых досках огромными буквами: «Бухарест—Москва», другие—«Бухарест—Сталинград». Нашелся какой-то храбрец, который написал еще крупнее: «Вагон направляется в Сибирь». Но на этот раз хоть место бойни как бы отдалилось.

А Митря Кокор еще приписал: «Бухарест—Москва, туда и обратно». Эта приписка немедленно была принята всюду. Однажды вечером капрал Флоря стер со своего вагона «туда и обратно».

— Там хочешь остаться?—с усмешкой спросил его Митря.

Капрал посмотрел вокруг, нет ли кого поблизости, и улыбнулся, ничего не ответив.

Полковник Паладі, человек седой и серьезный, узнав об этой игре с надписями, нахмурился.

— Надо прекратить эти глупости,—указал он молодым офицерам.—Вы думаете, они стремятся в Москву или Сталинград? Пусть бы у меня так голова болела, как они хотят этого. Есть приказ, вот мы и везем их. Ведь так, что греха таить! Знаю я наших крестьян, все себе на уме. В конце концов они правы. Бедняги не имеют никакого понятия о политике. По крайней мере по поводу Сибири они просто издеваются. Прикажите стереть надписи.

Приказ был отдан.

— Да и внутри почистить вагоны от дураков и вшей,—шепотом произнес Митря, и его слова были сразу подхвачены всеми.

Мимо больших станций эшелон проходил с патриотическими военными песнями. Потом вагоны мало-помалу умолкали. Рекруты, как люди себя называли, тоскливо, с каким-то безразличием глядели на зеленые поля.

— Вот оно, наше поле боя,—пашня...—сказал как-то Митря.

Весь вагон капрала покатился со смеху.

— Смеетесь, как дураки,—обиделся Митря.

Товарищи недоуменно посмотрели на него. Они привыкли к тому, что Кокор всегда шутит.

Целую неделю ехали они так. На одиноких полустанках делали долгие остановки. Иногда шел дождь и окутывал все мокрой пеленой: она висела над солдатами, как черная тоска над смертниками. Митря дремал в своем углу, рядом с Костей



Флорей. Он упрямо старался сосредоточиться, пока перед ним не возникали карие глаза. Тогда он вздыхал и стонал. Все существо его страдало.

Ему было немного стыдно перед капралом.

— Что с тобой, Митря? — спросил однажды Костя.

Митря в ответ сказал только половину правды:

— Эх, брат, думаю я, где теперь учитель, который дал мне в руки букварь и доску. Что он теперь делает? Один только раз видел я его в жизни, а забыть не могу.

— Учитель ждет своей поры,— ответил кузнец.

— Он жив?

— Да, насколько я знаю. А о чем ты еще думаешь?

— Эх, брат, сумасшедшие мысли приходят мне в голову. Деды наши странствовали туда и сюда, а все же можно было до них палку добросить. Мы же катим на край света — посмотреть, где там конец земной оси.— Товарищи стали прислушиваться к словам Митри. Все ожидали шутки.— Едем,— продолжал Митря,— безо всякого интереса. Деды отправлялись кусок хлеба добывать, а мы едем погибать.

Капрал нахмурился.

— Тебе государство платит по лее в день, тебе бесплатно предоставляется поезд, одежда и довольствие.

— Не говори об одежде, а то солдат разозлишь.

Товарищи с грустью оглядели свое обмундирование, полученное от начальства.

— Эй, солдаты! Сердитесь? — спросил Флоря.

— Веселимся.

Илие Дафинеску, приятель Кокора, добавил:

— Это только Митря вздыхает и печалится.

Солдаты повернулись к Митре Кокору.

— Я думаю,— вздохнул Митря,— о бедняке из одной сказки, который с мешком отправился к господу богу спросить его о своем злосчастье. А я с двумя мешками иду прямо к нечистому.

Солдаты приуныли.

— Митря, должно быть, немножко рехнулся,— шептались они между собой,— говорит не по-людски.

И действительно, Кокор не украшал своих речей пословицами, поговорками и анекдотами, как это делали другие острые на язычок солдаты. Слова ефрейтора рождались из самой горечи жизни.

Долго так шел поезд, оставляя за собой огромные пространства, пока не стали появляться опустевшие села. Все было разрушено и выжжено. Ветер доносил смрад пожарищ и

трупов. Собаки блуждали по руинам, снова превращаясь в волков. Поджав хвосты, вытянув вверх морды, они выли, как по покойнику.

Однажды, высовываясь в открытые двери вагона, товарищи Митри дивились на места, где ничего не осталось, кроме стен и амбразур. Когда-то это был город. Уже стемнело, но огней еще не зажигали. Среди куч мусора, оставшихся от вокзала, стоял низкий дощатый барак и палатки подразделения, охранявшего железную дорогу, что связывала мир с пустыней и фронтом. Среди укреплений и палаток на бараке зажглись электрические лампочки. То, что было городом, вырисовывалось вдалеке, на фоне грозового неба, словно видение, вставшее из глубины давно позабытых веков.

На маленьких станциях, где оставались запасные пути, поезд простаивал по суткам, чтобы люди могли отдохнуть от отупляющей тряски. Все испытывали какое-то головокружение. Люди сновали вокруг в поисках свежей воды. Другие яростно мылись у колодца или у ручья, обнаженные до пояса, не замечая, что только размазывают на шее всю паровозную копоть, осевшую на них, как смазка. Из вагонов выбрасывали «диваны» и жгли из них костры. «Читали газеты», то есть снимали рубашки и внимательно осматривали их у огня.

Однажды после полудня Митря и кузнец забрели на хутор, уцелевший неподалеку в лощинке, где среди многих опустевших домов притаилось и несколько обитаемых. Две коровы паслись на запущенном поле, а с ними несколько тощих поросят; с десяток кур испуганно закудахтали при приближении Митри и Кости и разлетелись в разные стороны. За одним из домов спряталась женщина, прокрадываясь к высокому коноплянику.

Капрал Костя Флоря выкрикнул несколько русских слов. Женщина обернулась к чужим солдатам. Это были не немцы. Она попыталась им улыбнуться. Получилась гримаса: зубов под верхней губой не было.

— Бабушка, были здесь германы?

— Были...— жалобно отвечала она, показывая пальцем на свой рот с выбитыми зубами.— А вы кто будете?

— Мы не немцы, бабушка.

— Так, так... значит, люди... Куда это вы?

— На фронт едем. Румынские солдаты, бабушка.

— Ой, горюшко-горе!—запричитала женщина, охватив голову руками.

Митря почувствовал, как этот крик пронизывает его до глубины души. У капрала на глазах выступили слезы.

Неподалеку показалось еще несколько женщин, два старика в зипунах и несколько ребятишек, обутых в опорки.

Кокор перехватил их быстрые, как стрелы, враждебные взгляды. Кое-кто сжимал в руках вилы. Ефрейтор достал из сумки краюху черного хлеба, в то же время открывая пальцем кобуру револьвера. Он разломил хлеб и протянул детишкам. Сначала они хотели бежать, но потом приблизились и протянули слабенькие ручонки со скрюченными пальцами. Один из стариков сделал шаг вперед и дребезжащим голосом спросил по-румынски:

— Вы румыны?

— Да.

Старик повернул вилы зубьями в землю и сказал, мешая румынский язык с русским:

— Ага! Мы были там... были на войне. Тогда—другая война. Теперь герман—волк, герман—гусеница, герман—саранча.

— Что он говорит?—спросил Митря.

— Говорит, что немец—волк, гусеница, саранча, а не человек.

— Но наши сыновья погонят их назад!—продолжал старик на своем языке, а капрал переводил Митре.—Назад! Назад! У! Как их бьют! У! Как их лупят!

— Немец—капут!—вдруг крикнул и другой старик, и его тщедушное тело в зипуне затряслось от радости.—Не ходите дальше. Возвращайтесь-ка домой.

— Господи, бедные вы мои, славные вы мои...—причитала бабушка, идя за ними вслед.

— Смеются они над нами!—пробормотал Митря.

Капрал не ответил. Они пошли обратно на одиноко стоящую станцию. Время от времени они переглядывались, понимая друг друга без слов.

— Ничего не рассказывай ребятам,—предупредил Костя Флоря.

Глава одиннадцатая

...ПОКА ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ МИТРЯ И ФЛОРЯ НЕ УВИДЕЛИ МОЛНИИ ВОСТОКА

— Придвигайтесь поближе, господа,—обратился после ужина полковник Палади к своим офицерам, поспешно развертывая карту, пока денщики убирали со стола.—Поближе, прошу вас,

чтобы вы все могли ознакомиться с общим положением военных действий.

Подобные совещания происходили почти ежедневно. Но в этот вечер полковник казался особенно возбужденным. Более тускло горели свечи. Облака, бегущие с востока, угрожали бурей.

— Впервые у меня был хоть какой-то разговор с немецким офицером,— неожиданно заметил командир, поднимая глаза от карты.— Речь идет о коменданте здешней проклятой станции. Это произошло как только мы прибыли сюда. Он, прошу вас заметить, пытался внушить мне, что продовольственный склад пуст и мы не можем рассчитывать на положенное довольствие. Мы, мол, не двинемся с места несколько дней, это, мол, его стесняет, они, мол, должны снабжать составы, двигающиеся изнутри страны. «Я сам не желаю торчать здесь. Дайте скорее приказ об отправлении».— «Не могу, с фронта один за другим прибывают поезда, вы сами могли заметить, что дивизии, вероятно, перегруппировываются». Ответил, называется! Так нервничал я лишь на том проклятом полустанке, где мы пересели на широкую колею. Да простят мне мои слова, но наши друзья немцы смотрят на нас до некоторой степени как на вспомогательные войска.

— До некоторой степени? — выразил вполголоса свое удивление коренастый лейтенант.

Полковник пристально посмотрел на него, то и дело хватаясь правой рукой за то место на столе, где должна была стоять бутылка с коньяком.

— Может быть, вы и правы, Микшуня,— заметил он, кивнув головой.— Дайте мне, пожалуйста, папиросу, из тех, что у вас еще остались из дому.

— С удовольствием, господин полковник.

Офицер протянул своему начальнику серебряный портсигар и зажигалку.

— Благодарю, Микшуня. У меня есть спички. Прошу прощения за вырвавшиеся у меня слова, которые наш товарищ еще подчеркнул. Порой и у меня бывают тяжелые моменты. Когда встречаешься с людьми в подобной ужасной пустыне, хочется увидеть улыбку, услышать приветливое слово. Так нет же! У них точность автоматов и абсурдная непреклонность.

— Они станут человечнее, господин полковник,— снова осмелился подать голос Микшуня, подмигнув одним глазом.

— Я понимаю, на что вы намекаете, и не одобряю вас.

Микшуня потупил голову.

— Все же, Микшуня, в ваших словах есть доля правды. С некоторого времени мы отмечаем на карте передвижения, которые кажутся странными. Возможно, нам не совсем ясно соотношение сил. После молниеносных продвижений вперед — стратегические отступления.

Офицеры настороженно молчали.

— Несомненно, что никогда в мире,— продолжал полковник,— не было столь хорошо обученной и столь хорошо организованной армии, как эта. Однако...— вздохнул он,— мной овладевает тревога, когда я начинаю думать, что...

Он бросил потухшую папиросу и взял другую из портсигара лейтенанта.

— Это схватка...— Он зажег папиросу.— Смертная схватка на тысячи километров, от Балтийского до Черного моря... Миллионные армии... техника, какой никогда не бывало... Авиация, командование... Что еще можно сказать? Но происходит нечто невероятное, и мы не можем этого не заметить. Ведь мы же профессионалы, черт возьми! Мы отдаем себе отчет. Сообщения командования, как ни замаскированы они словесными выкрутасами, свидетельствуют о некоей отступательной заминке.

— Только заминке? — опять вмешался лейтенант.— А под Ленинградом, под Москвой, где-то на Волге...

— Да. И в том направлении, куда мы едем и никак не можем доехать. В трех решающих пунктах. Не выпьете ли и вы, ребята? — добавил он, указывая папиросой на бутылку с коньяком.— Как говорит старшина Катарамэ, дело дрянь! — Полковник криво усмехнулся, обнажая черные зубы.— Но это еще не все. Русские перешли к контратакам, и все более мощным. Мы должы признать, что их продвижение не прекращается. С другой стороны, те пополнения наших союзников, которые направляются на фронт, кажутся мне гораздо более низкими по своим качествам, чем два года тому назад: теперь это зеленая, плохо обученная молодежь. Что бы вы сказали, если б пришлось сразу бросить в бой вот этот состав, набитый мужичьем? Красиво, не правда ли? В пух и прах их разнесет. Так и с теми мальчиками. Едут с энтузиазмом, распевают во всю глотку, а после плачут и зовут «мутерхен» [1]. А из самых глубин Востока, господа, движутся

---

[1] Мамочка *(нем)*.

войска, и войска прекрасно экипированные, прекрасно обученные, будто и не они отступали. Но это те же самые, а за ними появляются другие, их еще больше, тысячи, миллионы. Авиация, танки, моторизованная артиллерия, «катюши» и не знаю, что там еще. Чего только у них нет, господа. По совести скажу вам — как старый военный, еще в молодости проделавший кампанию вместе с русскими,— я не могу не восхищаться ими. Меня весьма беспокоит, что они все продвигаются и продвигаются, одерживая победу за победой. Они разбили Наполеона. И вот, оказывается, Германия тоже проигрывает партию.

Полковник закурил еще папиросу и налил еще рюмку коньяку, последовавшую вслед за многими другими. Жесты его становились все оживленнее, сиплый голос — все громче.

В тот вечер ефрейтор Думитру Кокор стоял в первую смену на карауле у офицерского вагона вместе с Илие Дафинеску — Митря с одной стороны, Дафинеску — с другой. Окна были закрыты занавесками, «чтобы солдатня, мол, не видела, что делает начальство», как объясняли себе сами солдаты. Полковник сидел между лампой и окном, так что Митря видел на занавеске его черную и слегка увеличенную тень. Вокруг Митри все было тихо и безлюдно, он остановился у окна и стал прислушиваться. Иногда до него доносились обрывки фраз. Он наблюдал за движущейся тенью полковника. Левой рукой тот подносил ко рту папиросу с длинным мундштуком, а правой время от времени опрокидывал рюмку.

«Страсть как ему нравится это питье, что коньяком зовут,— думал Митря.— Стакан большой, а наливает коньяк понемногу. Зато часто наливает! Девять раз подымал правую руку».

Митря смеялся в темноте сам с собою. Ему вспомнилось, что говорил Катарамэ о русских: «Как же это мы с вами, москали, договаривались? То говорили, что у вас контрреволюция началась, то оружия нет... а теперь-то все у вас есть — замо́к святого Петра от райских врат и тот, верно, есть. Славно отделали Наполеона, не хуже отделают и Гитлера».

Была безлунная ночь. Далеко на востоке сгрудились тучи, застыв, словно недвижные горы.

В ночной тишине Кокор дослушал до конца речь, которую произносил в вагоне полковник. Пришло время сменяться. Разводящий капрал привел на его место другого. Ефрейтор передал ему пароль и ушел. Теперь он мог спать до самого рассвета.

Его телячий вагон был шестым с конца. Около него Митря наткнулся на капрала Флорю, поджидавшего его. Отойдя немного к хвосту состава, Митря вполголоса рассказал капралу все, что видел и слышал. Зевая, он прибавил:

— Да, видать, и господа офицеры думают про войну вроде нашего старшины.

Кузнец ничего не сказал на это. Он только спросил:

— Спать хочется, Митря?

— Хочется, но не очень. А что?

— Коли хочется спать, не ходи в вагон. Уж больно там душно, вонью так и шибает. Выйдешь на минутку, а потом и войти обратно не можешь. Я снаружи устроился. Потому и тебя поджидал. Я тут нашел шагах в пятидесяти копну сена. Привалимся к ней спиной и хорошо уснем. Ночь уже на исходе. Через три часа светать начнет.

Они добрались до копны и в темноте умостились на сене. Прошло некоторое время, кузнец спросил:

— А о политиках наших не говорили?

— О ком это? Об Антонеску?

— Да.

— О нем не говорили.

— Конечно,— заметил кузнец,— за шкуру свою боятся.

После тишины, сменившей этот ленивый обмен словами, вдруг на востоке в черной туче зажегся огромный красный глаз. Зажегся и потух, как будто подмигнул. Митре показалось, что злой дух степи погрозил бедным людям, заплутавшимся в этих местах.

— Видел?

— Видел,— тихо ответил кузнец.— Там гроза. Далеко-далеко.

Бескрайняя степь застыла вокруг них, как мертвая. Однако что-то тонко и дробно звенело в неподвижной тиши. Мириады насекомых пиликали жесткими надкрыльями, разыскивая друг друга и справляя свадьбы среди травы. «Так же много и тех, кто идет на нас»,— думал Митря.

Еще раз сверкнул глаз злого духа. Черная туча начала тихо двигаться, принимая неопределенные очертания, пока не превратилась в крылатого коня, устремившегося в неудержимом прыжке. Она вытянулась и вскоре исчезла в южной стороне.

Восток посветлел, степной шелест утих. Из безграничной дали послышалось что-то вроде свиста. Вскоре после этого над безлюдьем, в котором бодрствовали оба друга, пронеслось

холодное дуновение — отдаленное движение бури. Это длилось минут десять и прошло. Снова воцарилась тишина.

Кокор насторожился, как, бывало, в Дрофах, когда нес ночную стражу. Степной шелест больше не возобновлялся.

— Полное молчанье,— пробормотал кузнец Флоря.

Митря прошептал:

— Что-то теперь наши дома поделывают?

— Гляди! — таким же приглушенным голосом прервал его капрал.

Митря хотел задать вопрос, но застыл от удивления: там, вдалеке, откуда промчался грозовой конь, гнались друг за другом огненные сполохи. Не слышно было ни звука, только видна была вспышка за вспышкой.

Оба друга молчали с бьющимися сердцами. Там был фронт, куда направлялись солдаты.

Глава двенадцатая

КОНЕЦ МНОГИХ ЖИЗНЕЙ И ГОРЕСТЕЙ

Среди прочих хитроумных измышлений этот воинский эшелон № 404, казалось, придумал для себя особый рекорд: никогда не доехать до места назначения. Он свистел, дымил, стучал колесами, пыхтел, останавливался, снова двигался и снова останавливался. Может быть, он выполнял желание многих из тех, кого вез, или желание прокоптившихся машинистов, которые, лишь только доезжали до какой-нибудь заброшенной станции, начинали, как говорил Митря, лаяться между собой. К этому прибавлялось еще одно удивительное явление: казалось, что и сам горизонт отступает, что все отдаляется этот безграничный восток. И еще одно: время от времени на воинский эшелон № 404 налетали бури и вихри. Не такие, как у нас. У нас, объяснял Кокор, бури — это расшалившиеся детишки, а здесь — скопище старых ведьм. В один миг закружат человека и бросят его на землю, даже поезд норовят столкнуть с рельс:

— Идите-ка вы, эй, идите-ка вы, люди, назад, откуда пришли! Что вам здесь нужно?

— Смилостивься, баба-яга,— увещевал Кокор,— черта нам нужно. Иду я с подарком: вот два мешка.

— Да они пустые, Митря,— смеялись солдаты.

— Ну да, вы сожрали все, когда я храпел. Но они опять наполнились тем, чего ищем мы, дураки, в этих местах. Вот я и везу в подарок дьяволу два мешка человеческой глупости.

Наконец, в хмурый полдень на остановке появился представитель румынской дивизии этого участка. Те из солдат, кто находился поближе к вагону начальства, хорошо слышали, что офицер этот — делегат, но не поняли, какой дивизии и какого сектора.

Прибывший офицер был небольшого роста, смуглый, заросший бородой, в каске, в слишком длинной шинели, затянутой ремнем, и без всяких знаков различия. С полковником и другими офицерами он держался несколько высокомерно, как человек, уже побывавший под огнем.

— Вид-то у него потрепанный...— заметил Митря.— Завтра и мы будем такими же, как и он. Эх, судьба наша горькая!

Стало известно, что полк переформировывается. За пять недель, то есть с той самой поры, как солдаты выехали с родины, он три раза менял местоположение. И двигался он не вперед, а все только назад,— как будто ловил свой собственный хвост.

— Стратегической отход,— пояснил офицер-делегат с такой важностью, словно сам придумал эту формулу.

— Лейтенант Попеску, будем говорить серьезно,— заметил ему полковник Паладн, пристально глядя на него.

Микшуня положил ему руку на плечо:

— Эй, Нуцу, мы с тобой товарищи по выпуску, и я знаю тебя как умного парня.

Лейтенант Нуцу Попеску, в своей длинной шинели, еще слегка похорохорился, а потом признал себя побежденным и улыбнулся:

— Привезли немножко коньяку?

— Привезли,— заверил его Микшуня.— И игральные карты.

— С ними нам нечего делать! — безнадежно махнул рукой Нуцу.— Нет времени: все переезжаем. Теперь вам предстоит сразу же на своих повозках и наших автомобилях перевезти все ваше имущество в лагерь. Мы расположились неподалеку. Вон там, на краю села, у перекрестка дорог. Машин — целый водоворот... Укрепляют позиции. Вчера «Советы» в сорока километрах отсюда предприняли атаку. Посмотрите на карту, как обстоит дело. Атака отбита.

Полковник остановил его:

— Значит, немедленно разгружать все наше имущество?

— Так точно, господин полковник, немедленно. Ведь мы еще вчера получили сообщение о вашем прибытии и все подготовили. Это было приятное занятие, мы все радовались.

— Тогда можно приступать.

— Так точно, господин полковник.

— Микшуня, распорядитесь!

Микшуня отдал приказание одними глазами, так как все старшины были налицо. Столпившиеся вокруг солдаты нехотя расходились.

— А товарищи... что поделывают? — обратился Микшуня к лейтенанту Нуцу.

— Из нас всего только восемь осталось, Микшуня.

Глаза Нуцу затуманились непритворной печалью. Он опустил голову, еще недавно так надменно закинутую назад.

— Что делают Чобану и Параскивеску? — спросил тоненький офицерик, прозванный Дамочкой.

— Эх, Дамочка,— вздохнул Нуцу,— Чобану и Параскивеску приказали долго жить.

Веки Дамочки задрожали над его красивыми женскими глазами.

— Даже поверить трудно. Мы — двоюродные братья, но жили как родные.

— Придется поверить, Дамочка. Погибли и другие: Порумбеску, Лаксатив, Кроитору... Это был мой непримиримый враг, потому что я его регулярно обыгрывал в карты. Жалко его, он заменял мне доходное именьице. И Корбицэ... И Иован, который декламировал нам балладу про Иована Иоргована, утверждая, что ведет свой род от этого народного героя. Когда он отдавал богу душу, он повторил слова героя: «Дети мои, я отправляюсь к праотцам».

— А Панакоадэ?

— Панакоадэ цел.

Младший лейтенант Дамочка повеселел, но только на мгновение.

Солнце скрылось на горизонте в легких розовых облачках, когда солдаты со всем имуществом направились к «населенному пункту Сомотрец». Это уже не было селом, там не осталось никого из местных жителей — из тех, кто обрабатывал поля, ухаживал за садами, выращивал скот. Все они словно улетели на луну или провалились сквозь землю. Сомотрец был теперь просто пунктом, куда был послан на переформирование разбитый полк. Полк растерял половину своего вооружения, лошади разбежались, офицеров осталось всего несколько человек, прибывшее пополнение, хотя и состояло из новобранцев очередного призыва, не могло заменить исчезнувшей воинской части.

— Особенно «мужичье» гибло или пропадало без вести,— пояснил, улыбаясь, Нуцу.

Бывшее село оказалось чистым и благоустроенным. Несмотря на суматоху, полк, отведенный на отдых и переформирование, с особенным нетерпением ожидал вестей с родины.

Катарамэ разглагольствовал:

— Какие там вести с родины? Никаких нет вестей. Там все хорошо, в бок тебе тормоза от колесницы Ильи-пророка! Камилавка бога Саваофа тебе на голову! Рад видеть вас здоровыми. Слышал, что осталось вас всего двести тридцать.

— Со мной двести тридцать один, господин старшина,— жалобно произнес Дэнилэ, портной из батареи Катарамэ.

— А, Дэнилэ Рошу. И ты здесь!

— Здесь, господин старшина. Держусь за жизнь зубами. Да, здорово нас поубавилось, господин старшина.

— Э, что там, вот теперь мы приехали, чтобы тоже поубавиться. Ну как, всего хватает?

— Хватает!

— Я вот привез немножко кукурузной муки.

Старые приятели шумно радовались встрече, награждая друг друга тумаками.

Кокор обратил внимание на то, как встретились командиры. В хорошем расположении духа был, как всегда, полковник Чаушу — сухой, загорелый, бритый, с белесоголубоватыми, цвета бутылочного стекла, глазами. Он считался старшим, так как звание полковника получил раньше, чем Палади. После того как они обнялись, Чаушу слегка прикоснулся рукой к самой округлой части тела Паладі.

— Это еще спадет...

Кокор прикинул про себя: «Мы хлопаем друг друга по плечу, потому что на наши плечи ложится тяжесть. А начальство хлопает себя по брюху».

— Наконец, дорогой Паладі, завтра я тебе передаю полк. В первый раз за полтора года получил отпуск на месяц. Я совсем закрутился. Поеду с моим двоюродным братом-генералом. Тебе повезло: полк на отдыхе и все время отходит назад.

— Наступали для того, чтобы отходить...— прошептал Кокор солдатам, стоявшим рядом.

Сумерки сгустились над военной частью, хлопотливо устраивавшейся на ночлег. Света не зажигали, костров не раскладывали. Вновь прибывшие, как и старые солдаты, грызли сухари в своих укрытиях.

— Фронт недалеко,— поясняли Кокору «старички».— В этих местах стоит появиться огоньку, как сейчас же сверху налетают жар-птицы и начинают сбрасывать яйца. Такой треск подымается и так смердят они, что страх берет. Хватит с нас!

«Старички», казалось, хвастали подобными злоключениями, и артиллерийскими налетами, и советскими танками. Новобранцы слушали их почтительно, с уважением.

— Слыхали мы, что они ловят нас и глотки режут.

— Кто? Эх ты, молокосос! Москали? Брехня. Такие же люди, как и мы. Вы больше опасайтесь приятелей наших немцев. Как увидят, что ты ослаб или отошел на полшага по нужде — ведь люди же мы,— тут они или штыком пырнут, или из пулемета скосят. Крепкие вояки.

— А они не отступают?

— Ну, как не отступить? Бывает такое, что никому не удержаться. А то бывает, налетит на нас змей страшенный...

Кокор слушал, и ему не хотелось спать. Немного погодя он и кузнец поднялись и отправились на поиски укрытого местечка, где хорошо было бы посидеть в тишине и перемолвиться словечком о своем. Они долго бродили и не находили ничего, пока не набрели на воронку от снаряда. В зарослях бурьяна ночной воздух показался им потеплее. Они легли на спину и покрылись шинелями. Обменялись несколькими словами. Задремали.

Проснулись они уже довольно поздно, повернулись друг к другу лицом и замерли, напрягая слух. Слышались пушечные выстрелы, словно били в глухой барабан, и не так уж далеко. Затем на некоторое время все смолкло. Оба приятеля вдыхали прелый запах растений и уже собирались опять погрузиться в сон среди ночной прохлады, как вдруг краешком глаза приметили на востоке зеленые ракеты, и снова началась канонада с непрерывным грохотом; они чувствовали, как в яме под ними дрожала земля.

Прошло четверть часа, час. Им казалось, что, возникнув где-то в глубине, пронесся над ними прерывистый вой, чудилось, что под равнодушным звездным небосводом сжимается от боли сердце самой земли.

Они поспешно поднялись и направились в расположение своей части. Все подразделение проснулось и высыпало из укрытий. Событие обсуждалось со страхом. Передавали, будто бы полковник Чаушу, смеясь, заметил:

— Не бойтесь, их немцы удержат.

Тем не менее он все бродил во тьме, время от времени останавливался, вглядывался вдаль, прислушивался.

— Что он слышит, то и мы слышим,— пробурчал один из «старичков».

После первой паузы артиллерия большевиков приблизилась.

Целых три часа нервы у людей были болезненно напряжены. Сотрясение земли и отдаленный гул не прекращались. Да, несомненно, «вселенский ужас», как это называли рекруты, все нарастал и приближался к соседним секторам. Через некоторое время Митря Кокор почувствовал, что у него дрожат колени. Он посмотрел на свои ноги, как на чьи-то чужие, усмехнулся, хрипло выругался и опустился на землю.

Тут он узнал лица старых солдат, находившихся вокруг, и застыдился своей слабости. Где же может быть капрал Флоря?

— Ты тут?

— Тут.

Оба произнесли эти слова, лязгая зубами. «Старички» смотрели на них молча и серьезно, они ждали, а время словно умерло, не двигалось вперед. Порой они вздыхали, их слух был наполнен тем, что происходило в грозной дали, но подступало все ближе и ближе.

Занималась заря, когда неожиданно на перекрестке дорог показались первые грузовики с людьми. Это были люди, гонимые смертоносной бурей, взвихренным ужасом.

— Опять меняем позиции,— пробормотал стоявший рядом старик.

Митря схватил его за руку.

— Немцы отступают?

— А то, может, наступают? Сам, что ли, не видишь?

— Эх, а мы, новобранцы, только что прибыли!

Он один только и рассмеялся над этой бессмыслицей. Однако все, что ни происходило, как будто было устроено для него.

Новобранцы задвигались и засуетились, не ожидая приказа. Лишь потом резко зазвучали распоряжения офицеров. Никто их не слушал. Под неумолкаемый гул орудий, под шум грузовиков и легковых машин, которые теснились тремя плотными колоннами, полк тоже собирал свои пожитки, торопливо готовясь к отходу. Как это часто бывает во время паники, один солдат предстал перед своим подразделением с метлой в руках, другой с куском хлеба, третий верхом на лошади, без седла и узды.

— Посмотри-ка, эй, на Александра Македонского!

Митря вдруг бросился к ним, словно готовясь поднять их на рога. Он еще не сошел с ума, хотя лицо его все перекосилось.

— Эй, новобранцы! — кричал он.— Подымайсь, пускай каждый сам спустит с себя шкуру и отдаст ее!

Его больной смех передался другим.

Он с ненавистью продолжал бормотать словно про себя:

— Чтобы расплатиться уже за все...

Услышав смех «старичков», полковник Паладе, в двух шагах от которого следовал Чаушу, удивленно остановился.

— Где мой шофер? — раздраженно спросил его спутник.— Чего хохочете, скоты?

Люди разбежались кто куда.

— Умеешь править? — заорал Чаушу на Митрю.

— Только телегой с волами, господин полковник.

— Тогда чего стоишь и смотришь на меня, идиот? Бегом марш. Немедленно подать мне сюда шофера Визиреску.

Кокор отправился искать неизвестно кого: он в тот же миг забыл названную фамилию. Все же скоро он пришел в себя и сообразил, что люди в суматохе бегут к развилке дорог. Фургон, запряженный лошадьми, два полковых грузовика и легковые машины командиров ждали случая втиснуться в поток. Некоторые бросали все, что тащили с собою, и висли гроздьями на машинах. Но шоссе больше не могло вместить густую вереницу машин. Она была похожа на гигантскую гусеницу с железными суставами, которая едва ползла извиваясь.

Воздух наполнился грозным рокотом самолетов.

Почти рядом Кокор увидел немцев. Нельзя было сказать, что они не люди. Но теперь это были какие-то обезумевшие, словно расклеившиеся существа. Самолеты пикировали на колонну беглецов. Трещали пулеметы. «Поливают садовники грядки...» Пролетали, взмывали ввысь, потом снова возвращались поливать. Из грузовиков пачками начали выскакивать солдаты, убегая куда глаза глядят.

Самолеты улетели. В опустевшие грузовые машины бросились «старички» и новобранцы, товарищи Митри. Но беглецы возвращались. В один миг на глазах Митри Кокора разыгралось побоище. Те, кто убежал в поле, нападали на тех, кто занял их места. Немедленно были пущены в ход пистолеты. Все же наиболее напористые новобранцы продолжали лезть. Митря увидел своих в десяти шагах и между ними

старшину Катарамэ, продвигавшегося вперед с сиплым ревом. Он ухватился за борт грузовика, где намеревался захватить место. Один из тех, кто был в кузове, ударил тесаком и отрубил ему кисть руки. «Грузовик твоей матери!» — заревел старшина, потрясая кровавым обрубком. Правой, здоровой рукой он схватил автомат. Но противники тут же его изрешетили.

— Убили! — закричал Кокор.

Старшина, свалившись в сторону, корчился на обочине дороги. Через его тело, трепещущее в конвульсиях, новобранцы бросились на приступ. Тесаками, пистолетами, автоматами те, что были в грузовиках, отбили нападение.

Три больших самолета появились с той стороны, куда устремлялась колонна. Снова суматоха и смятение, снова остановка, снова все, как саранча, устремились в поле безумными скачками. С двухсотметровой высоты советские летчики метали бомбы. При первом же грохоте взрыва, не похожем ни на что земное, Митря упал ничком. При втором он прижался как можно крепче к «матушке всех нас грешных», как бормотал он, крестясь, и в то же время ощутил, что лицо его все в крови. Он чувствовал ее запах, она душила его.

— Эй, братишка!

Это звал кузнец.

Митря поднял голову и увидел, как судорожно бился Флоря. Кровь хлестала у него через голенище, Митря положил руку на раненую ногу товарища: она была неестественно согнута ниже колена и дергалась, как будто могла двигаться сама по себе.

Грохоты и взрывы, грохоты и взрывы... Митря больше не остерегался. Пришел его последний час — это было ясно. Он добрался до ада со своими двумя мешками, набитыми глупостью. Микшуня скалил навстречу ему зубы, лежа на животе, но повернув лицо в сторону. Погиб, значит, и господин лейтенант Микшуня! Подпрыгнул, схватившись обеими руками за живот, Илие Дафинеску; потом упал на землю, извиваясь как червяк, и затих.

«И я умру,— вздохнул Кокор,— так-то оно и лучше».

Полковник Паллади стоял бледный, прислонившись к разбитому, искалеченному грузовику. Он облокотился на борт, подперев голову рукой. «Это наш грузовик. Господин полковник Паллади как будто позирует фотографу».

Митря начал считать убитых, но сбился со счета. Грузовики, которые немцы обороняли тесаками и пулями от натиска рекрутов, превратились в кучу больших и маленьких кусков

железа, дерева, человеческого мяса. В этой мясорубке исчезли и те, кто сначала отрубили руку господину старшине Катарамэ, а потом застрелили его.

— Флоря, это и лучше, что с тобой так случилось,— обратился Кокор с ласковой шуткой к своему товарищу,— если спасешься, по крайней мере нога от ревматизма страдать не будет.

Но кузнец потерял сознание.

Когда в следующее мгновение Митря Кокор поднял глаза, он увидел, как через поле двигались какие-то серые громады. Танки! Вдруг все, кто еще мог передвигаться среди вереницы разбитых грузовиков или разбежались по полю, бросились к красному флажку советской командирской машины.

— Знают немцы порядок...— удивился Митря.

Он тоже бросил ремень с пистолетом, что делали, как он заметил, все подходившие к танкам. Люди становились во фронт и поднимали руки. Он тоже поднял руки, но никто не обратил на него внимания.

Тот же самый непрерывный грохот вдали. Тот же гул и вой самолетов здесь. В степи мелькали другие танки, сгонявшие в загон горизонта новые стада.

«Много народу погибло. Но много и осталось... Может, и нам пустят пулю в висок, как и раненым».

Умрет он в солнечный день. Вот такой же была и степь в Дрофах, только тихая и мирная, как больше никогда не будет, потому что все кончилось.

Когда подошли санитары, чтобы поднять раненого кузнеца, они застали Митрю Кокора в слезах.

— Что с тобой? Ты тоже ранен? — спросили они по-русски.

Митря понял. Он показал на кузнеца.

— Я *ньет болнав*. Это мой друг.

— Хорошо, хорошо,— сказали они, похлопав его по спине.— Иди, становись в колонну с пленными,— приказали ему потом.

Кузнец открыл глаза. И, уходя, Митря почувствовал, как на сердце потеплело.

Глава тринадцатая

МИТРЯ СМОТРИТ, ВНИКАЕТ И УЧИТСЯ

«Я опорожнил мешки от глупости и добыл крупицу разума».

Так хотел было начать Кокор письмо к той, что была далеко, в Малу Сурпат, у самых Дроф.

«То, что я думал о стране, где нахожусь, и о людях, которые в ней живут, все хранилось в мешках. Теперь я увидел правду, уверился, что труженики, такие же, как и мы, живут без помещиков. Были и здесь хозяева вроде Трехносого, но народная революция смела их. Не бойся этих слов, потому что подобные дела, а не слова будут и у нас. И бедняки из Малу Сурпат, такие же, как мы с тобой, займут запретную землю. Я хочу провести борозду в Дрофах по тому самому месту, где я когда-то осенью страдал как несчастный раб. Я хочу увидеть, как дед Тригля обретет безбедную старость, а его Кица отдохнет хоть часок».

Митря не мог послать это письмо, потому что был в плену в одном из лагерей и еще не имелось разрешенья на письма, как сказал ему кто-то из товарищей, старых военнопленных, которые знали больше его и даже говорили по-русски. Нужно и ему выучиться, и как можно скорей!

А кроме того, что это еще не дозволено, дела в нашей стране и в Малу Сурпат не идут еще по-новому, ведь война не кончилась. Советские войска мощно пробиваются вперед и громят немцев. Но еще не вырвали они нашу страну из немецких лап.

И еще одно — ведь всего-то не уместишь на почтовой открытке величиной с ладонь.

«Перво-наперво, Настасия, знай, что с тех пор как я здесь, я понял, что люблю тебя».

Впрочем, она знает это с той поры, когда он был там и кукушка им куковала про весну среди цветущей акации.

Многое с тех пор случилось!

«Подошел ко мне какой-то русский, Настасия, и приказал предоставить ему заботу о Флоре, который лежал у меня на руках с перебитой ногой, а самому становиться в ряд с другими пленными.

Седой такой, брови белесые, глаза голубые, как бусинки. Он хлопнул меня по спине и улыбнулся мне, отдавая приказанье.

Когда мы шли, я сказал ему, что я румын.

— Да. Хорошо! — ответил он по-русски.

Он меня понял.

Я пошел и присоединился к нашим. Немцы отдельно, наши отдельно. Только потом я опомнился, как же разыскать того седого солдата, который позаботился о моем друге Флоре. Но возвратиться назад я уже не мог, а из наших его никто не приметил. Кто он, как его зовут... Советские не понимали,

о чем я беспокоюсь. Потом смеялись, когда толмач объяснил, что мне нужно.

— Не беспокойся, приятеля твоего отвезли в госпиталь. Поправится.

— А я хочу знать, кто такой этот седой санитар, который поднял его.

— Зачем тебе знать, может, больше никогда его и не увидишь! Это наш товарищ».

За первые шесть месяцев в лагере Митря Кокор подружился с двумя советскими солдатами, один был Василий Пиструга из Могилева, другой — Митя Караганов из Костромы.

От Пиструги, бойкого парня, невысокого и смуглого, Митря довольно легко научился по-русски. В это же самое время стал обучать его агрономии Митя Караганов. Это был большой, спокойный и серьезный мужчина, хотя лет ему было столько же, сколько и Кокору. Он все объяснял Митре, как живут крестьяне в колхозе у него дома. Говорил он размеренно, пристально глядя на своего подопечного.

До поздней осени, пока держалась хорошая погода, военнопленные помогали укреплять дубовыми сваями земляную плотину, которая сдерживала воду небольшой речушки. Речушка превратилась теперь в озеро, и вода с тихим журчанием процеживалась сквозь водосброс, хорошо укрепленный цепями и запорами. Долина поднималась волнистыми террасами, усаженными плодовыми деревьями. В начале долины находилось село. Бревенчатые избы были покрыты камышом, большие окна украшены зелеными ставнями. Митря смотрел издалека на это село, и оно ему нравилось.

Костромич Митя Караганов рассказал ему, что в этом селе люди уже одиннадцать лет живут колхозом, выращивают плоды и овощи. Воду, нужную для садов, качают из озера. А по другой стороне, у плотины, вода, устремленная на лоток, вращает турбину. Мельница работает без передышки и мелет споро. Турбина дает электричество и для освещения и для маленькой мастерской сельскохозяйственных орудий. Кроме того, колхозные столяры изготовляют в большом количестве оконные рамы, столы и стулья.

Грабли и вилы, объяснял ему Караганов, отправляют в горы, где люди занимаются сенокосом: у них там есть молочнотоварные фермы, маслозавод и сыроварня. А оконные коробки и рамы, столы и стулья везут прямо в пустыни Казахстана, туда, за Каспий, к Аральскому морю, где начали

строиться дома и села. В тех местах кочевники тысячелетиями жили только в кибитках, не жили, а, скорее, страдали от голода и жажды, гоняя стада с места на место по пастбищам. Часто они добывали себе пропитание набегами. Было там лишь два-три жалких селения с саманными домами, где жили их ханы, собиравшие дань с кочевников. «Хозяин — бедняк, пастух — бедняк»,— говорили они. И вот спустя тысячи лет большевики научили кочевников проводить воду по оросительным каналам в пустыню, а кочевники-пастухи стали заниматься сельским хозяйством. Столица их республики теперь цветущий сад. По обеим сторонам улиц текут арыки, питающие ряды плодовых деревьев. В новых селах есть школы, есть врачи и другие специалисты. Изменилась жизнь в Казахстане.

Вот какие рассказы слушал Митря Кокор в долгие зимние вечера, все удлиняющиеся к середине зимы.

Как-то раз Пиструга спросил Кокора улыбаясь:

— Ты веришь, парень, тому, что говорит Караганов?

— Верю,— отвечал Кокор.— Ведь я верил даже той лжи, которую распускали у нас, будто в стране у русских люди мрут от голода. А как не поверить тому, что видишь своими глазами?

— Что ты видел своими глазами? — смеялся Пиструга.— Разве был ты в казахских степях? Разве был у горцев-скотоводов?

— Не был, зато вижу то, что есть здесь.

— Тебе нравятся избы с зелеными ставнями?

— Слушай, Василий, не испытывай меня. В моей стране я видел много горя и страданий. Ту нищету, что когда-то была здесь, у Аральского моря, я видел и сам испытал у нас в Хаджиу, где ханствует Кристя, прозванный Трехносым. Теперь скажи: когда была построена эта плотина и образовалось озеро?

— Не так давно, лет тринадцать-четырнадцать тому назад.

— Это видно. Видно, что и яблоневые сады молоды, в том же возрасте, что и озеро. Село это давнее, а дома новые, стоят в линию. Мельница, мастерские, электрический свет — все это, я так скажу, родилось от озера, ну а до того, как была построена плотина, разве был тут рай земной?

На такой вопрос Пиструга, по своей привычке, шумно расхохотался.

— По правде сказать, не совсем-то рай!

— Я понимаю, что для бедняков была здесь пустошь, товарищ Пиструга, как у нас Дрофы.

Митя Караганов сдержанно улыбнулся и церемонно сказал украинцу:

— Василий Иванович, Кокор был твоим учеником, но ты его как следует не узнал. А я понял, с кем имею дело, и поэтому все ему рассказываю.

— Извини, Дмитрий Матвеевич,— ответил Пиструга,— насколько я понимаю, ты хочешь сделать политика из этого придунайского крестьянина.

— Да, действительно хочу.

— А его ты спрашивал, хочет ли он сам?

На шутку украинца Кокор ответил усмешкой, а уже потом в серьезном тоне сказал:

— Василий Иванович, с тех пор как я здесь, я понял еще и другое. Хозяева наши до сих пор ограждали нас от всяких мыслей о политике. Нас заставляли думать о будущей жизни и духовных благах на том свете и во веки веков, аминь. Сами же господа занимались своей политикой на этом свете.

Караганов пробормотал:

Загривок тигра жирным стал,—
Ведь тигр один все пожирал...

— Вот именно,— продолжал Кокор.— Так что теперь-то и займемся мы, бедняки, нашей политикой на этом свете и в этой жизни. Знаю, что не нравится это господам, потому что опасно для них. Да что поделать! Когда придет время, я принесу эту опасность в Малу Сурпат.

— Тебя упрячут в тюрьму, и Тася будет плакать.

— Может, упрячут, а может и нет, если победа будет на нашей стороне.

— На чьей это стороне? Не понимаю.

— Ты, Василий Иванович, знаешь, о чем я хочу сказать. Что произошло здесь, в России, произойдет и у меня на родине. Поднимутся рабы, и падут хозяева. Был у меня друг, он кое-чему научил меня. Да у меня и у самого есть глаза и уши. С тех пор как я здесь, я смотрю, слушаю, прикидываю, что к чему.

Оба русских пожали ему руку.

— Послушай, Василий Иванович,— сказал в заключение Караганов.— Да ведь наш крестьянин с Дуная — настоящий политик, и это меня очень радует.

«Дни за днями проходят,— вздыхал Митря Кокор, когда оставался один,— и недели бегут за неделями. Хоть бы весточку получить от кого-нибудь».

Пиструга и Караганов уехали из лагеря.

В часы отдыха Кокор часто молчал, углубившись в свои думы. В комнате, где стояла его койка, шум постепенно стихал, и перед полузакрытыми глазами Митри появлялся образ той, о которой он тосковал. «Вот видится мне эта девушка, улыбается мне, и сердце мое должно бы смягчиться,— размышлял он.— А не смягчается! Шипы ненависти терзают меня. Не могу смириться, не могу быть с ней счастливым, пока не отплачу тем, кто наполнил меня этой жгучей ненавистью и горечью».

Зима была снежная, снег лежал огромными сугробами. По ночам, при полной луне, Митря с одним или двумя товарищами выходил на озеро смотреть на выдр, как те перебегали, извиваясь, от проруби к проруби. Звездный воздух был прозрачен, как хрусталь, в нем ясно звучали шепоты, шаги, крик ночной птицы. Мороз словно бритвой резал, будто раскаленной проволокой в ноздри лез. Зима в Дрофах вспоминалась как веселая игра на ледяной горке. Здешняя зима — это огромные мерзлые пространства и бураны, которые грозят гибелью всему живому, от мелких букашек до зверя и человека. Зверь ждет теплых дней, зарывшись в свое логово под снегом. А человек противостоит зиме упрямо и сурово — это больше всего поразило Митрю.

Однажды в воскресенье, часа в три, пленные вышли из лагерной столовой и разошлись по своим баракам. Прежде чем пойти к себе, Митря остановился на минуту посмотреть на тройку лошадей, запряженную в сани. Морозный вихрь промчался по дороге, и Митря спрятал лицо от снежного облака в высокий ворот полушубка.

Он отряхивал от снега валенки и полушубок в сенях седьмого барака, самого последнего в ряду, как вдруг вошел буковинец Георге Шерпе и сказал ему, что его вызывают в канцелярию, к капитану.

Митря вздрогнул. Сердце радостно забилось в груди.

— Верно, приказ о перемещении,— предположил Шерпе.

— А других тоже звали?

— Не слыхал.

— Наверно, это тот, что в санях приехал, здоровенный, словно печка!

— Я его не видал.

— Кто знает...— покачал головой Митря с внезапной тревогой.

Он надел баранью шапку, запахнул полушубок и снова вышел. Снег ярко поблескивал при заходящем солнце. Дойдя до канцелярии, Митря заметил, что тяжело дышит. Он постоял некоторое время в «калидоре», как называлась застекленная терраса при канцелярии. Слышны были голоса. Митря узнал баритон капитана Баранты, сибиряка-инвалида. У него была деревянная нога, которой он любил щеголять. Он всегда стучал ею в двери бараков, когда делал обход. Капитан носил огромные усы, которые с важностью подкручивал,— из-за них военнопленные румыны прозвали его Буденным.

Дежурный подкидывал дрова в огромную печь, выходившую в другую комнату. Закрыв чугунную дверцу, он выпрямился и, казалось, удивился, что вошедший стоит и молчит.

— Меня вызвал капитан,— пояснил Кокор.

— Ага! Да.

Кокор продолжал стоять на месте.

— Входи, приятель... Если сам откроешь дверь, премного меня обяжешь.

Дежурный тоже был сибиряк, приехавший вместе с капитаном Барантой с самого Енисея. У сибиряка не было руки, вместо нее — протез с крючком. Этим крючком он закрыл дверцу печки, потом крючок исчез в длинном рукаве шинели. Приветливо улыбаясь, он вторично, движением здоровой руки, пригласил Митрю войти.

— Пожалуйста.

Митря вошел.

Конечно, ничего плохого быть не могло: виноватым он себя ни в чем не чувствовал; но и время освобождения еще не подошло. «Буденный» оживленно что-то говорил своим приятным голосом — может быть, спрашивал о друзьях у того, кто сидел спиной к двери. «Буденный» стоял, другой сидел на деревянной табуретке, шапка и шуба были брошены рядом с ним.

Баранта стукнул протезом об пол и подмигнул, тот, другой, резко повернулся.

Митря тут же узнал его. Это был тот самый человек с белесыми бровями, что подобрал Флорю, а ему приказал становиться в колонну, тот самый, что похлопал его по спине и ласково улыбнулся среди дыма и крови его первого дня войны. Формы со знаками различия на нем не было. Как приветствовать его, Митря не знал. Он пожал протянутую ему руку.

— Думитру Кокор? — спросил белобровый с той, знакомой улыбкой.

— Так точно.

— Я привез тебе весточку от твоего приятеля Кости Флори.

Он произнес: «Костафлоры».

Для Митри этот голос звучал словно музыка. И улыбка белобрового смягчала его душевную горечь, давнюю и неизбывную.

— Ну как он, жив-здоров, все в порядке?

— Жив-здоров! В порядке.

Митря, растроганный, заморгал глазами:

— Я все время хотел узнать ваше имя, мы расстались так поспешно...

— Возможно,— улыбнулся белобровый,— я даже и не помню.

Капитан Баранта тоже радовался встрече, хотя толком и не понимал, о чем идет речь.

— Это наш доктор,— отрекомендовал он,— товарищ Остап Березов.

— Я только фельдшер, а не доктор,— заметил, улыбаясь, Остап.

— Ну, ты знаменитый врач, ведь ты мне ногу оперировал, как и многим другим, всех и не перечислить... Вот эту ногу, которой я отбиваю свои приказанья.

Он трижды ударил ногой об пол и посмотрел вокруг, расправляя усы.

Фельдшер Березов показал Митре на ногу Баранты:

— Видишь, Кокор, эту ногу? Неплохая обувь, даже бравая сибирская выправка не пострадала. И служит нога хорошо. Так вот, Кокор, такая же деревянная нога со стальными пружинами и у твоего друга Костафлоры. Давно меня просил Костафлора поинтересоваться, где ты находишься, разыскать тебя и привезти от тебя весточку. Когда я подобрал его, он говорил, что ты держал его на руках. Вижу и в твоих глазах такую же радость, как и у него, когда он о тебе говорит. Я сразу все понял, сразу догадался, что Костафлора наш товарищ, коммунист. Я старался разузнать, где ты находишься. Но нужно было время выбрать, чтобы завернуть на денек в эти места. Только сейчас мне выдался случай. Я выкроил два денька, чтобы добраться сюда, да два дня я кладу на обратный путь. Могу сегодня побыть здесь, чтобы порассказать о твоем друге, да и тебя порасспросить. Я скажу ему,

что мы с тобой без переводчика беседовали. Он будет очень рад этому.

Капитан Баранта трижды стукнул деревянной ногой об пол.

— Разрешите и мне вставить слово. Я пойду похлопочу насчет самовара и всего прочего. А вы выкладывайте вести и новости, пока я не вернусь. Потом послушаем сводку. Кокор любит слушать добрые вести. Однажды он даже голос Иосифа Виссарионовича слыхал. И знаешь, Остап Остапыч, нравится Кокору, что говорит наш Иосиф Виссарионович.

— Хорошо! — одобрил фельдшер.— Этого и хочет Костафлора, дружище Кокор,— продолжал белобровый, после того как они остались одни.— Что ты здоров телом, это я заметил, но на сердце у тебя щемит, вижу по глазам.

Митря вздохнул и потупил голову. Воспоминания переполняли его.

— Не унывай, Кокор, и жди, как тебе наказывает Костафлора. Он советует тебе перевестись отсюда, поехать туда, к нему, чтобы закончить ученье. Баранта тобой доволен. Об этом мы говорили, когда ты вошел. В твоих интересах поехать туда, куда тебя зовут. Подожди здесь до весны, а весной тебе придет приказ. Мы тебе поможем посмотреть и познакомиться со всем, что есть хорошего в нашем, социалистическом мире.

Митря кивнул головой в знак согласия, и в сердце у него затеплилась надежда.

Деревянная нога капитана трижды стукнула в дверь. Сибиряк, тот, что находился в «калидоре», внес самовар. После него вошел другой русский со стаканами на подносе.

Митря улыбнулся белобровому:

— Три стакана могу выпить, а четвертый — нет, лопну. Хочу дожить до весны, доктор Березов!

Глава четырнадцатая

МИТРЯ СТРАДАЕТ ОТ НЕТЕРПЕНИЯ

В конце мая Митря Кокор встретился со своим другом Флорей в лагере для военнопленных, расположенном недалеко от Москвы, в нескольких часах езды на поезде. Румын там было мало, больше итальянцев и словаков. Место было похоже скорее на школу, чем на лагерь. Дома, где жили пленные, были расположены в парке, за чертой города.

Была пора весеннего цветения. Распускалась сирень, и в березовой роще начинали свою еще робкую песню певчие птицы, называли их в тех местах *соловьями*. Все напоминало румынскую весну, только пришедшую с некоторым запозданием. Сияние солнца было похоже на золотую пыль, и местные жители весело приветствовали друг друга, проходя по окраинной улице на работу.

— Военная страда! — заметил кузнец.— Ну, скоро уж она кончится.

— Этот *соловей* — родной наш *привигетоаре*[1],— прошептал Митря, и глаза его подернулись давней печалью.

Флоря рассмеялся.

— Ты даже не слышишь, что тебе говорят. Что с тобой? — Он взял его за правую руку и пристально посмотрел на него.— Совсем больным кажешься, похудел. Сядем на эту скамейку, на солнышке, поговорим немного. У нас два часа свободных.

Митря покорно опустился на скамью. Тут он посмотрел на протез Флори и вздрогнул.

Флоря заметил это и смущенно улыбнулся, стукнув деревянной ногой об землю.

— Наш «Буденный» стучит три раза,— сказал Митря, стараясь казаться веселым.— Так мы звали Баранту, капитана лагеря, за его усы.

— Спасибо Березову,— пробормотал Флоря.

После долгой разлуки встреча была натянутой.

Некоторое время они молчали. Митря смотрел вокруг, на домик под красной черепицей, на цветущие рядом ирисы и нарциссы — фиолетовые ирисы, белые нарциссы.

— Ты давно здесь?

— Нет, только с весны. Я здесь отдыхаю. Ты тоскуешь по нашей весне?

Митря отрицательно покачал головой:

— Тоскую, да не по ней. Я понимаю, что время не подгонишь.

— Так о чем же? Все твоя старая забота?

Митря подтвердил кивком головы.

— Я тебе расскажу один случай, и ты лучше поймешь меня. Так вот, как мы условились с доктором Березовым, я встретился с ним в одном месте (я записал, как оно называется, в книжку); там мы сели на пароход и поплыли по московскому каналу.

---

[1] Привигетоаре — по-румынски — соловей.

— Здорово! Тебе было что посмотреть!

— И правда, повидал я много, и все мне понравилось. Я и говорю: раньше здесь ничего не было, и все, что видишь,— это дело человеческого разума. Там дальше, к северу, где прежде пшеница не вызревала, я увидел новую пшеницу, скороспелую, как раз годную для короткого лета тех краев. Потом я видел села да села, построенные совсем недавно вдоль болот, где воду обуздали каналами. То тут, то там — пруды и защитные лесочки от бурь. Где была пустошь болотистая, теперь ширятся поля. А в прудах полно рыбы. Снова повторяю: много красивого в природе, но горы, озера, моря и леса испокон веков были красивы, а то, что человек создал умом своим и руками из пустыни, из болота, из ничего — то кажется мне всего лучше. Мир становится просторнее, бедняки страдают все меньше; земля все тучнеет и расцветает, не то что раньше. Правда, и в других странах напридумывали много такого, чего не было вчера, но лишь на муки и на погибель народу.

— Это, Митря, тебе Березов объяснял?

— И он мне объяснял, но еще больше меня научило собственное горе.

— А чего тебе так горевать, не понимаю. Скорее радоваться надо.

— Я-то горюю потому, что все об одном думаю: и у нас в Дрофах люди могли бы жить немножко получше, полегче, да только пустошь пустошью и остается... Так вот, как я тебе и говорил,— везет меня Березов и объясняет все, совсем как агроном какой-нибудь...

— Эх, Митря, хороший человек Березов...

— Хороший, дельный человек. Всякий раз, как мы встречаемся, он хлопает меня по плечу, и это мне по сердцу. Повез меня Березов в огороднический колхоз, братец Флоря, от Москвы два-три перегона. Называется этот колхоз «Память Ильича». Видел я и другие такие коллективные хозяйства, посмотрел и этот. Рассада помидорная, перечная, огуречная под стеклом на больших грядах. Опять думаю: «Хорошее дело». Вижу клуб, где собираются огородники и огородницы, читают газеты, слушают радио, о политике толкуют. Тут я думаю: «А это еще лучше! Как бы и у нас на родине вывести земляков из темноты!» И вот прихожу в сад, а там два-три домика полны ребятишек. Несколько грудных, а больше лет так двух-трех, остальные постарше. Игрушек в комнате — куча, а в спальнях у малышей кровати чисто застелены. Только-только отобедали, и теперь три или четыре

няньки укладывали их в постель. Наигрались они вволю, наелись досыта, а теперь малышам спать надо. Матери работают, и никакой им заботы. Опять думаю: «А у нас в Малу Сурпат — одно горе! Какие уж там игрушки, какая еда, какой сон!» Когда-то одного из моих братишек, который был бы теперь моим «старшим», свиньи разорвали: был ему годок от роду, лежал он в тени в корытце, а мать недалеко по делам отлучилась. Годовалого того братишку тоже Митрей звали, в его память и меня Митрей нарекли. И я бы мог лежать в том корытце. Эх, друг ты мой, как увидел я этот дом для деревенских ребятишек, так меня и взяло за сердце, отошел я в сторону, не могу слез сдержать. Коровы, козы, птица выделены в отдельное хозяйство, для прокорма этих ребятишек, а также и тех, кто уж не может работать — старух и стариков. Все хорошо, все, что я видел, мне понравилось, но детей этих не могу я забыть. Так и мерещится мне брат мой Митря, который мог бы куда лучше меня быть, а вот нет его, погиб, словно какая букашка.

Кузнец молча выслушал весь рассказ. Потом спросил:

— Так ты об этом горюешь?

— И об этом и о другом.

— Эх, Митря, друг, сам ты себя изводишь.

— Может, и так. Березов говорил, будто бы есть у меня признаки желтухи.

— Да, ты немножко свихнулся с тех пор, как все здесь повидал. Знай, Митря, дружище, недалеко время, когда и у нас наведет порядок партия. Скоро войне конец. Разобьют советские люди немцев; может, и я поеду и вроде твоего сибиряка трижды стукну своей деревянной ногой о берлинскую мостовую. Свергнем хозяев, разделим землю между мужиками, прогоним эксплуататоров-предпринимателей, государство возьмет заводы в свои руки, и мы изготовим вам, пахарям, машины, разные орудия. Будем руководиться наукой и всеми новыми открытиями и создадим у себя тоже новое государство, такое, как здесь.

Митря вздохнул:

— Но когда же это будет?

— Эй, Митря, дружище, мне кажется, болезнь твоя называется нетерпеньем.

— Правда твоя, Флоря, сижу как на угольях. Боюсь, как бы не помереть раньше...

Кузнец хлопнул его по плечу:

— Мы еще поживем, все застанем. Ты видел в Москве Красную площадь?

— Видел.

— Ну, тогда знай — там будет самый большой парад после победы. А в Мавзолее Владимира Ильича был?

— И там был. Владимир Ильич словно живой лежит. И Кремль я видел, над ним красные звезды горят.

— Там, под этими звездами,— перебил его кузнец,— и днем и ночью бодрствует Сталин. Запасись и ты, Митря, терпением, как у него было до самого Сталинграда. Научись и ты быть спокойным, как эта земля, которой конца не видно, и учись тому, чего еще не знаешь, ради тех времен, которых ждешь.

— Ты прав,— вздохнул Митря,— буду учиться.

— Видишь ли, Митря,— продолжал кузнец после некоторого размышления,— я думал подождать с тем, что хотел тебе предложить. Однако вижу, время уже настало.

— А что предложить?

— Близится, Митря, и для нашей несчастной родины час освобождения. Демократия тогда возьмет власть. Все, что будет делаться и перестраиваться, нужно будет защищать, значит, нужна и новая народная армия.

— Я слышал о дивизии имени Тудора Владимиреску,— так и вскочил Митря.— Ты помоги, брат, устроить меня туда!

— Потерпи, Митря, потерпи, парень,— увещевал его кузнец.

Глава пятнадцатая

МЕЛЬНИК ГИЦЭ НУЖДАЕТСЯ В СОВЕТАХ БАРИНА

В Малу Сурпат у Гицэ Лунгу мельница молола жерновами, а крестьяне языками. Здесь сошлись разные люди не только из Малу Сурпат. Одни с мешками в телегах, другие с котомками за плечами. Эти последние, бедняки и вдовы, мало зерна принесли молоть, мало и слов осмеливались вставить в разговор. У кого же на телегах были мешки, брали иногда в оборот и самого мельника. Судачили, чтоб время скоротать и, может, кое-что о своих разузнать. Старались хоть что-нибудь вытянуть из Гицэ Лунгу, который нет-нет да бывал иногда в поместье Хаджиу. У господина Кристи было радио, а по радио болтали и такое и сякое про чертову политику. В Хаджиу было известно, что война у немцев идет хорошо и политика тоже.

Уж так хорошо — чтобы так было всегда и тем, что в Берлине, и этим нашим, бухарестским, которые потянулись за ублюдком с усами, словно у майского жука. Видно только, гонят их русские назад и лупят так, что лишь искры летят. Господин Кристя будто бы говорит, что немцы-де сегодня отступают, чтобы еще крепче напасть завтра, что у них есть какие-то машины с ядовитым дымом.

Ну, этому пусть верит господин Кристя и те бухарестские, которые опустошили нашу страну и против нашей воли погнали детей наших на бессмысленную гибель. Еще говорит Трехносый, будто немцы выдумали какие-то машины, что испускают лучи смерти. Кое-что и получше надумали: собирать здесь все, что у людей припасено из еды и питья, и увозить на поезде к себе. И одежу, и обстановку, и железо с крыш погрузили в Молдове в вагоны и утащили в Германию.

В ту пятницу, когда посудачили уже обо всем, Стойка Чернец, прозванный Рыжебородым (у него только-только начала седеть борода), обратился к мельнику:

— Эй, Гицэ, а что поделывает твой братишка Митря?

— Да я откуда знаю? Я от него никаких известий не получал.

— Я слыхал, Гицэ, будто пропал он там в степях.

— Все может быть. Не я его посылал.

Чернец засмеялся.

— Хочешь сказать, что он сам отправился, ради собственного удовольствия?

— И этого тоже не говорю. Если выпала ему судьба погибнуть, отслужим панихиду, как положено. Говорят, москали загнали немцев и наших в ледяную пустыню и держали там, чтобы все померли от голода и холода. А пробовали наши выбраться, так москали били по ним из пушек и не пускали. Говорят, там и погиб мой бедный брат. Съели его волки, только ноги одни оставили, потому были они в сапогах.

Разговор шел под навесом в самую полуденную жару. Все столпились в кучу и слушали. Волы жевали в упряжках; мельница глухо тарахтела.

— Что же теперь тебе делать, Гицэ Лунгу? — притворился опечаленным этот чертов Стойка Чернец.— Ведь тебе остался надел бедного Митри.

— Какой там надел? Клочок земли. Ничего он не стоит.

— Нет, стоит,— поддел его Чернец.— Вот ты-то не пошел на войну, а меньшой брат пошел и землей тебя наделил.

— Перво-наперво,— уклончиво ответил Гицэ,— перво-наперво, эта Митрина земля в залоге у барина.

— Как же так? Ты заложил, что ли?

— Да вышло, что барин удержал землю за долги Митри.

Чернец зло рассмеялся:

— Добрую сделку совершил бедный парень. Гнул спину несколько лет без жалованья, без одежи и задолжал еще Кристе родительское наследство.

— Жалованье он получал.

— Да! Знаем мы. Его и кормили? Тоже знаем.

— Землю я выкупил,— поспешил добавить Гицэ.

— Это хорошо. Хоть что-то будет у парня, когда он вернется.

— Как же вернется, коли он погиб?

— Ну, это бабушка надвое сказала, Гицэ. Ведь говорили так и про других, а потом оказывалось, что они живы.

Стойка Чернец поднял свои колючие глаза, но тут же выражение его лица смягчилось, как только он увидел рядом Настасию. Девушка загорела и похудела, но по-прежнему носила в волосах цветок. В ее карих глазах не было ни слезинки. Она твердо смотрела на собравшихся, подняв свой ясный лоб даже выше, чем обычно.

— Дядя Чернец,— сказала она,— пришла весточка, что Митря не погиб. Он жив-здоров, как я и ты.

— Тогда уже скорее — как ты. Ну, очень рад.

Мельник левой рукой почесал за ухом, а правой нащупывал стул, чтобы опереться.

— Хорошо, коли так,— пробурчал он себе под нос словно не своим голосом.— Откуда ты узнала, а? Писал он тебе, что ли? Ведь он теперь великий грамотей,— ухмыльнулся Гицэ.— Я и этому радуюсь.

— Да уж видно, как ты радуешься, Гицэ Лунгу,— подпустил шпильку Чернец.

— Так и запомни, что я радуюсь,— проговорил Гицэ. Значит, он писал тебе?

— Не писал он мне,— ответила Настасия, не глядя на него.

Тогда вышла вперед чернобровая, раскрасневшаяся от солнца Уца Аниняска.

— Иди-ка ты, дорогая, домой! — подтолкнула она ее.— Дай я ему сама скажу.

Настасия ушла. Мельник мрачно смотрел ей вслед, стиснув зубы.

— Ну? — обратился он к Уце.— Чего молчишь? Говори.

— И скажу,— засмеялась Уца, показывая все свои зубы.— Только ты не смотри на меня так нежно, а то пропала

моя головушка. Этой ночью как снег на голову свалился Динкэ Ипэтеску. Погодите, не волнуйтесь...

Под навесом зашевелились.

— Погодите, не волнуйтесь. Наши мужики еще не возвращаются. Но ждать их уже недолго. Динкэ Ипэтеску случай вышел. Большое сраженье было целых две недели. Москали прорвали фронт в одном месте, Уманью зовется, и погнали немцев. Они так побежали, что и не догонишь: вся Молдова полна зайцев. Немцы только приостановятся, чтобы нагрузить вагоны продуктами, и айда дальше от страху вовсю улепетывать. Среди этих беглецов были и наши — и Динкэ самый первый угодил домой. Пришел и ушел, даже начальство не пронюхало. Уж рада была Динкина Порумбица. Ведь не прожили и трех дней после свадьбы, как ушел молодой муж сложить свои косточки неведомо где. А вдруг явился. Назавтра в обед приходит Порумбица ко мне — ведь я ей тоже крестная — и все мне рассказывает. Кто погиб, кто жив остался. Жив Иримия Робу с хутора, и Санду Кэлугэру из Поарта Сатулуй, и Николае Григорицэ, полевой сторож, и другие, всех она мне перечислила, как говорил ей Динкэ. Жив, говорит, и Митря Кокор, в плену он у москалей. Я тут же позвала свою другую крестницу и передала ей добрые вести, чтобы она пошла и вам сказала. Не погиб Митря. Он, слыхать, теперь уже унтер-офицер.

— Как? Ну, тогда это не он,— пробормотал мельник.— Голодранец в унтер-офицеры вышел, ну кто видал этакое?

— А ты поверь, красавец. Динкэ знает, что говорит. Нету на свете и на русской земле другого такого Митри Кокора, на которого все радовались, даже Дидина. Мне всегда такие парни по нраву были, он один только и остался. Что же ты, Гицэ, и не улыбнешься?

— Улыбаюсь,— пробурчал мельник, спохватившись,— и радуюсь, ведь Митря брат мне родной.

Мельница остановилась. Мужчины и женщины разошлись. Нагружали мешки на телеги, взваливали котомки на плечи, собирались в дорогу.

Мельник, задумавшись и что-то бормоча, стоял под навесом; он покачивал головой, считал на пальцах и смотрел пристально вдаль своими воспаленными, красными глазами.

— Хм-хм! — сухо покашливал он.— Кто это? Куда идешь?

Это был механик, бородатый седой немец с красным носом. Он еле волочил ноги по двору и обмахивался соломенной шляпой. На нем был широченный парусиновый костюм,

весь в масляных пятнах. Когда-то он жил в имении Трехносого. Потом перешел на мельницу, но не поладил с Гицэ Лунгу, как не ладил и с барином.

— Недоносок, немчура...— пробурчал Лунгу.— Эй, Франц, я тебя спрашиваю, куда ты идешь?

— Немножко в корчма...— ответил Франц, продолжая обмахиваться шляпой.— Я не Франц, я — герр Франц.

— Брось, не гордись, что ты какой-то там герр. Слышал небось, как русские лупят немцев.

— Это не мой дела. Я прошу называть меня герр Франц.

— Хорошо, хорошо. Ты отпирал ящик со вторым гарнцевым сбором?

— Нет. Открою, когда будем вместе. Я повесил от себя замок с секрет. Я не доверяй, когда пошел в корчма, что ты не взял больше, чем я.

— Вот чертово дело,— недовольно пробурчал Гицэ.— И с этим морока. Куда ни повернись — везде жулики. Я вкладываю капитал, машины, запасные части, а у него одни лохмотья. Кроме жалованья, я ему еще и из второго сбора выделяю. Правда, он все это дело и оборудовал, все умеет делать, дьявол, да ведь за мой счет. Смеется, когда говорю, что делить второй сбор пополам неправильно. Говорит, в воровстве такой закон — все пополам! Хотя бы он копил деньги, а то все уходит у него сквозь пальцы... Надо у себя здесь завести корчму. Зачем его будут обирать другие, когда я сам могу это делать? Ишь ты, повесил свой замок с секретом!

— О чем это ты?

Это была жена его Станка.

— Про немца говорю, черт бы его побрал! Навесил замок с секретом на второй гарнцевый сбор.

— Так тебе, Гицэ, и надо, раз водишься ты со всякими прощелыгами. Пойди-ка, прошу тебя, полюбуйся еще на другое; за этим я и вышла тебя позвать. Посмотри-ка на мою проклятую сестрицу, как она мне все время перечит. Я ей говорю, что парень погиб, а она смеется.

Гицэ надул губы, сложив их пятачком. Даже позеленел от злости.

— Что же делать? — заскрежетал он гнилыми зубами.— Я говорил с батюшкой Нае. Не смеет он дать добрый совет бедной сиротинке. Требует сунуть ему в лапы пять сотенных за молитвы да поклоны пречистой. Когда он прочитает, мол, известные ему молитвы, тогда заскучает девчонка о монастыре. Как будто бы я баба, чтобы так меня обдуривать.

— Гицэ, Гицэ,— запричитала жена, перекрестившись при этом,— наши дочки только помянули Настасии о земных поклонах в Цигэнешть, а она так и набросилась на них и по губам нашлепала.

Мельник хлопнул себя по лбу и вытаращил глаза на Станку.

— Черт... ну, пойду расправлюсь с ней.

Жена остановила его.

— Ради Христа, не ходи, Гицэ, не бей ее, Гицэ! Она ведь сумасшедшая, выскочит в окошко и побежит вопить по селу, что хотели мы ее убить, чтобы забрать ее приданое.

Станка уговаривала его, пока он не утихомирился.

— Тогда чего ты от меня хочешь? — запыхтел мельник.

— Уж лучше добром, лучше лаской, Гицэ.

— Ого-го! — скривился Гицэ.— Пойду-ка улыбнусь ей, словно барыне.

— Погоди, Гицэ, не теряй головы, Гицэ. Примочи немножко глаза холодной водой. Постой немного тут да иди обедать! Только не задерживайся, чтобы щи не простыли.

Гицэ Лунгу направился к своей берлоге в пристройке возле мельницы.

— Я успокоюсь, ты не бойся. Выпью стопку и успокоюсь. Только знай, жена, мой меньшой брат не пропал. Аниняска известье принесла.

— Господи боже ты мой,— запричитала женщина, схватившись за голову.

— Замолчи, теперь уж я тебе приказываю успокоиться. Может, все-таки... может, известие и неправильное... Может, только говорят... Да смилостивится господь бог над нами и над покоем нашим!

Станка захныкала у него за спиной на пороге каморки:

— Налей и мне, Гицэ. Под ложечкой сосет, тошнит от всех этих волнений.

— Убирайся отсюда,— повернулся мельник, надувшись.— Жена такой особы, вроде меня... Не подходяще. Уж лучше я выпью две стопки. Ну, ладно, иди, на и тебе одну,— смягчился он, видя ее слезы.— Знаешь что, Станка? — продолжал мельник, просветлев после второго стаканчика.— Принеси-ка мне щи сюда. Не пойду я смотреть на нее, как она кочевряжится. Убить ее хочется, глотку перегрызть; сам не знаю, что мне в голову лезет! Ну, иди. Отсюда можно и за немцем последить: посмотрю, уж не подобрал ли он ключ к моему замку. Такой и ограбит и по миру пустит. Его бес

пьянства подстрекает... Думается, никогда люди не были такими подлыми, как теперь. Сестра родная продает, потому подошло ей время замуж выскочить. Вырастишь родного братца, а потом он возвращается да еще чего-то требует. Скажи ты мне, что это за война, если ты пошел воевать и приходишь домой, как с ярмарки? Я спрошу Кристю: богатый знает больше бедняка; потому он и богат, что умен. Барин больше меня знает.

Несмотря на все тревоги этого дня, Лунгу не забыл о своем намерении повидать барина. Через несколько дней он появился в Хаджиу и попросил разрешения повидать «моего барина».

Его барин, как обычно, находился на вышке, с подзорной трубой и ружьем. Он стал еще толще и угрюмей.

Гицэ Лунгу осторожно положил шляпу на стул и смиренно поклонился.

— Что с тобой, Гицэ? Ты, я вижу, купил новую шляпу.

— Что ж,— захихикал Гицэ,— лысому нужна скуфейка. Только страсть какая дорогая, барин.

— Такая и полагается тебе, Гицэ, денег у тебя хватит. Ну что, Гицэ,— верно, пришел спросить, как идет война?..

— За тем и пришел, барин. Других дел промеж нас нет, все кончили.

Трехносый пристально посмотрел на него, покачивая головой.

— Плохи дела, Гицэ. Если не воспрянет немец и не придумает чего-нибудь, чтобы растерзать, разметать, забросить русских к самым звездам, тогда худо будет.

— Почему барин? — забормотал перетрусивший мельник.

— Эх, Гицэ, ты до сих пор, видно, не понял, что главная для нас опасность — большевики.

— Почему, барин? Они там, а мы здесь.

— Дурак ты, Гицэ, если так думаешь! Ведь раз они идут за немцем по пятам, то завтра мы их увидим здесь, у себя. Тогда и у нас в стране поднимется голытьба и нищие, как это было у них. Боюсь революции, Гицэ, вот оно что!

— Может, еще не так страшно, барин,— испуганно пробормотал Гицэ.— Я вижу, наши люди рады были бы миру. Никакого восстания им больше не нужно, им бы, несчастным, только дни свои дотянуть.

— Разве ты не понимаешь, Гицэ, что их другие подстрекают? Большевики-то ведь революционеры по профессии. Если мы не возьмем дела в свои руки и не затянем подпруги, плохо может получиться.

— А вы затяните,— согласился Гицэ Лунгу.

— Да, то есть правительство. У правительства сила, правительство должно быть настороже.

— А вы, барин, говорите, что идут на нас эти...

— Говорю, идут. Мы просим мира: повинную голову меч не сечет.

— Это так,— снова согласился мельник.

— Так-то это так, да как сделать? Нужна сноровка, нужны люди с головой, чтобы вести переговоры.

— Найдутся и такие,— отозвался Гицэ.— Пусть нас оставят с миром, не мешаются в наши дела.

— Вот именно! — выпучив глаза, подтвердил Трехносый.

— Пусть и меня оставят в покое,— продолжал Гицэ,— у меня своих забот полон рот. Вот за этим я и пришел: попросить совета у сведущего человека. Девчонка, женина сестра, устраивает мне оппозицию.

Господин Кристя засмеялся:

— Это та, которую ты хотел постричь в монашки, чтоб тебе земля осталась?

— Не затем, барин...— оправдывался мельник, несколько пристыженный.

— Нет, затем. Да это и правильно, ведь кому как не тебе знать, что делать с ее землей.

Мельник молча проглотил слюну, уставив на помещика свои больные глаза.

— Слыхать и про брата моего Митрю, греховодника, что возвращается он.

— А ведь болтали, что он погиб.

— Не погиб. Это так только говорили. А теперь оттуда весточка пришла.

Мельник был весь внимание, ожидая совета от человека, который был поумнее его, «потому что сумел накопить больше».

— В конце концов, если он и придет, что тревожиться? Такой, как он, будет рад, что хоть шкуру сохранил; будет рад и куску хлеба от нас. Разве я не здесь? Разве у нас нет властей? Нет жандармов? Он в наших руках.

— Они с войны приходят отчаянные, барин.

— Знаю, об этом я тебе с самого начала говорил...

Что он говорил с самого начала? Говорил что-то о переговорах и ловких людях. Гицэ Лунгу ничего толком не понял и смущенно улыбался.

— Я, барин, боюсь, как бы не вернулся он калекой. Засядет у нас на печи, а ты корми его. Уж лучше бы убили, чем этак.

— Послушай, Гицэ, ждал ты до сих пор, подожди еще немножко,— посоветовал помещик, которому уж стал надоедать этот разговор.— Разберешься, а там и примешь меры, смотря по обстоятельствам.

Гицэ Лунгу почесал у себя за ухом, уставившись в угол, куда смотрел и помещик. Что может там храниться? Деньги? Деньги в банке в Бухаресте. Дурак он, что ли, чтобы держать их в Хаджиу? Только мельники, которым ума не хватает, держат пачки банкнот в Малу Сурпат. Но и мельники уж не такие простаки, как о них думают, где эти пачки спрятаны, сам черт не найдет.

— Понял?

— Понял,— вздохнул мельник.— Позвольте мне еще как-нибудь зайти...

— Заходи,— пригласил боярин Кристя.

Его «заходи» прозвучало менее равнодушно, чем в другие разы, и Гицэ обратил на это внимание.

«Значит, и у него есть во мне нужда»,— подумал он, спускаясь с вышки и заботливо поправляя на голове новую шляпу.

Случилось так, что господин Кристя в тот же самый вечер послал верхового объездчика за Гицэ: чтобы тот как можно скорее пришел в имение. Были позваны и другие: староста и нотариус, поп и учитель, начальник жандармского поста и разные деревенские заправилы, чтобы узнать о добрых вестях, переданных по радио.

Гицэ задержался, пока натягивал на себя белье, снятое из-за августовской жары, пока старательно одевался, собираясь к Трехносому и раздумывая, что это за вести могут быть. Добрые ли вести? Может, что-нибудь стало известно о Митре? Только из-за этого не стал бы он вызывать столько людей. А может, хочет сообщить, что немцы, наконец, взялись за дело по-настоящему — пустили ядовитый дым или лучи смерти.

Он бежал, гулко топоча каблуками по тихим, молчаливым улицам села. Перед входом в Хаджиу он услышал впереди себя, среди высокой кукурузы, громкий разговор. Гицэ заторопился еще пуще и наткнулся на кое-кого из тех, что были вызваны в имение.

— Вы были там? Что случилось?

— Случилось, что заключили перемирие с «Советами». Теперь все своими делами будем заниматься, избавимся от немцев.

В темноте мельник пытался узнать, кто это говорит.

— Это волостной старшина,— шепнул ему на ухо поп Нае.

— И мне бы сходить туда,— сказал Гицэ.

— Не ходи,— посоветовал ему начальник жандармского участка Данциш.— Господин Кристя устал, выпил немножко с нами и лег спать. Завтра встанет, чтобы принять меры.

— Какие меры?

— Меры, надлежащие при таком событии. Ведь мы должны рассказать людям, объяснить, посоветовать...

— Верно. Завтра увижу его.

Поп Нае толкнул его локтем и шепнул:

— Что на него смотреть? Сам на себя смотри. Русские идут.

— Ну и что, если идут? — пробормотал Гицэ.

— Ничего, только я тебе говорю, чтоб ты все обдумал. Это тебе мой совет.

Они возвращались в Малу Сурпат, разговаривая о всяческих мелочах под вечными звездами.

Не было и шести часов утра, когда боярин Кристя, серьезный и суровый, уже сидел на низеньких рессорных дрожках, сдерживая вожжами рысаков. Медленно объехал он свое имение. Все люди были на местах. Таков был его приказ: каждый при своем деле! Потом он быстро покатил в Дрофы. там он рассердился, увидев, что с работами запоздали. Только-только запрягли волов и повели их к плугам, оставленным на бороздах.

Тригля издалека увидел Трехносого и ожидал у землянки посреди дороги, около стана. Голова его была непокрыта, и легкий утренний ветерок трепал его седые волосы. В правой руке он держал обрывок цепи.

— Что за цепь? — спросил Трехносый, резко останавливая рысаков.

— Да так, барин; просто цепь, наша...

Кристя, повысив голос, громко спросил:

— Слышали известие о мире?

— Слыхали...

— Когда? Как? изумился помещик.

— Откуда мне знать? Пришел кто-то в полночь. В селе был. И нам сказал.

— Ну, и что скажете? Рады?



— Что ж, барин. Сразу не скажешь, хорошо или плохо. Мы, бедняки,— продолжал Тригля, забросив обрывок цепи,— подождем, посмотрим, что дальше будет.

Когда боярин уехал, старуха Кица высунула из-под навеса свою совиную голову и поглядела вслед дрожкам.

— Что случилось, Тригля? — крикнула она.— Только-только погода казалась хорошей. А теперь, видать, скисла!

Глава шестнадцатая

НАСТАСИЯ ПУСКАЕТСЯ В ТАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Однажды утром восьмилетняя Мица, дочка Чудосу, живая, непоседливая и быстрая, словно козочка, прибежала на мельницу спросить, «когда запустят мотор, чтобы и тятя пришел молоть», и минутку-другую подурачилась с Настасией, которая пряла, сидя на солнышке позади дома, там, где не было ветра.

Чудосу жил через плетень от Аниняски. Жена его Мария на что уж была бойка, а дочка Мица ее перещеголяла, как бы в подтверждение старинной румынской пословицы, что старая коза через стол перепрыгнет, а молодая козочка и через дом перемахнет.

— Брысь отсюда, Мица,— отмахнулась от нее Настасия,— оставь меня, и так тошно, глаза бы мои не смотрели...

— А вот пойди к Уце Аниняске,— отвечала девочка,— тогда и повеселеешь.

И козочка пустилась прочь со всех ног: вот была здесь, вот показалась на краю села, вот юркнула в какой-то сад и исчезла.

Настасия бросила веретено, посмотрела, что делает Станка у растопленной печи, на ходу повязала красную косынку и побежала вслед за Мицей.

Она знала, что крестная Уца уже два дня как больна. Ее мучил застарелый ревматизм. Она едва передвигалась, полчаса шла из комнаты до кухни, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. А все больше лежала в постели под одеялом. К ней то и дело заглядывали соседки и крестницы, чтобы помочь ей.

Настасия торопливо вбежала, вся раскрасневшись, грудь ее поднималась высоко, она едва переводила дух.

— Ух, крестная Уца, бежала сломя голову. Чудосову девчонку обогнала... Что случилось?

Крестная уже сидела на краю постели. Она слышала, как прибежала девушка, как хлопнула дощатой калиткой, торопливыми шагами пересекла двор, дернула ручку наружной двери.

— Добрые вести, дитятко,— ответила она улыбаясь.

— От Митри?

— От него. Только скажи мне, Настасия, дорогая, почему так случилось, что эта радость меня опечалила?

— Не понимаю, крестная, ты меня пугаешь.

— Не пугайся, моя ласточка. Есть письмецо, сейчас тебе отдам. Его привез Динкэ, муж Порумбицы. Его послало начальство с письмами в Бухарест. А он, как только сдал письма полковнице и капитанше, сразу же на вокзал, на поезд и приехал к жене, как и в прошлый раз, хотя бы на ночку. Он служит в полку по соседству с частью твоего Митри. Час тому назад Порумбица принесла мне письмецо. Прочитала я, кликнула с порога чудосову Мицу, ведь она тоже моя крестница. Беги, говорю, Мица, приведи ко мне нашу Настасию единым духом. Видишь, вот письмо.

Настасия смотрела во все глаза, думая увидеть письмо величиной с евангелие. Крестная Уца протянула же ей маленькую бумажку, сложенную вчетверо.

Девушка дрожа развернула ее: бумага жгла ей пальцы. В «письме» только и было написано:

«Крестная Аниняска.

Уповаю на твою милость и прошу тебя привезти Настасию немедленно в Сибиу».

— Не понимаю,— прошептала Настасия, вся как-то увянув и пристально глядя на Аниняску.

— Прочти еще разок.

— Читаю. Почему он называет тебя крестной? Ведь ты его не крестила!

— Крестить не крестила, но поженю вас я, сообща с моим братом Маноле Рошиору.

Настасия зарделась до самых кончиков ушей. Она поцеловала Аниняске руку и снова уткнулась в записку, которую держала в левой руке.

— Почему он не приезжает сюда и почему мне немедленно ехать в Сибиу?

— Твоя правда, ласточка, я-то тебе не сказала, что Динкэ приехал из Сибиу только потому, что его послал начальник. Митре же нельзя уехать: служба не позволяет. А «немедленно» приехать просит он потому, что долго там они не пробудут,

уйдут дальше. Двинутся войска догонять немцев, отправится и дивизия Тудора Владимиреску. Ну как, поняла? Я лежала, ласточка, и все думала. А тебе когда и подумать? Ты все с рыву, с маху...

— Правда, крестная,— смутилась Настасия, и на глаза у нее навернулись слезы.— Только почему ты говоришь, что эта радость печалит тебя?

— Потому что я больна, ласточка, и не могу двигаться. Будь проклят этот ревматизм во веки веков, пропади он пропадом, чтобы не мучились люди. Не мог меня схватить зимой или прошлой осенью, когда не нужно было никуда ехать.

— Ой, крестная, горюшко мое! Что же мне делать? Ведь Гицэ и не заикнется, чтобы проводить меня. Гицэ на меня смотрит волком, словно разбойник какой; его бы воля, так и разорвал бы меня на части. Он готов руку дать на отсечение, лишь бы брат его не вернулся.

— Отсохнули бы его руки! — вздохнула Аниняска.

— А сестра готова меня, крестная, ядовитыми грибами извести.

— Самой бы ей отравиться! — снова вздохнула Уца.

— Деньги у меня есть, крестная, я отложила. Только как я без тебя поеду?

— Ничего, доедешь.

Аниняска притянула ее к себе и вытерла ей слезы ладонью.

— Одной ехать?

— Одна поедешь. Там вы будете вдвоем. А потом ты вернешься. До города отвезет тебя мой брат Рошиору, ваш крестный. Ведь брат мой — вдовец, так что никто ничего не узнает. Сядешь ты в поезд и поедешь. Где, скажут, Настасия? Нет ее. И Аниняска не знает. Никто ее не видал. Если жива — вернется! А ты будешь далеко, унесут тебя крылья любви. Вот так, милая. Готовься в путь. Вечером Маноле отвезет тебя к поезду. Не тревожься. Ведь только от Бухареста много народу едет. Да найдутся и там добрые люди, которые помогут тебе. Только ты получше схорони деньги под подкладку. Я приготовлю корзинку с едой. Ты Митрю и от меня поцелуй.

— Обязательно, крестная,— поспешила заверить ее Настасия.

Она опустилась на колени и поцеловала ей руки, обливая их слезами.

Весь этот день девушка была сама не своя, места себе не находила. Вечером она исчезла с мельницы, словно тень. Уехала.

Только через день узнали об этом на селе. Всю ночь и целый день во вторник Гицэ и Станка сохраняли в тайне исчезновенье Настасии. В среду мельник отправился к жандармам. Тогда-то, после первых расследований старшины Данциша, и пошли слухи, разливаясь, словно река Лиса в половодье.

Когда Гицэ Лунгу вернулся на мельницу, Станка угостила его вместе с обедом свежей новостью, что сестра ее Настасия будто бы утопилась в колодце.

Мельник почесал за ухом и медленно покачал головой, глядя в темный угол, где затаилось зернышко страха. Он скривился:

— Нехорошо, Станка.

— Почему? Ты же ни в чем не виноват.

— Я-то знаю, что не виноват,— пробормотал он, не глядя на нее.— Кто тебе сказал про колодец?

— От людей слыхала. Приходили сюда, оставили мешки.

— А они откуда знают? Видели они, что ли? Уж не из нашего ли колодца они ее вытащили?

— Что ты, Гицэ? Говорят, от людей слыхали. А что с ним, с колодцем?

— Ничего. Просто так спрашиваю. А ты что знаешь? — повернулся он к ней, и глаза его налились кровью.

— Батюшки! — вскрикнула она, всплеснув руками.— Теперь только я поняла! Вставай, бросай обед! Беги посмотри! Пошарь багром в колодце. Ишь, барыня, что удумала. Господи боже мой, дева пречистая, сгореть бы ей в аду!

Мельник надулся, он как-то весь ощетинился.

— Это ты ее столкнула, Станка? — закричал он, замахиваясь на нее рукой.

— Что ты болтаешь? — Она так и застыла, уставившись на мужа. Гицэ ухмыльнулся.

— Я-то ведь не такой дурак! К себе в колодец?..

— Ой, Гицэ, что ты говоришь? Я тоже не дура. Коли все так, как говорят, то испоганила она нам колодец.

Она пошла вслед за мельником. Он, пыхтя, достал багор.

Присоединились еще два крестьянина. Они сбросили с плеч мешки и подбежали к колодцу, чтобы свесить над срубом свои лохматые головы и разглядеть, что там такое в глубине. После мельника они тоже пошарили багром. Ничего не было. Только врéмя потеряли.

Гицэ Лунгу, весь в поту, отошел в сторону. Он перекрестился, возведя глаза ввысь. Только сейчас он увидел ясное небо начинающейся долгой осени. На мгновение он успокоился.

Но зернышко страха из темного угла перешло в него и начало расти. Если свояченицы проклятой нет в колодце у мельницы, тогда она в другом месте. Покончила с собой, безумная девка, чтобы вся вина пала на нашу голову. Отчаянная ведь, чего только не взбредет ей на ум!

Гицэ боялся взглянуть на людей. Ему казалось, они подозрительно смотрят на него.

Он пошел в дом и доел свой обед. Жена как будто немного успокоилась.

— Видишь, нет ничего!

— Что я видел? Ничего не видел. Может, она в другом колодце. Я и то думаю, почему ей обязательно в колодце быть?

— И я то же говорю, Гицэ. Откуда тебе взбрело в голову, что она в колодце?

— Мне взбрело?

— Тебе, а кому же еще? Почему в колодце? Может, она в омуте, в Лисе. Или скатилась в обрыв у Бобу, где такая трясина, что и гнедую кобылу попа Нае засосало так, что и ушей не видно было.

Мельник нерешительно встал.

— Хотел я тебя поколотить, да вижу, сил моих нету — жалко тебя. Пойду снова к жандармам. Пусть они ищут, расследуют, выясняют, отведут от нас эту новую беду.

Станка осталась дома, ругаясь и хныча. Гицэ же зашагал в село вдоль телефонной линии, на проводах которой сидели ласточки, готовясь к отлету. Они сидели одна около другой, словно жемчужинки, до самого горизонта. Другие, щебеча, стаями кружились в высоте.

«Им что...— вздохнул Гицэ и мысленно обругал их, как будто они знали о происшествии с этой сумасшедшей девчонкой.— Кто знает? Может, она и не погибла, а пошла по белу свету искать своего Митрю. Что-то не верится, чтобы нашла. Да где же ей разыскать его? А может, как-нибудь дошло известие, что он убит, вот она, обезумев, и отправилась куда глаза глядят. А может, не то и не другое. Вскружили ей голову, и сбежала она с кем-нибудь в соседнее село. Или подхватили ее в грузовик отступающие немцы и увезли с собой. Они это делают; им что! Кто им будет сопротивляться? Возьмут и застрелят из пулемета... Лихо достается и немцам этим:

травят их русские, словно волков. Да и наши на них поднялись. Через горы бегут, степью бегут; правда, здесь их еще не видали. Ну, так как же быть? Где она затаилась, назло нам? Чтобы люди косились... Вот почему те двое, что были у колодца, копались и в мусоре около мельницы... Дескать, удавили мы ее и закопали там. Не догадался я тогда оборвать их: «С кем, вы думаете, дело имеете, а? Эй вы, голытьба, Гицэ Лунгу не способен на этакое!»

Да и вот эти, что проходят мимо... Поздороваться поздоровались, но в глаза не смотрят. Бабы собираются у калиток, поглядывают на меня искоса, все перешептываются. А обернись, так увидишь: головой на тебя кивают. Язычок у них такой—и искусает и обдерет получше, чем стая волков».

На жандармском посту старшины Данциша не было. В примэрии тоже не было. Вместе с людьми он отправился на поиски.

Гицэ напал на его след, нашел старшину. Он то тут, то там забрасывал невод в омуты Лисы. До сих пор ничего не нашли. Данциш пожал плечами.

— Нету, Лунгу; нет и нет. Всюду обыскали. Аниняска тут приходила. Она видела девчонку во вторник утром. Ты говоришь, во вторник ночью она дома не ночевала? Какой вывод можем сделать, кроме того, что она исчезла? Ты подал мне заявленье, я делаю заключенье. Подождем. Попомни мое слово, она вернется.

— И это может быть...—вздохнул Гицэ.— По правде сказать, Данциш, после того как задала она мне такого жару, так если уж сбежала, что ж, пускай! Прошу тебя, пошли письмо в монастырь Цигэнешть. Может, она там. Тогда бы я был спокоен. Не по себе мне от всей этой истории.

— И мне тоже. То одни, то другие подсказывают, дескать, тут преступленье.

— Знаешь, Данциш, в таких делах всегда бабы виноваты. Вот гляди, какую бучу подняла эта пропавшая девчонка. Смотри, каких небылиц напустили по селу бабы о почтенных людях. А помните ту, что во сне остригла силача Самсона, когда тот спал, и выдала его филистимлянам? Куда ни повернись, куда ни посмотри, везде из-за этих баб брань и поношение...

Гицэ, казалось, успокоился и был не прочь поговорить. Однако Данциш был с ним настороже. Он бросил на него взгляд исподтишка, и мельник почувствовал, как внутри вновь шевельнулось зернышко страха.

Старшина притворно улыбнулся. Гицэ понял, что неприятности еще не кончились.

Пятница, суббота, воскресенье; огонь утих, но не потух. В золе еще поблескивали искры. Нужны были кузнечные мехи, чтобы опять поднялось пламя, но мехов не было. В понедельник начал моросить мелкий, пронизывающий сентябрьский дождик. Мужики, промокшие до костей, возвращались домой с резки кукурузы, женщины ругались по дворам; малыши путались у них под ногами, а они шлепали их и гнали домой. Скользя по грязи, жены помогали мужьям разгружать початки. Платки их сползали на затылок, и женщины так и сыпали бранью направо и налево. Кукурузы уродилось мало, да и та ожидала теперь под дождем, когда придет в голову Трехносому делить ее. Крестьяне говорили, будто бы зашла речь о новом порядке в работе. Вместо трех частей помещику и двух крестьянину отдавать, мол, крестьянину четыре, а помещику одну: хватит мироеду и этого. Теперь, после перемирия с русскими, земля, мол, если послушать людей, что сторону народа держат, должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает, а права мироеда надо урезать. Поэтому все подбивали друг друга забрать разом кукурузу без разрешения барина, оставив ему сколько сами сочтут справедливым. И сделали бы так, пожалуй, но побаивались Данциша, уж очень ревностного к службе.

В понедельник ночью шел дождь, лил он и во вторник. С юга, застилая небо, тянулись серые тучи, клубясь над Дрофами. Тоска и мокрядь нависли над землей.

Во вторник к вечеру Аниняска услышала стук в дверь и вздрогнула. Она боялась грабителей и сидела запершись. Потом ей послышался жалобный голос. Кряхтя, поднялась она и поспешила открыть дверь. Может, Настасия! И правда это была Настасия, с большим мешком, накинутым, как башлык, на голову и плечи, в подоткнутой юбке, в постолах, полных грязи.

— Это ты?

— Я, крестная. Слава богу, добралась. В поле грязь и вода, думала, что не дойду.

— Хорошо съездила?

— Хорошо, крестная, только умаялась — спасенья нет.

— Рада?

— Рада. Митрю видела. Побыла с ним немножко. Он готовится к отправке.

— Где вы встретились-то?

— У него на квартире. Он один живет. Комната у него хорошая. Он унтер-офицер, крестная. Только худой он. Желтуха у него была; от усталости это.

Они вошли, заперлись. Занавесили окна. Свет шел только от печки. Настасия торопливо сбросила с себя всю одежду. Уца Аниняска вынула из сундука сухую смену, завернула девушку в кожух и, закутанную, усадила на низенькую табуретку поближе к огню.

— Вот так, ласточка моя, согревайся и рассказывай. Рассказывай, а я соберу тебе чего-нибудь поесть.

— Я есть не хочу.

— Ну-ну, тебе нужно сил набраться, чтобы рассказывать.

— Нечего мне рассказывать, нечего говорить. Видела я его, вот и все.

— А от меня поцеловала?

— Ой, крестная, забыла.

Она засмеялась и поправила волосы на виске. Под платком за левым ухом еще виднелся увядший цветок герани, оставшийся от того часа, который она еще так страстно переживала.

— Говоришь, он болен, что ли?

— Да. Но сказал, что теперь прошло.

— Легко, ласточка, не проходит. Прошло, когда тебя увидел. Чтобы по-настоящему выздороветь, ему нужно давать печенку от черной телушки трижды в неделю и настойку зверобоя три раза в день. Можно и от белой телушки, только была бы печенка.

— Я знаю, крестная. Да разве во время войны достанешь то, что надо? Он говорил, ему полегчало теперь. Врачи хотят послать его в госпиталь. Да он не хочет! «Выполним раньше свой долг,— говорит.— Пойдем вперед. Как выполним, тогда, мол, вернусь к себе в Малу Сурпат; нужно мне там счеты свести»,— говорит.

Аниняска покачала головой, пристально глядя в огонь. Она прошептала:

— Увидеть бы его сначала здесь здоровым да свадьбу сыграть. А больше ничего мне не скажешь?

— Нет, больше ничего.

Крестная взглянула на нее исподтишка. Настасия прикрыла веки. Эти черные, словно пиявки, брови Уцы пугали ее.

— Народу было в поезде — иголке негде упасть. Едва богу душу не отдала. Все же нашлось мне местечко.

— Это, девонька, ты оставь. Уехала, приехала — ну, и все. Теперь скажи, согрелась ли ты. Хорошо себя чувствуешь?

— Да, крестная.

— Переспи эту ночь здесь. Подумала ты, что завтра нужно идти на мельницу?

— Не думала, но пойду, делать нечего.

— Ты знаешь, крестница, какая тут кутерьма поднялась после твоего отъезда? Розыски были, искали тебя по колодцам, в омутах Лисы. Гицэ Лунгу совсем раскис. Все село их подозревало: его и твою сестру.

Девушка злорадно засмеялась, показав белые зубки.

— Митря, когда узнал, как я уехала, сразу подумал, что быть на селе суматохе. Он мне говорил, что нехорошо будет, если узнают в селе о нашей встрече; как бы из-за этого не стали на меня наговаривать.

— Понимаю.

— Он советовал сказать, что ездила, мол, в Бухарест разузнать про него как невеста. Узнать, жив он или убит и где находится. Что была, мол, в штабе дивизии. Не знаю, какая улица — забыла, как он говорил. Узнала, мол, я, что он жив, а тогда и вернулась.

Аниняска, не сводя с нее глаз, одобрила:

— Так оно хорошо.

Они все говорили и говорили и так засиделись допоздна. Уца уложила крестницу, хорошенько закутала ее и дождалась, пока та заснула. Когда пропели полуночные петухи, Уца встала, неслышно подошла и наклонилась послушать, как дышит девушка.

Рано утром крестная оделась получше. Дождь еще лил. Она оставила Настасию спящей, заперла ее одну в доме и пошла в село. Через полчаса она привела старшину Данциша.

Девушка умылась, причесалась и поправляла на себе высохшее у печки платье.

Увидев жандарма, она испугалась. Уца Аниняска сделала ей знак ничего не бояться. Данциш поздоровался, однако смотрел сурово.

— Где это ты была, Настасия?

Девушка слегка повернула голову, чуть прищурив глаза. Как это он с ней разговаривает? Ишь какой! А ведь он и чином ниже Митри.

Она смело откликнулась:

— Что-то не расслышала, как вы сказали.

Аниняска от удивления чуть даже не перекрестилась. Но только прикрыла рот ладонью, чтобы не прыснуть со смеху. Встретив взгляд Данциша, она подмигнула ему. Данциш ответил тем же. Это был пройдоха с берегов Амарадии. Его братья продавали овощи на улицах Бухареста.

— Где вы были, барышня Настасия?

— Да так, в Бухаресте, узнавала кое о чем.

Вмешалась Аниняска:

— Я уже говорила господину старшине.

Девушка приободрилась. Хотела сказать все, как советовал ей Митря. Но жандарм остановил ее:

— Прошу, прошу — больше не надо. Я все понимаю. Но ты неразумно поступила, барышня. Вдруг исчезнуть так неожиданно, не известив никого! Я уж думал, ты с отчаянья убежала или еще что похуже задумала. Искал тебя в колодцах и в Лисе. Писал письмо в Цигэнешть.

Девушка удивленно смотрела своими большими, невинными глазами. Снова вмешалась Аниняска:

— После, когда Митря отслужит свою службу и вернется, мы их поженим — я с моим братом Маноле Рошиору.

Старшина Данциш сделал вид, что очень рад:

— Прекрасно, прекрасно. Ну, так покончим со всей этой неразберихой. Мы все вышли из себя, погорячились. Хорошо, дождь пошел и охладил нас. Льет как из ведра. Как я понимаю, Гицэ еще ничего не знает.

— Наверно...— ответила девушка, поджав губы.

— Не знает,— успокоила представителя власти крестная Уца ласковым голосом.

— Тогда я пойду скажу ему. У меня к нему и другие дела есть.

— Хорошо. Вы знаете, как и что нужно сказать.

— Само собой понятно. «Не трогай девушку; хорошо, что вернулась; забудем обо всем».

— Старшина Данциш хитрый олтенец[1], Настасия,— заметила крестная, повернувшись к девушке.

Крестница равнодушно улыбнулась, поправляя за ухом заветную герань.

---

[1] Уроженец Олтении.

Глава семнадцатая

У КУЛАКА НА МЕЛЬНИЦЕ МЕЛЮТСЯ ЗЕРНА, ПЕРЕСУДЫ И НАПАСТИ

Настасия вернулась на мельницу полная бодрости; казалось, в душе ее распустился цветок. Но цветок радости вскоре увял, лишенный солнечного света. Воспаленные глаза Гицэ подстерегали ее, а сестра Станка едва сдерживала затаенную до поры до времени злобу. По утрам Настасия убирала и помогала по хозяйству ровно столько, сколько сама считала нужным за пищу и кров, которые ей давались. Она больше не думала о своих правах на землю, доставшуюся ей по наследству. Землей этой владел Гицэ, который вцепился в нее, словно медведь, рвущий телушку. Вырвать хоть что-нибудь из его лап никто не был в силах. По ее мнению, только Митря мог это сделать — так он возмужал и окреп. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что «его мать родила, а не курица снесла», как говорила старая Кица Триглойя. Старуха давно уже, еще с тех пор как лежал он осенью в Дрофах, весь избитый, увидела в нем ту силу, которая развилась теперь.

После обеда Настасии было легче, она убегала к крестной Аниняске с прялкой или с вязаньем. Там, слушая ее советы и рассказы, она снова обретала спокойствие. Стояли тихие дни конца сентября; голубое небо было кристально чистым. Курлыкали журавли, проплывая на юг. Настасии казалось, что эти журавли летят оттуда, где еще сражаются люди, где стреляют и убивают друг друга. Про себя она молилась за Митрю. Она ни минуты не сомневалась, что такой человек, как он, вернется домой, в Малу Сурпат: ведь он достоин этого, а главное — ведь она любит его. Когда пришла пора октябрьских дождей, послеобеденные часы в доме крестной стали грустными. Настасия осунулась, крестная Уца пристально поглядывала на нее.

— Мне ты можешь, ласточка, сказать, что с тобою...

Настасия склоняла свою голову, увенчанную косами, и сдерживала рыдания. Она подозревала, хоть и не была еще уверена, что в ней зародился ребенок. Радостные воспоминания перемежались у нее с минутами грусти, минутами печали, страха перед людьми, особенно страха перед сестрой Станкой и перед Гицэ, от которых она все еще зависела.

Для мельника же мысль о Настасии была еще не такой острой занозой, как заботы и новые неприятности, возникшие с началом той осени.

Пошло все от механика Франца.

Вдруг ни с того ни с сего немец решил уйти. Забрал без ведома Гицэ весь «второй гарнцевый сбор» и спустил кому-то — скорей всего корчмарю, за долги, которые были записаны на него. Гицэ даже посинел от злости и схватил немца за грудь, но тут сам крепко ударился затылком о деревянную балку, когда немец оттолкнул его, ругаясь на своем скрежещущем языке. Что тут делать: немец пригрозил ему, что пойдет в примэрию, заявит о воровских проделках на мельнице. Дело в том, что, когда крестьяне высыпали зерно из мешков в воронку, некоторая часть зерна утекала через тонкую трубку, вделанную в воронку, так что придачей к обычному сбору был ловко задуманный «второй гарнцевый сбор». Гицэ послал немца к черту и больше не утруждал себе голову: пусть уходит. Франц Кранц ушел тайком, и никто его больше не видел. Через несколько дней после этого происшествия поступил из министерства внутренних дел секретный приказ, сразу же ставший известным всему селу: — «означенного Франца Кранца немедленно арестовать», ибо он является, мол, замаскировавшимся шпионом.

У Гицэ ноги подкосились. Иди теперь в примэрию и давай показания. Да еще давай показания в жандармском участке, доказывай, что не имел ни малейшего понятия о его шпионских делах и что даже о его проделках с помолом не знал. Мошенничество всплыло наружу, и по селу пошли пересуды. Гицэ сдуру обещал людям возместить какую-то часть убытков. А как? По приходной книге... Черт бы побрал этого Франца! Лихоманка бы взяла этого Кранца! Кто мог знать, что он будет грабить румын, когда те приходят молоть зерно на мельницу честного человека? Кто мог вообразить такую подлость? Да поймай Гицэ этого вора на месте, он так бы стукнул его кувалдой, которой бьют камни, что тот бы и не пикнул, а румынская страна избавилась бы от такого бандита, да еще шпиона. Надо обязательно разыскать Франца, пускай объяснит, как он все это проделывал. Надо расследовать, не применяли ли такую хитрую выдумку и другие здешние мельники-конкуренты. Он, Гицэ, лишь пожимал плечами: не знал, не ведал ни о чем, разрази его бог, если он знал что-либо. Некоторые крестьяне, однако, подозревали, что Гицэ знал обо всем: ведь это его мельница, и не мог же не заметить хозяин уловок механика. Вот когда найдут его Франца и приведут на место преступления, увидите, что тот выведет Лунгу на чистую воду.

Неожиданно разнесся слух, что Франца нашли. Пришла Ана, вдова Лайу, которого как-то в суровую зиму заели волки в оврагах Лисы, у холма. Прежде чем сбросить с плеча мешок с кукурузой, она еще на улице выпалила эту новость. Гицэ у себя в доме как услышал это, так и сел от страху. Вслед за Аной Лайу приехал Захария Адам в тележке, на белой кобыле. Мельничиха Станка выскочила на крыльцо. Она навострила уши, чтобы узнать, подтвердится ли весть о Франце. Захария тоже закричал:

— Эй, кум, Франца-то нашли! Свалился в какую-то яму, как переходил мосток через речку у Спрэвала. Видно, пьян был. И воды-то по щиколотку, не больше. Упал головой вперед, рот полон тины. Раздет донага; собаки его погрызли. Ни денег, ни документов при нем не нашли.

Гицэ, немного приободрившись, вышел из дому, чтобы запустить мельницу. Хоть этому-то он научился от вора. Подошли и еще крестьяне молоть зерно, собрались в кружок под навесом. Лошади похрустывали соломой у задков телег, время от времени взмахивая головами; одни фыркали, другие останавливали спокойный взгляд на взволнованных, шумных людях.

— Что скажешь про это, Лунгу?

— Что же сказать, братцы? Божье наказание за содеянное. Из-за него, брат ты мой, у меня волосы седеть стали. Ночей не спал. Так уж ему на роду было написано за все его грехи — захлебнуться в пригоршне воды. Слышал я от кума Захарии...

Стойка Чернец, только что вылезший из телеги, услышал, что бормотал мельник. Он подошел с кнутом в руке:

— Что тебе говорил Захария, Гицэ Лунгу?

— Что нашли утопленника — моего Кранца, всего изглоданного. Не слыхал разве?

— Как же, слыхал от жандармов. Из города приехали прокурор и доктор. Пошли осматривать тело, теперь уж вернулись. Немца твоего свои же убили. Рассчитались с ним, забрали деньги, документы и ушли. Это узнали от бегущих немцев, которых позавчера поймали. Они-то и обобрали Франца и расправились с ним. Признались без допроса.

Лошади и люди безразлично выслушали новости Чернеца. Гицэ Лунгу стоял некоторое время в задумчивости, выпятив губы. Ветер шелестел стручками двух безлистых акаций у мельницы и нес редкие хлопья снега. Чернец поставил повозку в сторонке, распряг лошадей, а сам все

время поворачивал голову к навесу, прислушиваясь к разговору.

— Ну, что скажете про это? — спросил он, подходя к людям.— Навалилась этим летом на Гицэ Лунгу беда, сумел он себя обелить, хотя с лица, бедняга, аж посинел от злости. Теперь вторая беда. И в этот раз он чист. Убили Кранца убегающие немцы — за дезертира его признали.

— Уф, уф,— пыхтел мельник, разомкнув пухлые губы.— И хорошо сделали!

Чернец удивился:

— А почему, Гицэ Лунгу? Разве и он не был бедным человеком, спасавшимся от войны? А наши, что устлали своими трупами русские поля, разве хотели войны? Кто ее хочет?

— Мой немец был бандит. Обобрал меня до нитки!

— А ну, погляди на меня, Гицэ Лунгу, и повтори эти слова еще раз.

Люди вокруг мельника ухмылялись. Ана Зевзяка громко расхохоталась.

— Обобрал меня, обобрал до нитки! — причитал мельник, поднимая к ушам свои согнутые пальцы.

— А он-то разбогател, что ли?

— Разбогатеть не разбогател, а меня обобрал.

— Ну, не за это его ухлопали, его ухлопали из-за ихней войны. Жестокий народ! Когда раньше они приезжали сюда в село или в именье, казались людьми вроде нас. А что понаделали, будь они прокляты на веки вечные, и у нас и в других местах, где только не были! У сербов, в Польше, у французов и у всех, кого поработили... Грабили, поджигали, подкладывали динамит, барабаны делали из кожи евреев. Такого опустошения и горя не помнят со времен татар, которые развешивали человеческие кишки по частоколам.

— Крепкая нация,— вдруг выпалил мельник.

— Почему же, Гицэ Лунгу?

— Я скажу тебе почему: сильный берет силой, а умный — умом.

— Эх, Гицэ Лунгу, это, видно, твой закон? Знаешь небось, как настрадались наши деды, как исстрадались мы сами, как опустели наши села и сколько осталось беспомощных вдов и стариков,— а еще смеешь хвалить немцев!

— Что ж, я только со своим не ладил, а те немцы, что у Гитлера, люди дельные!

— Да ты что, Гицэ, не слыхал, что ли, какие произошли перемены? Прошло время, когда кто посильней, тот и господствовал и людей угнетал. В России, как спихнули помещиков и живоглотов, сразу же пришла справедливость для трудового человека. Кто работает — тот и ест, кто не работает — тот не ест. Забота о труженике, о том, кого и жара палит и вьюга обжигает, у кого руки в мозолях,— вот, Гицэ Лунгу, какой новый закон большевики установили. Немцы берут силой, а они — справедливостью. И как немцы ни сильны, а лупят их, разбивают в пух и прах, потому что поднялась вслед за русским народом сотня других народов, и бьются, Гицэ Лунгу, все эти сто народов за правду, в боях добытую. И от нас они немцев прогнали. Настанут и для нас новые времена, избавимся мы от мучений, в которых живем.

— Нет,— снова осмелел Гицэ,— по справедливости, крепкому хозяину так и положено богатеть, а бедняку натягивать на него сапоги.

Чернец хлопнул кнутом по земле.

— А разве хозяин Хаджиу честный человек? — спросил он, снова щелкнув кнутом.— Не видел я, чтобы большое богатство когда-нибудь честно было нажито. Трехносый ни к чему руки не приложил, лопатой не копнул. Рабы на него работали. Он жрет, а рабы голодные сидят, потому что заработок наш не на справедливости основан, а на эксплуатации. Погляди-ка на Ницэ Немого...

Действительно, весь съежившись, стоял рядом крестьянин, с лицом такого же цвета, как и земля, по которой он ходил, взъерошенный, словно еж, с круглыми испуганными глазами. Прозвали его Немым потому, что, бывало, часами он слова не вымолвит.

— Погляди-ка на Ницэ Немого,— продолжал Чернец.— Чтобы вырастить своих детишек, он стал рабом. Эй, Ницэ, выдалась ли тебе хоть минута радости с тех пор, как ты живешь?

— Нет...— прохрипел Немой глухим, словно из-под земли выходящим голосом, полным глубокого страдания.

Кто-то спросил, насмешливо улыбаясь:

— Даже той весной, когда и сам ты расцвел?

Серая тень молчала, погрузившись в бесконечную муку своей души.

— Это один,— воодушевился Чернец.— А нас много таких, как он. Ницэ вырастил пятерых детей! И всех потерял на войне. От этого его жена помешалась. Ей все мерещатся

погибшие дети, словно пушистые цыплятки. Она все зовет их: «Идите сюда, к маме»,— и прикрывает их руками, как клуша... А брат твой, Гицэ Лунгу! Разве не был он столько лет рабом в Хаджиу, разве не спал там на земле, не зимовал почти нагишом, разве ел когда-нибудь досыта? Ведь он там со смертью чуть не спознался...

— По своей глупости,— злобно пробормотал Гицэ Лунгу.— Мог бы и богатство нажить... А теперь ты поджидаешь, когда мой милый братец-дурачок вернется. Он тоже остер на язык. Вот вы объединитесь вдвоем и организуете свою партию.

— Зачем нам организовывать партию, когда она уже есть? Это партия трудящихся.

— Всему, что ты говоришь, Чернец, научился ты у своего брата-котельщика,— пробубнил мельник.— Ты что ж, хочешь, чтобы государственные дела молотками вершили?

— Конечно,— вызывающе подтвердил Чернец.— Одни молотками до самого неба достучатся, а другие плугами все распашут, до самых райских врат.

— Значит, те, что по тюрьмам сидят, министрами станут?

Голос у Чернеца стал мягче.

— Эй ты, Гицэ, неужели и про это не слыхал? Ведь уже вышли они из тюрем и взяли бразды в свои руки... И мы тоже избавимся от страданий. Взойдет солнце и для тех, у кого оставались только глаза, чтобы плакать...

Гицэ надулся и нахмурился. Потом тяжело вздохнул.

— Я не вмешиваюсь,— сказал он с кривой усмешкой,— я мельник, мое дело — запускать жернова, чтобы молоть вам муку — и пшеничную и кукурузную.

Мотор начал стрелять в черное небо, сквозь завесу мокрого снега, уносимого резкими порывами ветра. Мельница перемалывала зерно, а люди говорили и говорили. Все были взволнованы и обрадованы тем, что сообщил Чернец. Они знали, что советские войска, с которыми побратались и румыны, пробиваются к берлоге тех, кто терзал людей, как голодные волки. Пока немцы господствовали над румынами, купцы безжалостно обирали народ, помещики и фабриканты стали еще беспощаднее. Вот бы спихнуть, как говорил Чернец, жадную свору, а тех, что страдали по тюрьмам за правду, поставить теперь у власти, и тогда воспрянут люди, изнемогавшие от рабского труда на фабриках и на полях.

В укромной ложбинке женщины развели костер из хвороста. Все ожидавшие своей очереди собрались в кружок,

чтобы огонь обласкал хотя бы лицо, потому что в спину все еще хлестал ветер. Возле трепещущих крыльев пламени отогревались и, казалось, снова обретали человеческий облик такие горемыки, как Ана Зевзяка и Ницэ Немой.

А в закрома Гицэ текло больше напастей, чем муки. Когда он кончил молоть и все ушли, прямо на него выскочила из дома Станка. Она визжала, выпучив глаза и так широко разевая рот, что тонкий визг ее едва был слышен. Станка затащила Гицэ в пристройку возле мельницы.

— Ты знаешь, Гицэ, она набросилась на меня, хотела глаза мне выцарапать!

— Кто? Сестра твоя?

— Она! А кто же еще! Чтоб у нее руки отсохли, чтоб ее змей девятиглавый поразил.

Вдруг мельничиха умолкла, с удивлением глядя на мужа: Гицэ не вскочил, даже глаз не выпучил. Он мотал головой, прикрыв уши ладонями, будто испытывал жестокие муки.

— Что с тобой, Гицэ?

— Оставь, не знаешь, что ли? Уж от кого только мне не достается... И вот тут еще... Ну, говори, что случилось?

Станка снова вошла в раж, но Гицэ так жалобно смотрел на нее, что порыв ее ослабел.

— Позавчера перебирала я ее одежу, пока она сидела у своей крестной — чтоб помереть ей поскорее! — и нашла у нее в кожушке письмо.

— И что ж, прочитала его? — попробовал пошутить Гицэ.

— Без тебя обошлась,— окрысилась Станка, задетая насмешкой,— узнала, что она от меня скрывает. Ишь проклятая, ученой стала! Мне-то ведь ничего не говорит. Она все с Аниняской шепчется.

— А зачем говорить тебе? Ведь живете вы как кошка с собакой!

— Живет она в моем доме, Гицэ, словно враг какой. Пригрели мы на груди змею. Есть, верно, в этом письме что-нибудь, думаю, и скорей к жене попа Нае. «Матушка, говорю, хотела бы я знать, что здесь в этом письме. И так, чтобы только я одна знала, а другой никто. Это секрет». Попадья раскрывает письмо, смотрит в него и смеется. «Что такое?» — спрашиваю. «Ничего, Станка. Это письмо от деверя твоего Митри. Пишет, что с той поры, как встретились вы в Сибиу, никак не может забыть эту встречу...» — «Упаси бог, матушка, не мне он это пишет, а сестре моей Настасии...» — «А я-то удивляюсь,— говорит попадья.— Так оно подходя-

щей. Видно, было это тогда, когда искали вы ее по ямам да омутам».— «Правда ваша, матушка, а она-то врала, что только в Бухарест съездила. Прошу вас, матушка, чтоб никто не знал, что написано в этом письме, а то засмеют нас на селе». «Будь спокойна,— говорит попадья,— это семейная тайна; буду молчать как могила».

Ну вот, Гицэ, она так молчала, что вчера вечером наши кумушки уже все знали. Сегодня утром пошла Настасия к Аниняске. А на селе ведь видят, когда она уходит из дому, когда возвращается, и многие поджидали ее у ворот. Не посмотрели ни на ветер, ни на холод, чтобы, как водится, зацепить насмешкой. Она опустила голову и бегом бросилась, вихрем влетела в дом и сразу к своему кожушку. «Где мое письмо?» — визжит. «А ты не меня спрашивай, говорю, и не вопи».— «Где мое письмо? Отдай мне письмо. Украла письмо и всем показала!» Набросилась на меня, хотела глаза выцарапать. Схватила кочергу, ударила меня. Я бежать, она за мной! Вижу, она точно ведьма какая, бросила я ей письмо. Пока она наклонялась поднять его, я — в другую комнату да на засов. «Расшибу топором дверь!» — кричит и ругает меня на чем свет. Потом пошла к своей Аниняске. Вот я и пришла рассказать тебе, какая у меня сестрица.

Станка горько вздохнула. Гицэ ждал, когда она успокоится.

— Вот оно как, Гицэ! Что ж ты ничего не говоришь, Гицэ?

— Что говорить? — устало ответил мельник.— Ведь письмо ты брала.

— А из этого письма, Гицэ, я еще кое-что узнала,— сладко запела Станка.— Свершится вскоре то, о чем я с недавних пор догадываюсь. Моя хохлаточка скоро снесет яичко с глазками и с бровками.

Глава восемнадцатая

КОТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР ВОЙКУ ЧЕРНЕЦ ПРИЕЗЖАЕТ ПО ДЕЛАМ В МАЛУ СУРПАТ

Жил в Бухаресте коммунист-подпольщик, котельный мастер Войку Чернец, брат Стойки. Из Малу Сурпат бедность его выгнала, много пришлось ему пережить, наконец стал он квалифицированным рабочим и с партией породнился. У этого сурового человека густые брови были всегда нахмурены; пошутить он любил, но сам никогда не улыбался.

Когда он был арестован в первый раз, следователь спросил его иронически:

— Знаешь ты ваших философов? Читал ты их?

— А тебе что? Знаю,— поспешно ответил котельщик.— Знаю их, читал.

— Как ты смеешь так отвечать?— обозлился следователь.— Гляди у меня, рассержусь!

— А ты зачем меня оскорбляешь? Тыкаешь мне, хотя овец мы вместе и не пасли.

— Ну-ну, брось свои дерзости, а то будем по-другому разговаривать. Отвечай, Чернец, каких философов ты читал?

— Канта читал.

— Канта? Не слышал. А что говорит этот твой философ Кант?

— Правильно говорит: что все рабы на земле — братья, какой бы нации они ни были.

— Это он тебя научил листовки по ночам расклеивать? Это он их тебе дал? Ты знал, что там написано?

— Во-первых, Кант мне ничего не давал. Во-вторых, никаких листовок я не расклеивал. В-третьих, ночью читать нельзя, потому что темно.

Следователь внес фамилию философа в протокол. Прокурор упомянул Канта в обвинительной речи. Защитники воздержались от обсуждения его доктрины.

В черные годы заключенья Войку Чернец зубами держался за жизнь. Каждое утро он занимался гимнастикой и обтирался холодной водой. Свои познания он обогатил в тюремных университетах. Сидя в карцере Дофтаны за бунт, он целый год так и не ложился на цемент, оберегал от простуды свои легкие. Спал Войку, сидя на корточках в углу и скрестив руки на коленях. Вши ели его до того, что на коже появились язвы. Одиночество терзало ему душу. Но он держался мужественно, верил в коммунизм и вынес все.

Некоторые товарищи недоумевали, что за неизвестного философа назвал Чернец. Ведь, конечно, речь шла не об отшельнике из Кенигсберга.

— Конечно, нет,— отвечал Войку без тени улыбки.— Я говорил только о моем приятеле из Галаца, Филиппе Канте. Летами он был постарше меня, и многому я у него научился. Я и сейчас храню о нем память и иногда хожу навещать его могилу.

Выйдя из тюрьмы под августовским солнцем в 1944 году, он сбрил бороду и помолодел.

«Дядя Войку», как называл его младший брат, крестьянин Стойка Чернец из Малу Сурпат, получил однажды в партийной ячейке письмо от одного из своих молодых учеников, которого считал погибшим в России.

Он очень обрадовался. Смотри-ка, мой Костя Флоря жив!

Это письмо пришло откуда-то с фронта, из Чехословакии. Оно было вручено какому-то товарищу Фаркашу Эндре, и тот довез его до Оради. Из Оради до Брашова его вез другой товарищ — Маркус Фогель. Из Брашова, наконец, его доставил монтер Илие Хончану и вручил адресату.

Костя Флоря писал:

«Дядюшка Войку, да будет тебе известно, что среди всех невзгод, перенесенных нами, обрел я себе деревянную ногу, которой вполне доволен, потому что ею буду стучаться в ворота Берлина».

Много кое-чего было еще там написано о войне и о немцах. Были и такие строчки:

«Есть у меня приятель — крестьянин из Малу Сурпат. Я знаю, что и ты родом оттуда, есть у тебя в Малу брат, не то родной, не то двоюродный, которого товарищ мой, оказывается, знает.

Мой Митря Кокор чего только не натерпелся. Сам знаешь, что приходится переносить несчастному бедняку у нас в деревне: страдания, побои, издевательства. Он грозится, что если вернется здоровым, то сдерет кожу с ихнего барина из Малу Сурпат, чтобы хоть немного на душе полегчало.

Он говорит так, чтобы дать выход своему гневу: очень уж у него и другого горя много. Есть у него еще забота: невеста осталась на попечении брата его, мельника. Так этот мельник забрал себе его землю — родительское наследство, а потом разгорелся у него зуб и на наследство девушки-сиротки, его свояченицы. Мельник с женой притесняют бедную девушку, гонят ее вон.

Я подумал, что, может, выдастся тебе случай побывать в родной деревне. Так ты защити бедную девушку, невесту Митри. Ему, как солдату, приходится на фронте немало терпеть, а теперь нет ему, бедняге, покоя ни днем, ни ночью — за невесту тревожится. А еще подумал я — может, хоть напишешь ты своему брату, пускай разузнает, что там с этой девушкой.

Обращаюсь я к тебе с такими просьбами, потому что Митря Кокор наш парень. Он все видал в Советском Союзе, когда мы с ним вместе были в плену. Мне уже нечего было его

наставлять, он и сам все уразумел. Повторяю, мы должны помочь ему, как настоящему товарищу, который еще покажет себя».

Много было и других хороших слов в письме в поддержку Митри. Мастер Войку пожал плечами. Он был занят сверх головы общественными делами, и в особенности организационными вопросами. Где уж тут отправляться в Малу Сурпат из-за невзгод каких-то юнцов.

Он отложил письмо в сторону. Вскоре пришло другое, в котором ученик справлялся о его здоровье и сообщал, что они с Митрей живы и здоровы. Получалось так, что и этот Митря стал в некотором роде учеником и товарищем мастера.

«Вот чертов Флоря,— подумал мастер Войку.— Знает он меня. Стучится своей деревяшкой не только в ворота немецких крепостей. Прямо в душу мне стучится. Ладно, посмотрим!»

Второе письмо он тоже отложил в сторону. Прошло много недель, пока мастеру Войку удалось дождаться случая и выкроить время для поездки.

В один из февральских дней 1945 года Стойка Чернец открыл калитку у Аниняски и прошел через заснеженный двор, подталкивая перед собой незнакомца в шубе и островерхой шапке. Увидев глаза этого незнакомца, запавшие под мохнатыми бровями, и его гладко выбритое лицо, словно высеченное из камня, женщины, выглядывавшие из окна, оробели и отступили назад.

Настасия запричитала, ломая пальцы:

— Кого это ведет Стойка? Что за беда стряслась? Что случилось?

— Крестница, держи себя в руках,— с укоризной обратилась к ней Уца. Но и у нее тревожно забилось сердце.— Ничего плохого быть не может. Стойка нам друг.

Настасия застонала:

— Господи, только бы не дурные вести, крестная, родненькая! Когда проснулась я утром, у меня левое веко дергалось. Ночью все Митря снился.

— Дурные вести приносит почтальон, жандарм или мельник, ласточка.

— Он во сне все смеялся, крестная.

Беспокойство охватило и Уцу. Смех во сне — горе наяву!

Стойка Чернец и его товарищ отряхнулись на крыльце от снега. Собака, сидевшая на цепи, два раза лениво тявкнула и умолкла.

Уца удивилась:

— Что же это на них собака не брешет?

Настасия зашептала:

— Она было залаяла, а чужой как заговорил с ней, так Гриву и замолчал.

Аниняска поправила на голове платок, взглянула на себя в осколок зеркала, сунула ноги в шерстяных чулках в чоботы и вышла в сени встречать гостей. После первых же слов незнакомца она успокоилась.

— Мир вам и добрые вести.

Настасия прикрыла глаза ладонями и прислонилась затылком к печи. Бледная и подурневшая, она казалась смущенной; талия у нее располнела. Незнакомец окинул ее быстрым взглядом, потом снова обратился к крестной:

— Узнаешь меня, Уца?

— Как будто бы... как будто...— едва прошептала Уца, начиная с улыбкой что-то припоминать.— Ах! ведь ты мастер, брат Стойки. Когда-то ты носил бороду... А теперь словно другой человек...

— Все тот же Войку,— засмеялся мастер.— И все-таки ты права: того, что раньше было, уже нету.

Вздохнув, она почему-то опустила голову.

— Скажи-ка нам, чернобровая,— продолжал мастер веселым тоном,— где мы можем сбросить все это с себя? А потом и поговорим.

Аниняска тут же свалила в кучу на постель, поближе к печке, всю их одежду. Снуя туда и сюда, она слегка подтолкнула локтем Настасию. У девушки еще сильнее затряслись плечи от рыданий...

Мастер остался в сапогах и серой вельветовой куртке. Он повернулся вполоборота к Настасии и, казалось, был немного смущен. Правой рукой он провел по седым, коротко остриженным волосам, левой вытащил из кармана трубку. Набил ее табаком. Достав зажигалку, он щелкнул ею — появился огонек. Девушка искоса, с любопытством смотрела на маленькое чудо в руках неизвестного. Стойка подошел к ней:

— У него новости от Митри...

Она подняла голову и глянула на блестящий снег во дворе. Потом опять закрылась ладонями.

— Чернобровая, скажи девушке, чтоб не стыдилась,— ласково проговорил мастер Войку.

— Слышишь, девонька, как зовет он меня по старой памяти? — развеселилась крестная Уца.— Смешно теперь в мои-то годы.



Девушка продолжала всхлипывать.

Мастер выпустил через нос две струйки дыма и поднял густые и еще черные брови.

Так значит... давние воспоминания одной и юный стыд другой — более важные вопросы, чем падение государств в мировые войны...

— Известия от парня получали? — спросил он Аниняску.

— Да. Два раза он и деньги посылал.

Девушка заплакала:

— Давно уже письма не было.

— А с каких пор?

Настасия снова отвернула голову.

— Да с неделю,— ответила Аниняска.— Теперь на фронте уже никакой опасности нет.

Наступило молчание.

— Принесу чего-нибудь закусить,— поднялась Аниняска.

— Потом, потом, Аниняска,— удержал ее мастер.— Погоди. Я приехал в Малу Сурпат по своим политическим делам. Но мне писал один мой ученик, друг унтер-офицера Кокора, что этого парня кой-что тревожит здесь у вас. И вот когда я приехал сюда, то решил сам посмотреть, что и как. Сначала повидался я с братом моим Стойкой. Он мне кое-что рассказал. Мы вместе побывали на мельнице.

Настасия опустилась на пол и заплакала навзрыд.

— Выгнали меня, в самые крещенские морозы.

Аниняска обняла ее за плечи и стала утешать.

— Мне сказали, что девушка здесь. Я и пошел проведать ее. Но сначала я спросил Лунгу про землю его брата. Он туда-сюда — дескать, за эту землю он с братом рассчитался и даже тот у него в долгу, так что они сочтутся, когда придет Митря, если только придет.

— Слышите, люди добрые,— охнула крестная Уца, наклоняясь над девушкой.

— Когда речь зашла о девушке...

Настасия еще больше съежилась, но, прислушиваясь, перестала всхлипывать.

— Когда речь зашла о девушке...— продолжал мастер...

— Знаю, знаю,— возбужденно заговорила Аниняска,— она, мол, весь дом опозорила, на селе она — притча во языцех, родит незаконного ребенка. А какого такого незаконного? Это — дитя любви чистой. Законнее, лучше этого и быть не может.

— Твоя правда, твоя правда,— успокоил котельщик.— Наш закон защитит ребенка.

— Как он смеет говорить такие слова? — снова вспыхнула крестная Уца.— Чтоб его черти задушили! У-у, урод ненавистный...

Настасия приподнялась и на коленях подползла к незнакомцу. Она протянула к нему руки:

— Господи,— зарыдала она,— уж как меня поносят, как чернят на селе из-за моего ребеночка.

Мастер взял ее за руки и поднял:

— Девица-красавица, новый закон не даст в обиду твоего младенца.

У девицы-красавицы покраснели глаза и стали огромными, словно луковицы.

— Я сказал мельнику, что и смерть брата ему не помогла бы,— сурово продолжал мастер.— У брата есть наследник, который будет защищать свои права.

— Мальчишка будет,— объявила Аниняска, уперев руки в бока.

— Уж лучше девочка,— весело сказал мастер.— Ей воевать не придется. Будет рожать детей. Как я уже говорил, завел я речь с мельником о замужестве девушки, о том и о сем, припугнул его. Он обещал Настасии два погона[1] земли из тех, что ей принадлежат.

— И на том спасибо,— вздохнула Аниняска.

Настасия воскликнула:

— Хоть на четвереньках, да обработаем ее!

Мастер, с каменным лицом, не сводил с нее глаз, как бы молча напоминая, чем будет она занята летом, и она снова застыдилась, но теперь не так сильно.

В разговор вмешался Стойка Чернец:

— Придет лето, пройдет время, Войку. Я знаю, сколько горечи накопилось у Митри. Пусть только поскорей приезжает. Я думаю, не надо ждать, пока злоба застареет.

— А у некоторых,— улыбнулся мастер,— злоба, как вино, становится крепче со временем. Что ты смеешься, не веришь?

Стойка не стал спорить.

— Я не смеюсь; может, ты и прав. Все, что ты сказал и сделал, это хорошо. Только не вздумай поверить обещанию Гицэ Лунгу.

Котельщик нахмурился:

— Ты думаешь, он меня обманывает?

— Думаю, что обманывает. Пойдет, договорится с барином и сделает по-другому.

---

[1] Старая мера поверхности, равная 5012 м^2.

Мастер, казалось, взвешивал про себя эти слова.

— Возможно. Ну что ж, тогда, Стойка, дадим ему испить до конца вино нашей ненависти.

В комнате вдруг как бы потемнело. Всем стало страшно от этих слов. В сухом и ровном голосе мастера слышалось словно эхо, идущее из глубины минувших страданий.

— Несправедливость была им мать родная, — так справедливость будет чума злая,— проговорил он, выбивая трубку о загнетку и вновь набивая ее.— Что ты смотришь, чего ждешь? — улыбнулся он Настасии и вытащил зажигалку. Он не зажег ее и сунул обратно. Девушка надула губки.— Я предупредил в примэрии товарищей из ячейки,— продолжал Войку,— чтобы были они начеку. Собираются упыри, обдумывают, как бы помешать новым порядкам. Пусть разгонят их: рассыпься, нечистая сила,— заря занимается!

— Не послушаются они,— снова возразил Стойка.

Губы мастера сжались, глаза потемнели.

— Может быть; но небось голову потеряют. Ну, хватит об этом. Я приехал, посмотрел и оставлю Стойку за всем присматривать. Если будет нужда — знаешь, где меня разыскать.

— Ну, теперь-то можно вас угостить? — вновь встрепенулась Аниняска.— Я поросеночка заколола. И вина припасла.

— Поостерегись, чернобровая, а то все съедим и выпьем, что в доме есть.

Глава девятнадцатая

РОЖДЕНИЕ НОВОГО КАНДИДАТА В ГРАЖДАНЕ МИРА

К весне 1945 года жители Малу Сурпат и их соседи испытали такие невзгоды, каких уже давно не бывало. Немцы еще прошлой весной все опустошили на своем пути, а теперь еще плохо уродилась озимая пшеница, да и засуха совсем замучила.

Из-за отсутствия влаги хлеб во многих местах взошел словно волосы на облысевшей голове: здесь колосок, там колосок. Откуда-то взялись тысячи крыс, которые из борозд тащили семена в свои подземные склады. Эти зверьки тоже чуяли угрозу голода.

В села и на хутора проникли и более опасные, двуногие крысы. Никому не ведомые люди, проходимцы, одни — в поисках кукурузной муки, другие — торгуя иконками и каки-

ми-то книжицами, проникали в крестьянские дома и разносили слухи, что вот, дескать, наступил для христиан конец жизни, пришел смертный час, с тех пор как поднялись большевики, зарезали своего царя и заколотили гвоздями двери церквей. Душат они, мол, помещиков, крадут детей и отсылают их в пустыню; преследуют христиан, заставляют их умирать от голода, есть траву вместе со скотом; рушат они устои старого мира; куда только ни проникнут, на все ставят печать дьявола. И у нас, мол, они все переделают, и потому господь бог отвернулся от людей. Читайте, мол, про видение божьей матери и чудеса святого Сысоя и кайтесь в грехах своих.

Те из крестьян, кто был поумнее и не становился на колени перед попом Нае, не делал ему подношений,— те смеялись над всем этим. Это вранье, говорили они, помещичья партия распускает. Много еще в стране осталось людей из этой проклятой шайки, которые, как помнят бедняки, столько лет жрали и жирели на нашей крови, а теперь перепугались, что грянет и над ними великий гром справедливости и полетят они в тартарары — и освободится страна от их черной злобы.

Стойка Чернец разъяснял, к чему стремится коммунистическая партия: «Уничтожить эксплуатацию человека человеком!» Эта партия занимала все большее место в правительстве, оттесняла все дальше тех, кто разжирел вчера. Партия разделит землю, говорил Стойка, издаст справедливые законы. Теперь, говорил он, до нас доходит правда о жизни в Советском Союзе. Оттуда прибывают наши люди, повидавшие своими собственными глазами новый порядок там, на востоке. Все мироеды, все, кто наживался на несправедливости, там уничтожены; только для трудящихся, которые держат в руках серп и молот, светит там солнце. Те, кто были рабами, стали там хозяевами. Видно сразу, что нынешние торговцы иконками и всякие бродячие люди — это наемные слуги, которые стараются, чтобы остался наш народ в болоте обмана и во сне рабства! Если бы в Советском Союзе все было так, как они говорят, не поднялись бы с такой силой его народы, не били бы так немцев, как они бьют, не вышвырнули бы их так, как они вышвырнули, и не гнали бы врагов до самой берлоги. Его войска знают, за что бьются; войска рабочих и землепашцев — непобедимые войска, ведь они защищают свое счастье!

Однажды в воскресенье встретились на краю села помещик Кристя и Гицэ Лунгу. Первый, восседая на беговых дрожках, немедленно остановил свою гнедую лошадь с разме-

тавшейся гривой и длинным хвостом. В лучах утреннего солнца поле словно дымилось и искрилось до самого горизонта. В зарослях акации на развилке проселочных дорог перекликались вяхири.

— Я тебя, Лунгу, с самой пасхи не видал,— укоризненно сказал помещик.— Нам с тобой поговорить надо.

— Я все собирался зайти,— ответил мельник,— да я ведь один, а дел навалилось выше головы. Вот только в церковь и собрался.

— А у меня и на это времени нет,— криво усмехнулся Кристя.— Поклоны бью Воловьему колодцу. После дождя на прошлой неделе хлеба заметно выправились.

Мельник перекрестился:

— Может, и на нас обратит, наконец, господь свою милость.

По воскресеньям до обеда у Гицэ Лунгу бывали приступы благочестия. Это началось недавно, с той поры как стал советоваться он с попом Нае о делах мирских и житейских.

— Одолели нас было эти крысы пакостные,— продолжал он,— да избавил нас господь. Наслал на них мор в конце зимы, так что тысячами дохли. А те, что остались, ушли в долину через Лису. Говорят, когда-то тоже так было. Унесет их Дунай и утопит. Я, барин, сам собирался зайти в Хаджиу, доложить вам про кой-какие дела, которые мне не нравятся. После той напасти разразилась над Малу Сурпат другая.

— Политика... знаю,— подтвердил Кристя.— Мне говорили в примэрии. Цыгане, так те, когда голодны, поют. А эти собираются вместе и дела государственные решают.

— Они думают, им землю дадут. Об этом все трезвонят с тех пор, как у нас новое правительство. Заберут, дескать, ее у богатых и раздадут беднякам. Я, значит, трудился, мучился всю жизнь ради той малости, что есть у меня, и вдруг придут всякие босяки, лентяи и дураки и сожрут все, как на поминках. Там у них есть подстрекатели. Я еще с прошлого года знаю одного такого, Стойку Чернеца, у которого брат котельщик. Этот Войку — коммунист, он-то нашего Стойку и подучивает. На дому у Стойки собирается всякий сброд, и называется это партией. Если сказать вам, барин, кто только там собирается, так вы не поверите. Я бы сказал словцо, да сегодня воскресный день и в церковь иду я, не к месту оно.

— Любопытно бы знать,— заинтересовался господин Кристя.

— Так вот, ходят Григоре Мындря; Ана, прозванная Зевзякой[1],— поумнела, вишь, теперь; Лае Бедняк.

— Этот Лае был у меня в работниках, при волах состоял. Бросил работу и ушел. Я его под суд отдам. Жандармов на него напущу. Еще кто?

— Есть еще такой Аурикэ Бешеный, он с войны вернулся на деревяшке. И другой инвалид, без руки, Тудор Гырля!

— Недостает еще слепого,— засмеялся помещик.

— И такой есть, Иримия Васкан, кривой на правый глаз; в пехоте сержантом был. Пришел он как-то муку молоть. А муки-то с полмешка, не больше. Так и сверкает на меня здоровым глазом. Думал я его улестить: «Иримия, говорю, обойдусь я, пожалуй, без гарнцевого сбора».— «Нет, бери, это право мельника!» — говорит. «Хорошо, Иримия»,— говорю. Право слово, барин, будто ожег он меня своим глазом. Не хотел бы я с ним встретиться ночью, когда один домой возвращаюсь. Есть еще у них такой Ницэ Немой. И другие еще. Собираются, замышляют что-то.

— И этого Ницэ Немого под суд отдам,— нахмурился Кристя.— И его упеку.

Гицэ Лунгу поскреб затылок.

— Как бы это вам, барин, сказать? По мне, так оставить бы их всех с миром. Дураки дураками и останутся. Нашло теперь дурное поветрие, только как нашло, так и пройдет. Тогда их и согнете в бараний рог. Есть и у меня кое с кем счеты, да молчу. Вот старшина Данциш слишком смирен. Видно, боится. По воскресеньям то из города нашего, то из самого Бухареста приезжают наблюдатели.

— А это что такое?

— Рабочие приезжают, ихняя партия посылает рабочих плуги и другие орудия чинить, а больше разные разности рассказывать. Вот наши и вбили себе в башку, что перейдет к ним земля от тех, кто ею раньше владел. По правде сказать, побаиваюсь я, барин. Негоже, говорю, с ними силой-то. Ох-хо-хо! Раньше лучше было. От напастей да забот исхудал я совсем. Взвесился я на мельничных весах — девяти килограммов как не бывало.

— Всех из ружья перестреляю! — исступленно крикнул Трехносый. И уже спокойнее добавил: — Кое про кого мне говорил Попеску-староста. Но он не так уж боится, как, видимо, ты Лунгу. Про новые наделы земли идет слух, но мы,

---

[1] Дура *(рум.)*.

говорит он, повременим, пока опять не наступят измененья, ведь старые партии еще крепко держатся. И это правда, так и знай.

— Староста, барин, тоже вертится по ветру. Попеску нечего терять. Да вот еще, знаете, какое дело: бабы заволновались. Выйдут на берег Лисы белить холсты — и ну судачить о политике да ругаться. С ними хуже всего: они быстрее с ума сходят. Сколько я перестрадал из-за свояченицы своей Настасии. С этой тоже, я вам скажу, морока. Пообещал ей два погона из ее, как говорится, наследства. Пока еще она не замужем, но выйдет, коли только вернется полоумный братец мой Митря.

— А еще не вернулся?

— Нет. Все на войне. А Настасия эта, даром что не венчана, скоро родит, ославила нас на все село. Решил отдать ей землю, чтобы отвязалась. А теперь жалко. Расселась она на земле, что подарил я. Чернец ей помог и вспахать и посеять. И избенку ей починил Чернец. Живет с ней Аниняска, приглядывает, ведь у Настасии брюхо кверху поперло. Работает как сумасшедшая и уродкой такой стала, что и не узнать. Все Митрю своего ждет. Смех один. Я когда иду в поле, издалека ее обхожу. И вот эта Настасия тоже на партию надеется. Даже жизнь мне опостылела.

— Погоди умирать, Лунгу,— мрачно ответил помещик Кристя.— Поживем — увидим.

— Еще и другое есть, барин.

— Не хочу больше ничего слушать, Гицэ. Надоело. Приходи ко мне, поговорим, я скажу тебе, что надо делать. Прежде всего думаю я подать в суд на этого Чернеца за нарушение закона, чтобы приструнить его.

— Не приструните, барин, крепко он держится.

— Не верю. Ведь я тебе говорил, есть и другие партии, с которыми до сих пор мы ладили. Мы их снова на ноги поставим. Я был заодно с либералами, а они сейчас тоже в правительстве. Что они там делают? Не лясы ведь точат. Есть у них свои интересы. А ты держись национал-царанистов; и у этой партии есть свои люди у власти.

— Правда, барин, нельзя сидеть сложа руки, съедят нас голодранцы. Я приду к вам, как вы приказываете. Прямо и не знаю, что мне делать с моим братом. И про него идут разные слухи. Да простит господь меня, грешного, но уже лучше бы, кажется, другие вести о нем получить, спокойнее бы мне стало.

— А ты боишься его? Предоставь его мне!

— Да как вам, барин, сказать? Ну, значит, я приду к вам.

Они расстались. Барин поехал на своих легковых дрожках к Дрофам, а мельник зашагал к селу, но оба еще долго что-то бормотали себе под нос.

В том месте, где дорога слегка поднимается по берегу Лисы, Гицэ Лунгу остановился и оглядел село, теснящееся вокруг церкви. За рекой, по холмам, что в западной стороне, тянулись поля мужиков.

Вот, говорят, нужно построить мост, как у людей. А то кое-как сбиты гнилушки — того и гляди опять отрежет от города в большой разлив. Да еще, не дай бог, утонет кто-нибудь, как уже случалось.

На селе все толкуют о каменном да о бетонном мосте. Но примэрия бедна — на что строить-то? Обещания префектов перед выборами так и оставались обещаниям, легковесными, как пух одуванчиков. А на себя расходы принять люди не хотят. Пусть, мол, богатые раскошеливаются! Богатые-то согласны внести свою долю, но сначала надо посмотреть, что другие соберут.

«Что соберешь с этих голодранцев? — засмеялся про себя Гицэ Лунгу.— Знать, останемся при этих гнилушках, пока кто-нибудь не погибнет... Ишь ты,— вспомнил он, как поп говорил ему о пожертвовании и о поминках по родителям,— на седьмом году велел устроить поминки, на девятом — снова, теперь говорит, что и на двенадцатом полагается. Поп Нае себя не забывает, у него все в книгу записано. И пришло же мне в голову в том самом году, когда я на покойников расходуюсь, еще отдать два погона земли этой бесстыжей девчонке, которая опозорила нас. Да ведь и здесь тоже политика: надо было людям глотку заткнуть. Эх-ма! Черт подери! Где тут заткнешь, когда эта Уца Аниняска выставила девчонку всем напоказ».

«Видишь, что ты наделал, Гицэ?» — звенели у него в ушах упреки жены.

Мельник стукнул палкой о землю. Вот ведь Станка какая! Заставила-таки его выругаться, когда он отправился за святой просфорой в церковь. Чтоб подохнуть ей, сороке!

Много было дел и хлопот у мельника, а теперь вот еще приходится ему ломать себе голову, как бы разделаться хотя бы осенью со всеми неприятностями, связанными с землей.

Нахмуренный шел он в церковь, слегка шаркая ботинками. Он был в новой одежде из белого грубого сукна. Женщины,

переходившие по мосту через Лису и направлявшиеся к своей «часовенке», заметили его еще издалека и мысленно пожелали ему как врагу всякой хвори.

Их «часовенка» находилась в том месте, где начиналась полоска Настасии, около ключа, который бил из-под северного склона холма, в тени старых ясеней. На этих холмах, источенных теперь дождевыми потоками, повсюду рос в давние времена лес. От всего этого зеленого острова уединения остались только ясени — кусочек леса на суглинистой земле, называвшийся Фрэсинет[1], который, впрочем, люди тоже не оставили в покое. Под старыми деревьями, куда никто не мог проникнуть, кое-где рос колючий кустарник. Родители Настасии поставили на поляне около своей полоски летнюю хижину. Каждую весну ее нужно было чинить, потому что осенью и зимой никто в ней не жил и только редкие путники навещали ее. В начале весны Стойка Чернец, помогая женщинам, потрудился вместе с ними, пол устлал новой листвой и покрыл камышом это ненадежное убежище.

К Аниняске и Настасии прилепилась Ана Зевзяка и Вета, сестра Кицы. Они вышли замуж за двух братьев. Ана — за Тудосе Лайу, того, что разорвали волки, прозванного Зевзеку и оставившего вдове в наследство одно только прозвище, а Вета — за Раду Лайу, который не вернулся с войны в 1917 году, так и пропав без вести. У них тоже было по клочку земли рядом с Настасией, полученному ими за мужей на детишек. Теперь дети стали уже взрослыми мужчинами и тоже ушли на войну, может быть, для того, чтобы тоже оставить после себя только имя да память, что и они когда-то жили и страдали в Малу Сурпат.

Ана и Вета, по просьбе Уцы, приютились тоже в хижине, чтобы находиться поблизости, если понадобится какая-либо помощь. Ведь такова жизнь: одни умирают, другие рождаются, и вот эта девочка, Настасия, ждет своего часа. Когда пололи кукурузу и грядки с овощами у рощи, крестница и крестная жили по большей части в хижине. В плохую погоду или на праздники они приходили в село. До Малу Сурпат было не больше двух километров. Можно было сбегать домой и в течение дня. Но им больше нравилось быть среди зелени и в тишине. Недаром это место и называли они «часовенкой».

В ручье отражались высокие вершины ясеней. Среди кустарника щебетали всякие птички. Тут были и иволги и

---

[1] Ясеневый лес *(рум.)*.

дрозды. Одно время жила кукушка со своим дружком, потом они улетели, пристроив свои яйца по чужим гнездам. Вета и Ана рассказывали, что прошлой весной было два соловья. Теперь остался только один. Несмотря на усталость после работы, они слушали его иногда по ночам, при лунном свете. Настасия устраивалась в тени, чтобы не видно было, как на глазах у нее блестят слезы. Но все равно вздохи ее были слышны.

Совсем захирела крестница Настасия, только глаза остались красивыми.

Ослабла от работы, от забот, от тоски.

Когда в обед все усаживались под ясенями и разводили под котелком огонь, старухи бойко толковали обо всем. Настасия сидела молча. Она перечитывала по себя, как молитвы, все письма, полученные от Митри. Их было одиннадцать. Она ждала двенадцатого.

«Дорогая Настасия, будь умницей, жди меня терпеливо. Я купил тебе здесь, в Трансильвании, сапожки, кожушок и расшитую юбку, чтобы ты надела на свадьбу».

Все же срок подошел неожиданно, в среду, в первую неделю июня. Новый кандидат в граждане был настолько нетерпелив, что свалил мать на земляной пол и пронзил ей тело страшными болями. Не было уж ни времени, ни возможности отправить бедную девочку в село. Крестная Уца послала Ану домой, чтобы она единым духом слетала за Софией Стойкой, сведущей в таких делах.

— Принеси и кирпич,— прибавила заботливая Аниняска.— Боялась я, что внезапно это наступит, и все припасла в хижине, только кирпич вот забыла. Большой кирпич принеси.

Через некоторое время у Настасии отлегло, и она даже засмеялась, для какой такой постройки понадобился кирпич. Пока она говорила, снова начались схватки. Оставили и снова схватили, как клещами, и так было, пока не приехала в телеге бабка София вместе с Чернецом, погонявшим что есть мочи.

Кирпича не нашли. Где тут найдешь кирпич в такой спешке?

Аниняска запричитала, схватившись за голову. Насколько помнят бабки, таков был обычай в Малу Сурпат — женщине, страдающей от предродовых схваток, подкладывать под поясницу кирпич. А для чего, никто над этим не задумывался. Может быть, для того, чтобы опираться роженице в момент разрешения от бремени.

— Тут в хижине есть старое муравьиное гнездо, оно как каменное,— посоветовала Вета,— положим на него бедную Настасию.

Настасия стонала жалобно и протяжно, как под ножом. Вокруг нее хлопотали четыре женщины. Кто с подсолнечным маслом, кто с ножницами и шелковинкой, кто с ковшом воды. Одна держала больную под мышки и успокаивала ее.

Нужно бы и Митре быть при этом — таков был другой обычай: виновник всех этих страданий должен быть в такую минуту рядом, чтобы страдающая женщина могла бить его кулаками, царапать, таскать за волосы.

— Тот, из-за кого муки все, сам теперь далеко,— пробормотала Ана Зевзяка.— А был бы он здесь, легче бы разрешилась, бедняжка.

Стойка привязал лошадей под ясенями и хмуро ждал у огня. Ему не разрешалось принять участие в этом таинстве. Погода была тихая, словно нарочно ради такой святой минуты. В гнездах ворковали горлицы и насмешливо пересвистывались иволги.

— Эти загодя вещают, как ребеночка-то назовем,— сказала Вета, самая старшая из всех присутствующих.

— Как будто человек кончается,— прошептал, прислушиваясь, Стойка Чернец.— Ведь говорил мне брат мой, мастер Война, чтобы вызвать доктора, приготовить все как теперь полагается для облегчения страданий. Смеются старухи, дескать, они лучше знают. Только Адам и прародительница Ева, мол, не рождены были в муках. Сказки!

К вечеру крики в хижине утихли. Во Фрэсинете наступила тишина. Послышалось, как где-то долбит дятел. К населению в Малу Сурпат прибавился мальчик. У него были черные глаза, похожие на отцовские. Он толкнул мать ножками и заорал на бабку, когда она перерезала пуповину.

Глава двадцатая

ПИСЬМА И ВЕСТИ ОТ МИЛОГО

Жил в Малу Сурпат старый музыкант, которого звали Веселин Скрипкарул, по прозвищу Удача.

— А была ли она у тебя — удача? — спросил его как-то на сходке Стойка Чернец — они были приятели.

— Не бывала,— ответил музыкант, горько усмехнувшись.

Его удачу черт на хвосте унес.

— Так уж мне написано,— добавил он,— не на роду, а у Кристи в Хаджиу, в долговых книгах. Когда-то дал он мне сто двадцать лей. Шли годы, рос и долг. Кое-когда пригласит меня играть на скрипке госпожа Дидина, а долг он все не сбавляет. Работаешь на него летом, играешь осенью — и никак не расплатишься.

— Отберет он у тебя скрипку, Веселин.

— Этого никак нельзя: без скрипки я пропаду. Скрипка мне дороже пары волов.

— Эх, брат Веселин, ведь дело не в скрипке, не в деревянной этой коробке, а в том даре, который душа твоя хранит.

В то лето после дождей хлеба́ пошли хорошо. Кристя известил через примэрию, чтобы должники шли вязать снопы и молотить. Люди собирались туго, поглядывали исподлобья. Староста был в нерешительности. Старшину Данциша слишком часто вызывали в роту. В решающий день вязки снопов, через неделю после праздника святых апостолов Петра и Павла, помещик приказал «этому — Удаче» прийти и играть крестьянам на скрипке, чтобы те глядели повеселей.

Скрипач мог и петь хорошо. Сначала он спел старую песенку, которая когда-то пользовалась большим успехом и нравилась Трехносому:

Когда выходят девушки
Холсты белить на реченьку,
В траве их ножки белые
Плывут словно лебедушки.

Но не стало веселей ни мужчинам, ни тем более женщинам.

Э-хе-хе! Были когда-то белыми, как лебеди, ноги у красавиц из Малу Сурпат, когда баре сеяли меньше пшеницы и не сгоняли женщин на работу. Жены хлопотали возле домов по хозяйству, вся тяжелая работа ложилась на мужчин: барщина, вывозка леса, починка дорог, извоз и другие повинности...

Хозяйки зимой ткали холсты, а летом белили их.

А посмотри-ка теперь на них! Спалены они июльским зноем, постарели до времени их лица; руки и ноги — не белее валежника, заскорузли и потрескались; черными стали лебеди, почернела грудь, почернели губы. Было отчего загрустить женщинам от песни Веселина. Мужчины же ругали мироеда за то, что отобрал он у них одну из немногих радостей жизни.

— Эй, дедушка Веселин, помолчи лучше! — закричали вскоре некоторые из работников.— А то от грусти-тоски подохнуть можно.

Трехносый заметил, что Веселин положил скрипку на сноп:

— Не сиди, цыган, сложа руки, а то в морду получишь. Здесь ты не у себя в хате, а на барской работе. Я плачу тебе; пошевеливай-ка смычком да языком!

Музыкант робко проблеял несколько танго, завезенных из города. Но когда Кристя повернулся и пошел в имение, Веселин повалился на землю и затряс головой, скрежеща зубами.

Про это дело рассказывал как-то Стойка Чернец в доме у Уцы Аниняски. Он привел с собой жену; они были кумовьями Настасии и любовались крепким малышом, который одолевал свою хрупкую мать.

— Мало ему молока, вот он толкается ногами,— жаловалась Настасия.— Будь умником, Тасе, спи!

Тасе не хотел спать, он таращил глазенки, словно хотел запечатлеть всех: и крестных, и Уцу, и бабушку Вету, и Ану, вдову Зевзеку.

Но как только Чернец снова повел свой рассказ размеренным голосом, ребенок тут же заснул.

— Как закончили вязку снопов, отправился, значит, Веселин получать с помещика обещанную плату.

«Какую еще плату? — говорит Кристя.— Разве ты у меня не в долгу?»

«Тогда, барин, сбавьте мой долг на четыреста лей».

«А ты мне, что ли, играл? Пусть тебе мужики заплатят. Я с них удержу, сколько на каждого приходится, и отдам тебе. Приходи в следующее воскресенье».

Приходит музыкант в следующее воскресенье.

«Эх, напрасно ты пришел, Веселин, не рассчитался я еще с людьми, черт их возьми».

«Я бы и сам, барин, с ними столковаться мог, мы же свои. Нет, лучше вы мне долг сбавьте, ведь вы, а не они играть приказывали».

«Погоди, я посмотрю, подумаю,— отвечает Кристя.— Постой тут немножко, пока я кое-что обговорю с Гицэ Лунгу».

Веселин стоит, дожидается. Слух у него как у музыканта тонкий, вот он и услышал, что Трехносый договорился с либералами из Бухареста поставить Гицэ Лунгу помощником старосты в Малу Сурпат. Его бы и старостой поставили, да он

неграмотный. Так вот, старостой останется Попеску, а Гицэ Лунгу как помощник будет исполнять все приказания помещика. Трехносый видит, что народ начал роптать и огрызаться, он и выталкивает вперед Гицэ: пусть с ним ругаются, бранятся, пусть его хватают за грудки.

Тут Кристя поворачивается к музыканту.

«Эй, цыган, ты еще не ушел? Чего ты ждешь? Я сказал помощнику старосты Гицэ, чтобы с тех, кто вязал снопы и кому ты играл, собрал он сколько они тебе должны».

«А долг-то спишете?»

«А это другой вопрос!»

Через неделю стало известно, что и мужикам записали в долговую книгу плату за музыку, и у Веселина вырос долг, потому что в те дни он, мол, играл, а не работал.

— Чтоб его Илья-пророк громом поразил, чтоб его холера взяла! — посылала проклятия Вета.— Все так и есть. Ведь и мы работали в Дрофах, и нам записали долг за музыку, и мне, и Ане, будто нам до смерти эта музыка нужна была! И так в чем душа держалась от жарищи да пылищи. Записал нам в счет по четыре леи. Коли на то пошло — Веселин играл, Веселину и деньги отдадим. Так нет, Трехносый их в кассе удержал, подавиться бы ему ими! Я не удивлюсь, если теперь еще и Гицэ Лунгу потребует себе по четыре леи, а не будет денег, по корзине кукурузы.

Аниняска всплеснула руками:

— Да мыслимое ли это дело?

— От такого, как он, всего можно ждать. С богатых требовать он не осмеливается, а дерет с бедняков и вдов. Такие-то, как Лунгу да Трехносый, еще почище разбойников с большой дороги будут.

— Я схожу к Гицэ,— возмутившись, сказал Стойка Чернец,— и скажу ему твердо, чтобы не шел против народа, а то худо ему будет. Стакнулся с мироедом, задерживает раздел земли, объявленный по закону, все созывает да распускает комиссии. Кое-кому в Малу Сурпат замазал глаза десятком погонов. Нищие, кричит, подождут. Раздулся от важности и от злости — вот-вот лопнет!

Вета сделала большие глаза:

— Говорила мне сестра моя Кица,— таинственно зашептала она,— что с четверга на пятницу снился ей сон, а в этом сне будто несем мы под дождем Гицэ Лунгу на кладбище и причитаем мы с нею по покойнику и смеемся.

Крестная София торопливо трижды перекрестила ребенка.

Ана спросила:

— А Кица не говорила, меня там не было?

— Была и ты, тоже причитала.

Ана Зевзяка развеселилась.

На дворе залаяла цепная собака, потом успокоилась. Послышались шаги и голоса. Настасия встала, осторожно держа в руках ребенка, и ушла в соседнюю комнату. Этим вечером обещался прийти к Уце ее брат, Маноле Рошиору, с двумя недавно демобилизованными крестьянами. Эти двое только сегодня приехали и привезли весточку от Кокора: письмо за пятью печатями. Они везли его вдвоем: если с одним что случится, другой взял бы его и передал в руки либо Настасии, либо Аниняске. Такие письма приходили и раньше, их тоже привозили демобилизованные. Настасия жаловалась — мол, только «мой» не приезжает. Теперь она стояла у приоткрытой двери, держа Тасе на руках, и сердце ее колотилось. Руки у нее были заняты, и она не могла вытереть хлынувшие слезы.

В большой комнате, где сидели собравшиеся, послышались шаги и громкие голоса. Но вдруг голоса утихли. Вместе с братом Уцы вошли Григоре Алиор и Симион Пескару.

— Принесли письмо? — спросила крестная Уца, указывая глазами на дверь в соседнюю комнату.

— Принес,— ответил Алиор.

— Добрые вести?

— Добрые.

После этого обмена словами, Настасия ничего больше не могла расслышать и нетерпеливо топталась на месте, ожидая драгоценного подарка.

— Митря в госпитале,— шептал между тем Алиор Аниняске.— Он и этой весною тоже там побывал, только не уведомлял вас, чтобы не пугать. Его ранило в левое бедро осколками от снаряда. Пятнадцать дней пролежал, пока доктора не выходили. Они приказывали еще лежать, да он не захотел и попросился немедленно на фронт. Не терпелось ему, уж больно он горяч... А недавно у него опять начались боли на месте операции, внутри нагноение сделалось. Врачи снова взяли его в госпиталь и объявили, что не выпустят, пока совсем не вылечат. Нашли у него еще два осколка вроде иголок. Мы его видели перед отъездом. Теперь все хорошо. Как встанет, так одним духом домой примчится. Он обо всем говорит в этом письме, что мы привезли.

— Я очень рада,— ответила крестная Уца громким голосом, так, чтобы слышно было в соседней комнате.— Прошу, подождите минутку, пока я принесу цуйку, хлеба и сала.

Аниняска, словно ветром ее подхватило, бросилась к крестнице, держа в руке письмо за пятью печатями.

— Добрые вести, ласточка.

Она снова вернулась в комнату.

Настасия с опаской сорвала печати. Прочтя первые строки, она побледнела, на глаза ее опять набежали слезы, но потом она мало-помалу пришла в себя.

Страх прошел, и сердце успокоилось. Митря заверял ее, что в скором времени приедет. Как-нибудь вечером или утром он неожиданно появится на пороге. А пока хочет знать, как поживает ребенок.

Она закрыла глаза и как живого увидела прямо перед собой Митрю; она кладет ему в руки ребенка. Это был ее самый драгоценный дар.

Некоторое время она стояла задумавшись, вся просветленная от этого видения, потом поспешно вытерла слезы и присела к столику, чтобы ответить ему.

В те времена в Малу Сурпат немногие из молодежи, кто знал грамоте, привыкли употреблять в любовных или дружеских письмах особые выражения в стихах. Все их знали, помнили наизусть:

«Пишу дрожащею рукою тебе с любовью и тоскою...» или

«Пишу с любовью, с нетерпеньем, тебе, мой друг на утешенье...»

«Тоска застлала мне глаза, на строчки капает слеза».

Эти и им подобные стихи вытеснили старые известные клише, преданные забвению:

«Во первых строках сего письмеца желаю...»

Так начинал когда-то и Митря свое первое послание. Но с тех пор прошло много времени, и все на этом свете переменилось.

Все же оставались еще такие — и Настасия в том числе,— кто заимствовал для своих писем стихи из книг или, чаще всего, из неписаной народной поэзии.

Поэтому возлюбленная Митри, находившегося где-то далеко, готовя послание, полное любви и укоров, не ломала себе долго голову. Ее нисколько не интересовало то, о чем говорилось в соседней комнате: ни недовольство бедняков, ни злодеяния Трехносого, ни хитрости Гицэ Лунгу, ни накипавшее возмущение. Она писала, мгновенно погрузившись в вечность, в которой было всего два существа: она и Митря.

«Митря, милый мой, в разлуке не пиши ты мне о скуке, все через чужие руки. Совсем ты лучше не пиши, а сам скорее поспеши. Я очень горевала, Митря, узнав, как ты мучился в госпитале, а теперь рада получить от тебя весточку о том, что скоро вернешься домой. Тасе — молодец и растет прямо на глазах. В тоске неугомонной смотрю на дуб зеленый...»

Обо многом еще написала Настасия своему мужу, воображая, что он сидит рядом, а она нашептывает ему.

Глава двадцать первая

ТОВАРИЩ МИТРЯ НАВОДИТ ПОРЯДОК В ДРОФАХ

В ближайшие недели по селу Малу Сурпат распространился слух, что Митря Кокор где-то объявился, но что ему приходится худо. Кое-кто пытался скрыть это,— а кто именно, это уж известно. Да что скрывать, когда все уже знают? От Кокора пришло, мол, письмо: он в госпитале, болен, его оперировали, один бог знает, вернется ли... У него, мол, врачи нашли гангрену, то есть мясо у него загнило. Гангрена ноги. Об этом некоторые слышали от самого Гицэ Лунгу, он рассказывал в примэрии.

— Что я могу сделать! — говорил Гицэ.— Может случиться, от него только имя одно останется. Что и говорить, болит у меня сердце из-за всего этого. Не слушался меня, вот теперь и расплачивается.

Аврам Сырбу спросил, пишет ли Митря брату.

— Ничего не пишет,— огорченно ответил помощник старосты.— Вот и вся его благодарность за то, что я его добру учил,— даже не ответил мне ничего. Вот лишь записочку кто-то привез этой злосчастной моей золовке. Уж лучше бы ей помереть, чем Митре. По крайней мере не рожала бы обреченного на бедность ребенка, не выставляла бы на посмешище и меня и свою сестру. Так-то теперь ее господь бог наказывает.

Что тут скажешь? Мы все-таки от одной матери. Сколько ни причинял он мне зла, а съездил бы я повидаться с ним хоть разок, да не могу. Далеко он, где-то в госпитале, в Турде, а на меня в селе навалилось столько дел, что и на час отлучиться невозможно. На меня начальство всю ответственность возложило, без меня ничто не делается. Да и то сказать — может, пока я доеду, бедного парня и в живых не будет. От этой болезни, что гангреной зовется, никто еще не спасался.

Молись за него хоть сам епископ крайовский — и то не поможет!

С тех пор как боярин Кристя побывал в Бухаресте и сговорился с высокопоставленными воронами из либеральной партии поставить во главе села своего человека, Гицэ вырос на целый вершок. Когда же пришла бумага о его назначении, он еще поднялся на целую четверть. Был бы он грамотен, мог бы и старостой стать. Но помещик ему сказал, что это дела не меняет. Его милость приказала Попеску не вмешиваться в дела и слушаться Гицэ как доверенного лица. Не надо торопиться со списками безземельных и местными комиссиями. Пришло время власть укрепить. С некоторых пор всякие бродяги нос задирают, совсем обнаглели, так и хочется стукнуть их чем-нибудь по башке. Пришли указания и старшине Данцишу связаться с помещиком и с его новым помощником, чтобы укрепить жандармерию, быть в курсе всех дел, пресекать слухи. Кто думает, мол, что порядки могут измениться, тот ошибается. Правда, из государственных соображений король допустил в правительство людей, только что выпущенных из тюрьмы,— тех, что называются «прогрессистами».Они и пытаются всякие пакости делать, ведь они большевики и, дай им только волю, все разрушат. Однако, слава богу, страна еще не у них в руках. Те, кто до сих пор управлял ею, уймут их, тогда-то будут разогнаны все подстрекатели, одних за границу прогонят, других — снова упрячут туда, откуда их было выпустили. Пусть утихомирятся и те, кто здесь бушует. Пусть образумятся и займутся своим делом. Пусть выходят на работу, как этого требует обычай и закон. А то худо им будет, ой, как худо!

Гицэ Лунгу, когда его назначили, даже речь произнес. В ней он старался показаться и решительным и сильным. Только мало кто его слушал. Да и те, выслушав его, лишь тряхнули шапками и разошлись.

И вот однажды, в начале осени, в примэрию явился Стойка Чернец в сопровождении демобилизованных.

— Гицэ Лунгу,— смело заговорил Стойка,— нам известно, что старосте и помощнику старосты надлежит быть из наших людей, из тех, кто знает наши нужды. А здесь, в Малу Сурпат, что это за староста и помощник старосты, когда они наши враги? Нужд наших вы не знаете и сторону помещика держите. К разделу земли даже не приступили, так что только диву даешься. Так вот, перед выборами будешь ты у нас голоса просить, а придется свой локоток укусить.

Гицэ Лунгу покраснел от гнева. Хмурый и злой, вскочил он с места, но потом раздумал и снова уселся, вытянув ноги и откинувшись на спинку стула.

— Во-первых, что это за «ты, Гицэ Лунгу»,— забубнил он раздраженно.— Я — староста. Оказывайте мне должное уважение.

Стойка Чернец засмеялся. Бесцеремонно засмеялись и его спутники: Аврам Сырбу, Григоре Алиор и Симион Пескару.

— Снять передо мной шапки! — крикнул, привстав со стула, Гицэ.— Вы подозрительные личности!

Стойка и другие пропустили это приказание мимо ушей и шапок не сняли. Только взглянули на него искоса, краешком глаза.

Гицэ заорал:

— Я вас под суд отдам за оскорбление властей!

Алиор смело ответил ему:

— Ты на нас не ори. Коли ты не наш, так и не признаем мы тебя. Мы — члены партии.

— Это еще что?

— А вот увидишь!

Гицэ уставился на них злыми глазами. Мелкие служащие примэрии стояли возле дверей и слушали.

Представитель власти втянул в себя воздух и завизжал:

— Вот я покажу вам, подстрекатели! Так вас прижму, что масло потечет! Пошли вон!

Сам он словно прирос к стулу, но, к его изумлению, они не уходили.

— В конце концов, какие у вас претензии, мужичье?

Голос у него охрип.

Чернец сделал шаг к столу:

— Прежде всего, Гицэ Лунгу, расскажи нам, откуда пошли все твои лживые россказни про Митрю? Будто он болен, будто уже не вернется? Вот здесь стоит перед тобой Пескару, который сам видел его и разговаривал с ним. Митря поздоровее тебя будет и скоро приедет требовать у тебя во всем отчета.

Гицэ примолк и сразу похолодел, словно его окатило ледяною волной. Он закрыл глаза, потом приоткрыл их и улыбнулся, как будто с ним шутили:

— Ну и черти же вы... Что вы это выдумали? Понятия ни о чем не имею. Да пусть Митря приезжает в добром здравии, как вы говорите. Если он здоров, то почему же до сих пор не приехал? Мы с ним меж собой сочтемся как братья. А вы-то чего нос суете в чужой горшок?

— Ты в ответе не только за те расчеты,— настаивал Чернец.— Придется рассчитываться не только с ним, а со всеми нами.

— Ну-ну, идите себе,— запыхтел на него Гицэ, отстраняя его рукой.— Нет у меня времени лясы точить. За этот ваш разговор вы еще перед судом ответите, некогда мне болтать, некогда шутки шутить. От ваших глупостей у меня голова кругом пошла. Вам это понятно? Что же вы еще хотите?

— Мы хотим знать,— решительно сказал Чернец,— почему ты в субботу поехал на большой казенной телеге во Фрэсинет и увез оттуда часть кукурузы, собранной женщинами?

— Как? Что? Я сказал вам, оставьте меня в покое! Ничего я не знаю.

— Нет, знаешь. Там, во Фрэсинете, Настасия сложила на своей земле кукурузу. Ей помогала Аниняска. Там же сложили початки и две бедные женщины — Ана и Вета. А служители примэрии по твоему приказу нагрузили и увезли часть кукурузы. Что, признаешь ты это или нет?

Помощник старосты беспокойно заерзал на стуле:

— Да видите ли...

— Брал ты кукурузу или нет? — угрожающе наседал Чернец.

— Видишь ли, я сначала не понял, о чем речь. Да, я взял долю Станки. Ведь я отделил для Настасии часть жениной земли — вот и взял немножко из урожая в уплату за аренду.

— Половина — это, по-твоему, немножко?

— Я не стал подсчитывать.

— Забрал, даже не предупредив. И это расчет? А у Аны с Ветой зачем забрал? По какому праву? Тебе же говорили Дэмиан и Сава, служители примэрии, что там сложена и кукуруза этих старух несчастных.

— А у них я взял за игру Веселина Скрипача.

— Платить музыканту должен помещик, да он, к тому же, удержал с крестьян за музыку.

Из собравшейся толпы послышались женские проклятия:

— Отходную бы ему сыграть!

Господин помощник старосты вздрогнул. При этом женском выкрике он поднял опущенную голову, да так и выпучил глаза на окна с решетками. В комнате потемнело из-за людей, собравшихся у окон. А за спиною тех, кто стоял первым, теснились другие, голова к голове, до самой улицы..

Снаружи доносился неясный рокот голосов, время от времени покрывая его, раздавались выкрики.

Напускная важность окончательно сбежала с Гицэ. Может, столько народу собралось, чтобы потребовать от него отчета за то, о чем говорил Стойка? Или пришли они по поводу наделения землей, которое все откладывалось? «Этот Кристя всегда сует меня в самое жерло пушки. Или узнали про какие-нибудь другие дела, про которые донесли им эти большевики?» Господин помощник старосты нагло полагал, что представитель власти, каковым он считал себя, может позволить себе помыкать мужичьем по примеру боярина Кристи. Его милость — сама власть: все подчиняется ему! Общественные деньги — он сам решает, кому их давать, сколько давать, ради какой выгоды задержать их по взаимному согласию с нотариусом и кассиром. Иначе — что это за власть, коли не приносит выгоды? Пожалуй, вздумают еще спрашивать о стоимости школьной крыши, о ремонте больницы, о мостике через Лису! Все они скоты, ни в чем не разбираются, считают, что представитель власти — это просто пешка, защитник сирот, вдов, стариков, слуга для всех. Пускай оставят его в покое: у него столько своих дел: то мельница, где его обкрадывает механик, то партия откормленных свиней, которую надо отправить в Бухарест.

— Я пошел домой, у меня и своих забот не оберешься.

Все четверо пропустили эту жалобу мимо ушей.

— Что ж теперь будем делать? — спросил Стойка, кладя ему руку на плечо и усаживая его на стул.— Я спрашиваю про кукурузу Настасии и этих женщин. А потом мы поговорим и о другом, что тебе еще меньше понравится.

— Посмотрим, я подумаю: если все так, как вы говорите, я отдам их долю.

— Когда?

— Сейчас же. Пустите меня. Я вижу, народ собрался. Этим чего надо? Что за дело у них ко мне? Пусть придут Аниняска и старухи. Мы с ними договоримся.

— Сейчас этого нельзя,— напирал Стойка.— Их нету в селе. Они ушли во Фрэсинет охранять остатки от других воров.

Гицэ почувствовал бесконечную усталость. По его пухлому лицу ручьями стекал пот. Уж не собираются ли бунтовать нищие?

Он чувствовал, что эти четверо допекут его, нарочно не отпустят. Он спросил в недоумении:

— Кто-нибудь с ревизией приехал?

— Пока еще не приехал,— ответил Стойка,— но приедет по поводу раздела земли...

Гицэ вздрогнул, он опустил голову и надул губы. И надо же было, чтобы старшина Данциш уехал из села! Как бы послать весточку помещику в Хаджиу?

На дворе стемнело, с Дуная надвигались тучи, задул порывистый ветер. Вошел Раду Гурэу, посыльный, чтобы зажечь лампу. Поправив фитиль, он искоса взглянул на Гицэ, понуро сидевшего за столом.

— Я пойду домой! — решился сказать Гицэ.

Все четверо стали стеной, повернувшись к нему спинами.

После кратковременного дождя народ еще теснее набился на террасу, толпою стоял у окон; ветер утих.

В темноте на улице вдруг стало тихо, а затем послышался громкий веселый шум.

Вошел брат Аниняски, Маноле Рошиору, с кнутом в руке.

— Дождь не хлещет, так ветер засвищет,— сказал он, странно поглядывая на мельника.— Только-только привез. Входить не хочет. Есть распоряжение собраться всем селом и выйти ночью в Дрофы.

Гицэ удивленно слушал, нижняя губа у него отвисла. Вдруг он понял. Приехал его брат, тот, от которого, он думал, осталось одно только имя. В сердце у него закололо, оно то сжималось, то расширялось. Он простонал:

— Что мне делать?

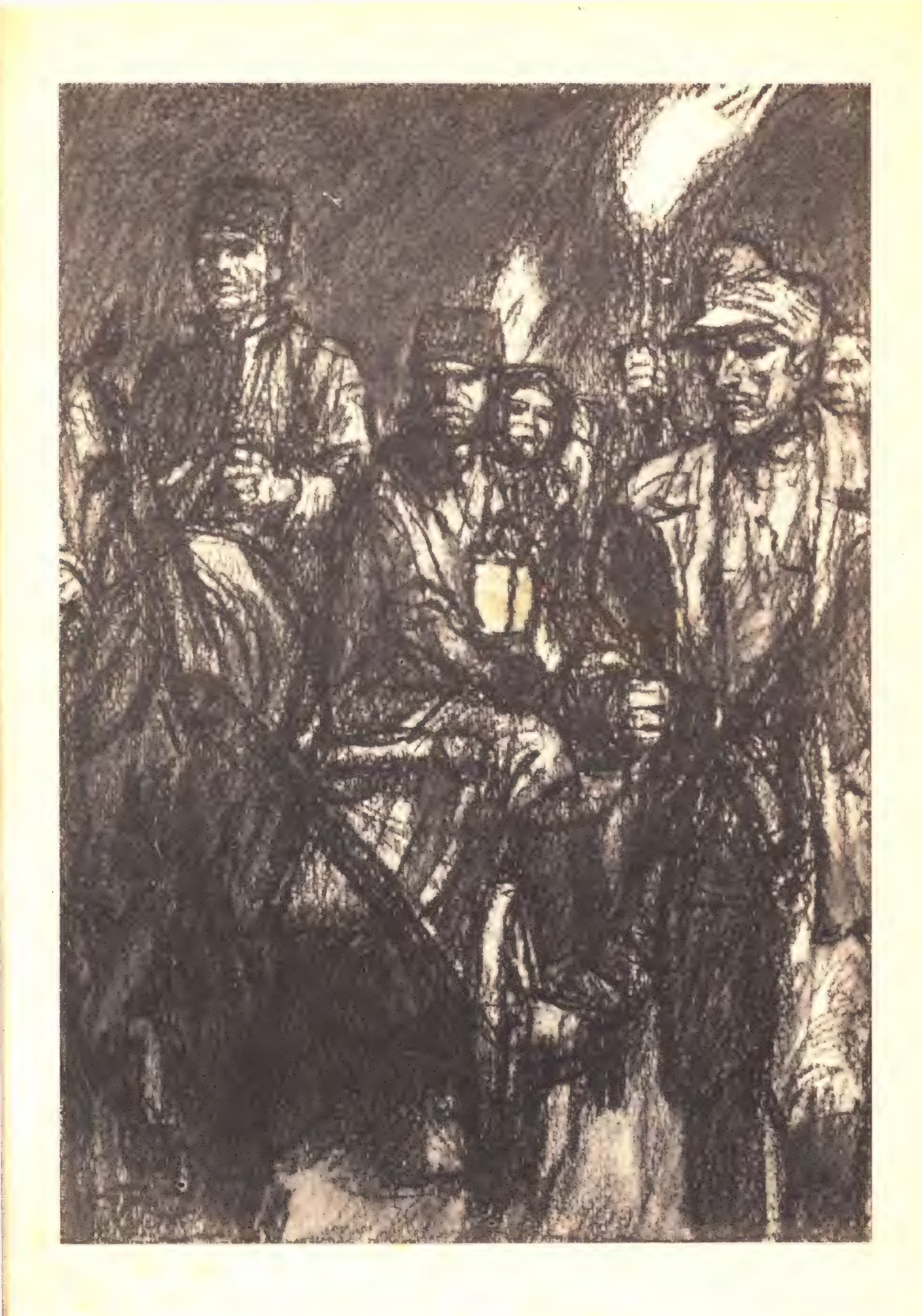
— Подымайся и пойдешь с нами в Дрофы,— ласково ответил ему Чернец.

— Я не могу.

— Сможешь.

Кто-то говорил с крестьянами на улице. Люди молча стояли в темноте. Мельник тоже прислушался, но голоса не узнал.

Это сам Митря так решил — внезапно вечером явиться в Малу Сурпат. Накануне он предупредил через капрала Сырбу Аврама. Пускай никто не знает, пускай не знает даже Настасия,— лучше, чтобы ее и в селе не было. В первую, в самую первую очередь ему нужно свершить суд и навести порядок в Дрофах, и только после этого он обнимет жену и ребенка. Он едет туда не ради того, чтобы мстить за свои несчастия, он едет не ради своей любви. Он едет ради общественных интересов, которых многие, может, и не понимают. Но уж так он решил. Так договаривался с товарищами,



когда жил с ними на чужбине, что все заодно будут творить они правое дело, лишь только все вернутся домой... По одному, по два собирались они, держали совет у Чернеца, хранили все в тайне, готовились и ожидали сигнала. В Бухаресте Митря задержался на день, чтобы поговорить с мастером Войку.

— Теперь мы пойдем наводить порядок,— закончил он свою речь.— До сих пор здесь был один обман.

Толпившийся на улице народ загомонил, а затем все рассыпались по домам запрягать лошадей в телеги.

В третьем часу ночи все были на дороге в Дрофы. Двигалось туда сорок телег, наполненных людьми из Малу Сурпат и с хуторов. На каждой телеге — фонарь. Товарищи по армии несли факелы. При их красном свете крестьяне могли видеть Кокора, широкоплечего, темноглазого. Время от времени и перед Гицэ возникало это угрожающее видение. Митря на него даже не взглянул, не сказал ни слова.

Гицэ напрягал слух в ожидании счастливого случая — приезда помещика Кристи с жандармами.

Так, значит, это они подстроили, чтобы Данциш именно сегодня уехал из села, но не может быть, чтобы их хитрость не открылась. Лишь только начнут эти ироды распоряжаться в Дрофах тут, верно, и нагрянут власти. Что правда, то правда — в Малу Сурпат закон о наделении землей был выполнен только частично, и землю в Дрофах до сих пор оберегали, но за это в ответе прежде всего сам Кристя. Так пускай покажет, какова его сила. Пускай вызовет жандармов против этих бунтовщиков. Крестьян уже однажды проучили, они крепко поплатились за заварушку девятьсот седьмого года. Бог даст, и сейчас все обернется добром. Гицэ был голоден, озяб, влажный степной ветер пронизывал его до костей.

Когда подводы прибыли в Дрофы, люди зажгли костры из старой соломы и колючек и сбились вокруг, оживленно переговариваясь. Гице услышал несколько ругательств и по своему адресу. А Трехносого — того совсем смешали с грязью. Выбрались из своей лачужки и старик Тригля с Кицей, чтобы обнять и расцеловать своего мальчика, который столько времени пропадал, а теперь снова вернулся домой. Собрались и работники из поместья Трехносого, которые начали вторую вспашку полей, готовя их к посеву.

Перед рассветом, когда огонь спрятался под золою, настала тишина, все задремали. Только Гицэ не мог сомкнуть

свои воспаленные веки. Он все время спрашивал себя и не мог ответить, что же с ним станется. Ему было ужасно жалко себя.

Вскоре поднялись дикие гуси, с гоготом они летели в вышине по ветру, стая за стаей. Митря не спал, он неподвижно лежал на куче кукурузных початков среди своих товарищей и вспоминал под крики крылатых странников ту осень, когда он лежал под навесом, а за ним ухаживала и ворожила над ним бабушка Киця.

Занялся день: восток светлел в венце из роз. Нежданные гости собрались и ожидали, когда будет наведен обещанный порядок. Бедняки и вдовы, родственники тех, кто погиб на войне, должны были стать теперь владельцами всего простора этих полей. Результаты дележа будут записаны в книге; каждому по его нуждам; затем им предстояло провести борозды, чтобы размежевать землю. Древнее запретное поле переходило, таким образом, в руки тех, кто его обрабатывал десятки лет и гнул спину на помещика. «Наши списки будут переданы туда, где пишут справедливые законы»,— заверили бедняков товарищи Митри Кокора.

После ночных разговоров некоторые прониклись еще большей ненавистью к Гицэ Лунгу и подстрекали друг друга против него. Потом, когда началось чтение списка сирот, все забыли про Гицэ и стали выводить плуги в поле.

В этот момент послышалось тарахтенье коляски и конский топот. Люди заволновались, поднимая головы. Митря вышел вперед. Он догадывался, кто это едет.

— Едет боярин Кристя, едет Трехносый,— наперебой сообщило несколько голосов. Кое-кто из стариков заколебался, товарищи Митри вытолкнули их из задних рядов на видное место.

Кристя ехал в высоком шарабане, запряженном парой лошадей, по левую руку поместив Данциша, по правую старое ружье, которое он справедливо считал своим лучшим слугой. Он был в ярости и еще издали угрожающе показывал кулак. На облучке сидел Чорня, гнавший галопом белых, покрытых пеной коней. За желтым шарабаном поспешала деревенская телега с тремя жандармами. Они были вооружены, однако винтовки висели на ремнях через плечо.

Еще не остановился шарабан и телега, как львиный рев боярина Кристи разорвал тишину:

— Я вам покажу, подлецы, бандиты! За этим сквернавцем пошли, что у меня из милости хлеб ел? Вон отсюда! Чтобы через минуту я никого здесь не видел!

Кокор спокойно вышел навстречу шарабану.

— Назад, скотина! — завизжал, распаляясь, Кристя, сопровождая приказание отборными ругательствами.— Как вы могли, дурни, пойти за таким, как он?

Митря сдержался. Он твердо сказал:

— Народ пришел взять в свои руки землю, которая принадлежит ему по закону.

— Это моя-то земля вам принадлежит?! — еще пуще заорал помещик на собравшихся.— Видишь? Слышишь? Ах, так их, растак! — добавил он в сторону Данциша.

Кокор заговорил еще решительнее:

— Партия установила справедливость. Земля принадлежит тем, кто работает.

— А я не работал?

— Нет.

Рыча словно зверь, Кристя поднял ружье и щелкнул курками.

— Я тебе покажу закон! Я тебя в землю уложу!

В это мгновение Чорня, словно чего-то испугавшись, натянул вожжи. Лошади поднялись на дыбы, забили копытами по воздуху и навалились на дышло. Шарабан дернулся и наклонился на сторону. Ружье выстрелило в облако, нависшее на востоке, как гневно нахмуренная бровь. Кристя чуть не вывалился из шарабана, но вскочил и опять поднял ружье.

— Что твои жандармы делают, идиот? — закричал он на Данциша.

Как бы разыгрывая заранее подготовленные роли, товарищи Митри выхватили из-под сермяг автоматы. Люди плотным кольцом окружили телегу с жандармами. Старшина Данциш, раскинув крыльями руки, навалился на Трехносого и обезоружил его.

Наступила мгновенная тишина, сбившаяся толпа даже не перевела дыхания. Побледневший Кокор снова заговорил:

— Я пришел спрашивать расчета не за голод, не за побои, не за насмешки. Одного наказанья заслуживаешь ты, раз хвастаешься, что работал здесь. Становись с нами в ряд пахать землю.

Из толпы послышался удивленный визг:

— Да как ты смеешь, братец?

Митря обернулся и увидел надувшегося брата Гицэ — для полного сходства с ежом ему не хватало только иголок.

— Тебя — к волам, барина — к плугу! — отрезал Митря.— Ведите их.

Трехносый был вне себя от ярости. Гицэ вдруг затих, опустившись на колени.

Люди задвигались, беспричинно смеясь и все дальше оттесняя жандармов. Под присмотром Григоре Алиора тронулся первый плуг, прокладывая борозду надела. Медленно двинулся он навстречу заре, обогнул кустарник, остановился ненадолго и опять двинулся. Когда он спустился в ложбинку, люди потеряли его из виду, потом снова увидели, уже на обратном пути. Возвращение плуга прерывалось более долгими остановками. Помещик Кристя падал, резким окриком подхлестывал его Алиор, и тогда он становился на колени, потом на четвереньки, затем, с огромным трудом, на ноги. Через десять шагов он падал снова. Гицэ еле подымал голову, словно это была посторонняя тяжесть. Он тоже падал на колени, извиваясь как червь. Когда они добрались до землянки, людям пришлось их подхватить и поддержать, словно какие-то огородные пугала. Кровавый пот стекал с них. Ладони Трехносого были в сплошных ранах и волдырях.

— Оставьте меня, преступники! Я всех вас в тюрьму упеку! — рычал он в зверином отчаянии.

Тогда к господину Кристе подошла Ана Зевзяка и грозно сказала, стиснув от ненависти губы и качая головой:

— Ну, ну! Выблевывай теперь, волк, то, что пожрал!

Кучер Чорня сурово смотрел на позор своего хозяина; потом отвернул голову и сплюнул.

Злосчастный плуг двинулся еще раз. За ним тронулись и другие. Провел борозду и Митря; когда он возвращался, рубашка на его груди была распахнута, голова обнажена. Его ласкал прохладный осенний ветер.

Он остановился отдохнуть у Овечьего колодца, и тут к нему стрелой бросилась Настасия. Правой рукой прижимая к груди своей ребенка, левой она обхватила Кокора за шею и в бурных словах и ласках, рыдая и смеясь, она выказала перед всем миром любовь к своему Митре.

У ее Митри лоб был в морщинах и виски поседели. Ее Митря сдерживался перед лицом всего села, и она тоже умерила свои страстные излияния. Она протянула ему ребенка и успокоилась.

Передача пустоши Дрофы крестьянам была только началом. Митря Кокор всем своим существом еще помнил то, что ощутил в колхозе «Память Ильича», в селе Тарасовке, когда был и учеником и военнопленным в Советском Союзе. Здесь, в Малу Сурпат, как и во всей стране, были еще живы старые

порядки. Вид деревень и полей остался таким же, как сотни лет тому назад; люди привязаны к допотопному плугу и к полоскам земли, разделенной межами, к трудовым навыкам предков; люди замкнуты в своей бедности, отделены от своих собратьев, с которыми разделяют тяжелое ярмо рабства.

Достижения науки во всех областях жизни остаются еще чуждыми этим людям, живущим в прошлом. Новый мир пользуется тракторами, самолетами, электричеством; бесплодные земли теперь родят, оплодотворенные орошением; меняется лицо земли благодаря искусству инженеров; колючки и сухие кустарники вытесняются полезными растениями; болота осушаются, а где были одни пески — появляются леса.

Люди же из Малу Сурпат вянут в тени былого.

У них должна произойти революция. Старые порядки должны быть полностью низвергнуты. Социалистическое государство не замедлит отдать в распоряжение бывших рабов все силы науки, чтобы там, где теперь дорожная грязь и лачуги, возникли шоссе и дома, освещенные электричеством; там, где нынче свирепствует засуха, потекла по каналам животворящая вода; там, где сегодня человек работает из последних сил, машины облегчили труд.

Распрощаться с прошлым, перейти в новый век, наступивший для человечества!

Все это мерцало перед Митрей, словно блуждающие огоньки, когда он держал на руках ребенка, переданного ему женой. Легкий степной ветерок защекотал в носу у малыша, заставил его чихнуть и открыть глаза. Теперь он улыбался октябрьскому солнцу.

— Будущее принадлежит тебе... — вздохнул Кокор и улыбнулся незабываемым картинам, которые унес с собою из своих странствий по новой стране, стране социализма.

Настасия думала, что он улыбнулся ей, и сразу же почувствовала себя счастливой.

— За то, что я не сдержал гнева,— сказал Митря,— дам ответ только перед теми, кто вправе меня судить.

— За что же теперь примемся мы? — спросил, подходя к нему, Лае Бедняк.

Митря дружески похлопал его по плечу и ничего не ответил. Его землякам еще предстояло пройти тернистый путь познания.

1949

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил САДОВЯНУ

РАССКАЗЫ. МИТРЯ КОКОР

Редактор
Н. Н. Ермолаева

Оформление художника
Г. А. Раковского

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
Т. С. Трошина

ИБ 436

Сдано в набор 06.01.82.
Подписано к печати 11.02.82.
Формат $60 \times 84^1/_{16}$. Бумага газетная.
Гарнитура «Эксельсиор». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 16,45.
Тираж 500 000 экз.
Цена 1 р. 40 к.

Набор и фотоформы изготовлены
в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии газеты «Правда»
имени В. И. Ленина. 125865. ГСП,
Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии Издательства ЦК Компартии
Латвии, 226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3.
Заказ № 109

1 р. 40 к.


Михаил
Садовяну
РАССКАЗЫ
МИТРЯ КОКОР